

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ

"НАУКА"

МОСКВА – 1995

СОДЕРЖАНИЕ

Ю.С. Степанов (Москва). <i>Баба-Яга, Яма, Янус, Ясон</i> и другие. К вопросу о "нестрогом" сравнительно-историческом методе	3
К.Х. Шмидт (Бонн). К вопросу о личных местоимениях и категории лица в кар- твельском и индоевропейском.....	17
Г.А. Климов, Д.И. Эдельман (Москва). К перспективам реконструкции истории изолированного языка (на материале языка бурушаски)	27
А.Д. Дуличенко (Тарту). Международные искусственные языки: объект лин- гвистики и интерлингвистики	39
А.И. Домашнев (С.-Петербург). К вопросу о международном статусе современного чемецкого языка (К выходу в свет книги U. Ammon. Die internationale Stellung der deutschen Sprache)	56
Л.С. Ермолаева (С.-Петербург). К вопросу о семантической детерминанте языков номинативного строя	60
Б.Я. Островский (Москва). Способы выражения видо-временных значений в формах изъявительного наклонения глагола <i>дари</i>	74
С.И. Иорданиди, В.Б. Крысько (Москва). Древнерусские инновации во множественном числе именного склонения. II	88

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Ф. Папп (Будапешт). М.В. Ломоносов и венгерский язык	105
В.М. Алпатов (Москва). Книга "Марксизм и философия языка" и история язы- кознания	108

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

О.А. Лаптева (Москва). Изучение русской городской разговорной речи в местных центрах	127
---	-----

РЕЦЕНЗИИ

М.М. Маковский (Москва). В.Д. Девкин. Немецко-русский словарь разговорной лексики	141
В.Б. Касевич (С.-Петербург). <i>Modern theories of language: The empirical challenge</i>	145
Р.А. Агеева (Москва). И.Н. Лезина, А.В. Суперанская. Словарь-справочник тюрк- ских родоплеменных названий	149
М.Е. Алексеев (Москва). З.К. Тарланов. Агулы: их язык и история; Н.Д. Су- лейманов. Сравнительно-историческое исследование диалектов агульского языка	152
З.Ю. Петрова (Москва). Г.Н. Скляревская. Метафора в системе языка	156

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,
А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,
Г.А. Климов (отв. секретарь), Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков,
В.В. Петров, В.М. Солнцев, Н.И. Толстой (главный редактор),
О.Н. Трубачев (зам. главного редактора), А.М. Шербак

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2.
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания".
Тел. 201-74-42

Зав. редакцией Н.В. Ганнус

© 1995 г. Ю.С. СТЕПАНОВ

**БАБА-ЯГА, ЯМА, ЯНУС, ЯСОН И ДРУГИЕ.
К ВОПРОСУ О "НЕСТРОГОМ" СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ
МЕТОДЕ**

Сравнительный, в частности сравнительно-исторический, метод – понятие настолько привычное, что исследователь в конкретной работе почти никогда не задает себе вопроса, подходят ли используемые им приемы под то, что называли этим термином хотя бы, скажем, тридцать лет назад (редкое исключение – статья О.Н. Трубачева [Трубачев 1988]).

Целью сравнительного метода является объяснительная реконструкция отдельного элемента или целой системы, не данных в непосредственном наблюдении. Но когда для достижения этой цели стали отделять "внутреннюю реконструкцию" от "внешнего сравнения", то – если, конечно, не ограничиваться общим термином "сравнение" – осталось ли неизменным понятие "сравнительный метод"? Когда, далее, стало общепринятым совокупные результаты, добытые как "внутренней реконструкцией", так и "внешним сравнением", проверять данными типологии, то как это возможно? Не несет ли в себе "сравнительно-историческое" нечто "типологическое" и наоборот – типология некую временную последовательность и "историю"? И, наконец, еще один вопрос. На протяжении всего XIX века сравнительно-исторический метод применялся – параллельно, но отдельно – в языкознании, мифологии и литературоведении; но когда три эти области стали соединяться нередко в одном и том же исследовании, то остался ли сам метод тем же самым, так сказать, "в языке" и "в культуре"? Мало-помалу накопился целый "пучок" вопросов, не нашедших еще, кажется, достаточно общего освещения.

Настоящая статья никоим образом не преследует эту претенциозную цель. Ее задача гораздо более скромна и конкретна: исследовать группу терминов – одновременно языка и культуры – названную в заголовке, но попутно все время обращать внимание на встающие при этом проблемы метода. Мы будем выделять возникающие на этом пути проблемные ситуации (обозначая их как I, II, III и т.д.).

I

1. Напомним первую такую проблемную ситуацию, которая была сформулирована и блестяще разрешена Э. Бенвенистом. Еще в 1937 г. в известной статье «Индоевропейское выражение "Вечности"» [Benveniste 1937] Э. Бенвенист показал, что рассматриваемый индоевропейский концепт тождествен понятию не просто о "вечном, бесконечно длящемся", а о "вечно юном, обладающем жизненной силой". Собственно, последнее – "жизненная сила, непреходящая и неисчезающая и лишь передающаяся от одного существа к другому", – и есть первоначальное содержание этого концепта. Его формой служат две чередующиеся основы, так называемый "бином Бенвениста", благодаря сведению которых воедино и удалось обнаружить первоначальное тождество за огромным многообразием форм, разбросанных по разным языкам и, казалось, не имеющих между собой ничего общего.

1) Основа I содержит корень в полном виде и корневой, т.е. первичный, суффикс, *suffixe radical*, в редуцированном виде, в данном случае **ə₂eĭ-ι-*: греч. гомер. αἰὼν "сила жизни, источник жизненности" ("force de vie, source de vitalité"), первоначально всегда муж. рода, – деталь, важная для нашего дальнейшего рассуждения [Benveniste 1937: 107]; др.-инд. *āyū-* "жизненная сила", *āyú-* "подвижный, сильный", лат. *aeuius*, *aeuius* "время жизни, век", гот. *aiws* "время, вечность", греч. гомер. αἰῆ (из **āFei*) "всегда" и др.

2) Основа II, напротив, содержит корень в редуцированном виде и корневой суффикс – в полном: **ə₂i-eĭ-*: лат. *iuuenis* "юный, юноша", первоначально – опять-таки деталь, важная для нашего дальнейшего рассуждения, – как имя существительное только муж. рода [Ernout, Meillet 1967: 331]; др.-инд. *yúvan-*, *yuvant-* "то же"; авест. *yu-* "то же"; ст.-слав., др.-русск. *юнѣ*; русск. *юн*, *юный* и др.

Сосуществование двух указанных основ связано с ритмическим законом распределения тонов ("ударений") и, соответственно, полных и редуцированных морфем. Этому соответствует и семантическая закономерность: основы типа I тяготеют к значению отвлеченного имени существительного (почему, в частности, в данном случае в греческом и латинском от них производятся впоследствии существительные среднего рода со значением "вечность, век"), а основы типа II – к значению прилагательного.

2. Изложенные положения Э. Бенвениста служат исходным пунктом нашего дальнейшего рассуждения. Оно касается прежде всего значения и форм самого корня. Можно сказать, что проблемная ситуация остается при этом одной и той же, но лишь несколько расширяется.

Еще ранее, в 1935 г., Э. Бенвенист выделил названный корень в чистом виде: **ə₂éi-* (= **ai-*), но о его значении он ничего не говорил [Benveniste 1984: 157]. Этот корень, содержащий в первой позиции ларингальный **ə₂*, нотируется как **ə₂eĭ-* // **ə₂i-* // **ə₂iā-*. Его значением должно быть "нечто, вечно обладающее жизненной силой". Мы полагаем, что наиболее непосредственно он выступает в греческом обозначении "земли как порождающей силы" – αἰῶ (из **ə₂eĭ-* с суффиксом *-a-). Мужским вариантом этого имени является Αἰῶς "Аякс", первоначально, по-видимому, "божество Земли" ("ein alter Erdgott", по выражению Я. Фриска [Frisk 1973: 30]).

Тот же корень в другой ступени, **ə₂i-*, должен был дать в греческом какое-то, в текстах реально не засвидетельствованное, корневое имя **iā* "жизненная сила; сила земли" – такого же типа, как дорич. *φῦᾶ*, аттич. *φύῆ* "рост, становление" и "прирожденное, данное в человеке от природы, фигура, осанка, наружность, нрав"; βίᾶ "жизненная сила" (с несколько иным предсуффиксальным элементом); γῆ "земля"; ἄγῳ "удивление" и отсюда "зависть", "недоброжелательство" (соотв. аттич. формы с -η-).

При этом постулированном нами существительном следует ожидать в греческом какого-то бессуффиксального, первичного глагола, аналогичного (при другом корне – и.-е. **g^hi-* // **g^hi-*) литовскому *gýti* "выздоровливать, заживать" и русск. *жить*. Такой глагол действительно находим в ἰάομαι "целить, исцелять" (с долгим -i-), рядом с вероятной архаической атематической формой **iāo* (о ней см. ниже; это также форма с долгим -i-). Первичное значение указанного глагола следует определить как "наделять живительной силой; вливать жизненную силу" (а не через сомнительную, впрочем, в настоящее время обычно уже не принимаемую, ассоциацию с глаголом ἰαίνω "согреть").

II

3. Приведенные выше ассоциации сказанным не исчерпываются. Напротив, они могут быть расширены, хотя и более гипотетическими связями. Однако при расширении круга привлекаемых слов возникает новая, в т о р а я п р о б л е м н а я с и т у а ц и я, с которой оказывается связанным ряд новых гипотез.

Сформулируем нашу первую гипотезу, относящуюся к этой ситуации. В греческом языке семья слов, объединенных означенной выше семантикой корня $*a_2ei-$ // $*a_2i-$, может быть расширена, но при этом формальные вариации корней привлекаемых слов представлены в более широком диапазоне, чем считается допустимым в "классическом" сравнительно-историческом методе; однако этот разброс все же имеет более или менее контролируемую черту, каковой является допущение в слове, помимо его фонемного сегментного состава, некоторого суперсегментного признака, прежде всего аспирации и ларингализации; этому допущению отвечает принятие – в плане парадигматики – "ларингальной" фонемы (или фонем), а также соответствующие представления об аспирированных фонемах. На последней черте (аспирации) мы остановимся ниже, а прежде – о ларингальной.

Здесь мы сразу хотим предупредить скептически настроенного читателя (как известно, допущение ларингальных открывает путь для слишком широкого сближения различных корней): мы не намерены очень широко пользоваться и злоупотреблять этим понятием. Скорее наоборот: мы принимаем ларингальный лишь в тех корнях (пожалуй, за одним только исключением, см. ниже), где он допускается другими исследователями. При этом мы рассчитываем далее показать, что ларингальный в таких случаях может принадлежать не корню, а иной части слова – вообще, слову в целом – и что, следовательно, мы имеем здесь дело с некоторыми явлениями, аналогичными тем, которые описываются законом Грассмана и законом Бартоломе. Таким образом и возникает одна из тех общих проблем метода, о возможности которых мы упомянули вначале. Но прежде упорядочим исходные данные – рассматриваемая группа слов следующая:

(1) $\alpha\lambda\upsilon\nu$ "жизненная сила, источник жизненности" (ларингальный постулируется Бенвенистом): $*a_2ei\text{-}u\text{-}$;

(2) $\alpha\lambda\alpha$ "земля как источник жизненной силы" (ларингальный постулируется как следствие из данных Бенвениста): $*a_2i\text{-}a\text{-}$;

(3) $\iota\alpha\sigma\alpha\iota$ "вливать магическую силу, целить" (два ларингальных в этом корне постулировались Стертевантом, один звонкий /y/, другой глухой глоттальный /'/; правда, сам корень он, согласно одной из этимологий, представлял как имеющий еще и /s/ – $*i\gamma s a\text{-}$; действием ларингальных Стертевант объяснял в этом слове "тонкое" придыхание и долготу начального i- [Sturtevant 1940: 86]): $*iHsaH\text{-}$;

(4) $\iota\epsilon\rho\acute{o}\varsigma$ "наделенный магической, священной силой; священный" (ларингальный в неначальной позиции постулируется Гамкрелидзе – Ивановым [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 801]): $*e\dot{i}sHro\text{-}$;

(5) $\acute{o}\iota\phi\omega$ "совершать половой акт, futuere" ("вливать жизненную силу") (ларингальный в начальной позиции постулируется Бикесом [Beekes 1969]): $*a_2iebh\text{-}$ // $*a_2ei\dot{b}h\text{-}$;

(6) $\eta\beta\eta$ "юношеская сила, половая зрелость" (ларингальный в неначальной позиции постулируется нами, – единственный случай "индивидуального авторства", – основания см. ниже): $*jeH\text{-}g^{\#}\text{-}$.

4. Закон Грассмана явился выводом из большой работы этого автора, опубликованной в виде двух статей в одном номере "Журнала Куна" в 1863 г. [Grassmann 1863a; 1863b]. Он содержит две "статьи закона", которые соответственно гласят:

1) "Если дан корень с конечным придыхательным согласным и начальным согласным, способным принять аспирацию, и если также дано, что конечный элемент – в силу отдельного звукового закона – теряет аспирацию, то этот признак переносится на начальный элемент";

2) "Если даны две группы согласных в одном слове, разделенные гласным, и в этих группах согласных имеются аспирированные, то – при условии, что они находятся в пределах одного и того же корня, – один из этих согласных, в норме – первый, лишается признака придыхательности. Лишь sporadически (vereinzelt) это происходит в

том случае, когда придыхательные принадлежат разным корням или разным суффиксам или один согласный корню, а другой суффиксу, или же когда между названными группами согласных стоит более чем один гласный" [Grassmann 1863b: 110–111].

В последние два–три десятилетия закон Грассмана оказался одним из центров напряженного внимания индоевропейцев. Т.В. Гамкрелидзе свою многолетнюю (с 1972 г.) серию работ по этому и смежным вопросам завершает (совместно с В.В. Ивановым) следующей формулировкой: в соответствии с новой (указанных авторов) трактовкой фонологических явлений на индоевропейском уровне «"закон дезаспирации Грассмана" принимает совершенно иной смысл. Он рассматривается как чередование придыхательных и непридыхательных звуков на аллофонном уровне в системе индоевропейского консонантизма, а не как процесс дезаспирации аспирированных фонем, происшедший независимо друг от друга в древнеиндийском и греческом. (...) Тем самым процессы "дезаспирации" по закону Грассмана получают общее объяснение в древнеиндийском и греческом» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 23–24].

Так (для напоминания читателю ограничимся лишь одним примером), – индоевропейский архетип корня **bʰeudʰ-* следует восстанавливать не в таком именно виде, с последующей дезаспирацией рефлексов индоевропейских начальных звонких придыхательных фонем **bʰ* и **dʰ* независимо друг от друга в древнеиндийском и греческом, а как форму **beudʰ-*, отразившуюся в др.-инд. в виде *bodh-*, а в греч. в виде *πευθ-* в результате общей закономерности оглушения звонких фонем серии Π, как придыхательных, так и непридыхательных их аллофонов [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 24] (ср. также иное начало этого подхода в работе [Hopper 1973]).

Предложенная трактовка обладает большой объяснительной силой и позволила достичь существенных обобщений. Однако и первоначальная авторская формулировка закона Грассмана, и круг его трактовок в современной лингвистике шире, и сейчас нам важно уяснить их именно в этой их широте. Мы обратимся с этой целью сначала к работе Н.Э. Коллинджа "Законы индоевропейского языка" [Collinge 1985]. Коллиндж отмечает, что первая из двух "статей закона" Грассмана в наши дни, особенно в американских течениях, связанных с порождающей грамматикой, стала трактоваться как "правило оттяжки придыхания" ("Aspirate Throw-Back"), и лишь вторая "статья" стала пониматься как "закон Грассмана" в узком смысле слова. (Это мы видим и в приведенной выше трактовке Гамкрелидзе – Иванова.)

Между тем в законе Грассмана важна также совокупность обеих его "статей". Именно их совокупность формулирует то более общее (в некотором смысле) условие, или общий фон, на основе которого совершается то, что описано во второй "статье" закона (и что стало пониматься как "закон Грассмана"). Дезаспирация является одним из проявлений "движения аспирации", в частности – "переноса" аспирации в пределах цельного слова или его части, и должна рассматриваться как суперсегментное явление (в частном случае как суперсегментная фонема). Совокупность двух "статей" закона Грассмана, по существу, формирует понятие фонетического облика слова как целого.

Именно такое понимание огромного значения закона Грассмана в этой его роли, при трудности формулировок в терминах фонемных соотношений или в терминах "правил" ("rules") генеративной теории, и отразилось, на наш взгляд, в двух новых тенденциях в его трактовке, которые – под другими, естественно, англо-саксонскими терминами – отмечает Н.Э. Коллиндж. Одну из них он обобщает как "diffusional variety", термин, трудный для русского перевода, поскольку при этом пришлось бы привлечь переложение большого фрагмента американской традиции; приведем поэтому фразу самого Коллинджа: "It is fashionable to seek a solution for spotty reflex phenomena in a differential diffusion of shift. Lexical grouping or declensional classing holds the control" [Collinge 1985: 54] – "В настоящее время стало модно искать обобщения для пестрых ("пятнистых") проявлений закона Грассмана по линии противопоставле-

ния различных языковых сфер: лексические группировки противопоставляются группировкам по формам словоизменения, и этому придают объяснительный характер". Другая новая тенденция в трактовке рассматриваемого закона состоит в том, что принимается вторичное сближение лексем, после осуществившегося фонетического изменения в их облике, – "by admitting relexicalization" [Collinge 1985: 56]. Этот принцип проводится в работах П. Кипарского [Kiparsky 1973a; 1973b], Д.Дж. Миллера [Miller 1974; 1977] и др., в то время как первый – у А.Х. Зоммерштейна [Sommerstein 1973], того же Миллера и др.

Итак, закон Грассмана мы трактуем в его широком смысле, обрисованном выше. При таком понимании сами явления "аспирации" и "дезаспирации" оказываются включенными в целый класс сходных явлений – глоттализации, ларингализации, фарингализации, слоговых интонаций, долготы ("количества") слога и т.д. Детальная разработка названных суперсегментных явлений дана Д.И. Эдельман в нашей совместной работе [Степанов, Эдельман 1976], где в качестве обобщающего термина для явлений этого класса использован не фонемный термин "суперсегментные", а фонетический, в некоторых отношениях более удобный, не предопределяющий "фонемных решений", термин резонансные явления. Принцип увязывания трактуемых таким образом суперсегментных (резонансных) явлений с сегментными изложен нами в работе [Степанов 1974].

Так понимаемый закон Грассмана относится не только к организации морфем (в частности, корня) и к организации "дискретной фонологии", т.е. парадигматики фонемной системы, но и к организации слога и слова в целом. По этой линии он связан с законом Бартоломе, по существу группируясь вместе с ним в один общий закон. Попыты объединения двух названных законов были в последние годы предприняты в работах А.М. Зуикки [Zwicky 1965], С.Р. Андерсона [Anderson 1970], Дж. Шиндлера [Schindler 1976], Т. Веннемана [Vennemann 1979] (а также П. Кипарского), обзор которых также можно найти в названной книге Н.Э. Коллинджа.

Отметим в заключение, что и уточнение хронологии действия закона Грассмана, по-видимому, может быть успешно сделано только на такой основе, т.е. при широком его понимании, с учетом слогового устройства рассматриваемого языка. Именно такой подход обосновывает Н.Н. Казанский в своей диссертации [Казанский 1990]. По мнению Казанского, этот закон может быть отнесен в греческом к так называемому "домикенскому периоду", т.е. к периоду до 1600–1200 гг. до н.э. (Ср. несколько иное мнение, – по-видимому, опять-таки в связи с несколько иным пониманием самого закона – в работе [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 23, сн. 2]).

Закон Грассмана имеет еще одну особенность, не замеченную, кажется, исследователями. При попытках его "строгого" истолкования обнаруживается некоторый круг – вряд ли его следует называть "порочным кругом", – присущий самой природе сравнительно-исторического метода. Этот круг обойден вниманием (или ускользнул от внимания?) даже такого тонкого методолога и защитника сравнительного метода в его неприкосновенной чистоте, как А. Мейе.

В первой главе, названной "Определение сравнительного метода", книги 1925 г., своего рода "символа веры", Мейе сопоставляет 14 числительных трех романских языков – французского, итальянского, испанского, начиная с этого определение метода. Приведенные формы, действительно, удивительно регулярны в своих совпадениях между языками. «Подобные совпадения, – говорит Мейе, – не могут быть случайными; они не случайны уже потому, что отличия одного языка от другого подчиняются определенным правилам соответствий (из чего выведенных? – Из совпадений слов. – Ю.С.): так, различие между *huit*, *otto* и *ocho* на первый взгляд велико, но оно не случайно, поскольку имеется целый ряд подобных соответствий, например, франц. *nuît*, ит. *notte*, исп. *noche* "ночь"..." и т.д. (почему эти соответствия "подобны"? – Потому что подобны сравниваемые слова. – Ю.С.) [Мейе 1954: 12]. Правила соответствий устанавливаются на основе сравнения слов, признанных совпадающими. А почему слова признаются совпадающими? Потому что, при сходстве значений, в них

наблюдаются указанные соответствия. Из совпадений некоторой группы слов делается вывод об "определенных правилах соответствий", главным образом звуковых, между языками, а затем, путем применения этих соответствий к более широкой группе слов, делается вывод о совпадении слов этой группы. И т.д.

Закон Грассмана обнаруживает, что все это расширяющееся построение имеет некоторый предел, представляющий из себя не дискретную резкую границу, а некоторую "зону разброса". В материале самого Г. Грассмана, особенно в первой из двух его статей 1863 г., много таких примеров. Ограничимся только одной их группой (играющей некоторую роль в нашем дальнейшем рассуждении) – явлениями, связанными с отражением индоевропейского **bh-* в греческом. Согласно "соответствиям" строгого сравнительного метода, такое аспирированное *b* в греческом в определенных условиях – в начале слова, перед гласными или сонантом, а также в середине слова между гласными или между гласным и сонантом – должно давать глухой придыхательный *f* (φ): φράτῃρ < **bhrāter*. Грассман, однако [Grassmann 1863a: 91–93], приводит довольно много и противоречащих примеров, где указанная индоевропейская фонема отражается то как *f* (φ), то как "чистое" *b* (β). Воспроизведем примеры Грассмана, указывая в скобках, что думают об этих парах слов современные авторы этимологических словарей греческого языка – П. Шантрэн и Я. Фриск (разумеется, они судят безотносительно к примерам Г. Грассмана):

а) ὄμβρος "ливень с грозой" – ἄφρος "пена", второе слово у Грассмана как параллель к др.-инд. *abhrá-* "пыль; облако, туча" (современные словари эту связь вообще не фиксируют, а по поводу первого слова Шантрэн [Chantraine 1968–1980: 796] замечает, что β может представлять здесь как **bh*, так и **b*; ср. также выше примеры 5 и 6);

б) στίβαρος "плотный, сбитый", στείβω "наступать ногой", στίβος "утоптанная дорога, протоптанная тропа" – στίφος, στίφρος "плотная группа людей, кораблей" (словари принимают точную связь этих слов, а следовательно, и двойное отражение смычного);

в) βρύω "надуваться жидкостью, соком, переливаться через край; изобиловать чем-л.", βλύω "кипеть, переливаться через край" – φλύω "наливаться соком, бить ключом" (заметим попутно, что тот же корень представлен в русск. *блевать*, *плевать*; оба словаря принимают сходство этих корней, уклоняясь от установления тождества между ними);

г) βόζω "говорить" – φῶμι (аттич. φημί) "то же" (оба словаря отрицают какое-либо тождество или даже близость этих корней, видя в первом звукоподражание);

д) στέμβω "трясти, давить, грубо обращаться", στοβέω "бранить" – στέμφυλον "выжимки из оливок или винограда", στόμφος "напыщенная речь" (оба словаря принимают семантическое и формальное сходство этих корней, причем Шантрэн [Chantraine 1968–1980: 1051] считает чередование -μφ/-μβ необъяснимым и вообще сомнительным именно в качестве регулярного чередования, а Фриск делает примечательное заключение: "Колеблющейся форме этих слов отвечает столь же колеблющееся содержание" [Frisk 1970: 788]).

Собственно, такими же словами характеризуется вся маргинальная зона в применении сравнительно-исторического метода: колеблющейся, или вариативной, форме отвечает столь же колеблющееся (или вариативное) содержание. Конечно, это не соответствует "строгому" сравнительно-историческому методу, как его понимал, например, А. Мейе. Но не следует смешивать понятия "строгость" и "точность". В математике отношение $2 + 1 = 3$ является "точным", отношение $2 < 3$ "не точным, приближенным", но и то и другое "строги" в математическом смысле слова (как и вся теория неравенств).

Применительно к рассматриваемой здесь нами группе греческих слов (примеры 1–6) из всего сказанного вытекает следующий вывод: эти слова с большой степенью вероятности могут быть объединены в качестве производных от одного (вариан-

тивного) корня; пофонемная (дискретная) нотация этого корня затруднена, поскольку он может содержать как "дискретную" ларингальную фонему (которую можно нотировать, например, в виде ∂_2), так и некие резонансные рефлексы ларингального (например, долготу гласного) и/или аспирации, причем в "дискретной" форме, в виде отдельной фонемы, такой ларингальный может присутствовать в другой части слова (например, в суффиксе). Может быть, такую группу вариаций корня, сводимых к одному, следовало бы нотировать с начальным знаком *H*, который в таком случае означал бы не "дискретную" ларингальную фонему, хотя бы и обобщенную из трех (∂_1 , ∂_2 , ∂_3 в традиционной нотации или $\tilde{H}$, H , H° в системе Гамкрелидзе – Иванова), а лишь представленный в "недискретном" (суперсегментном, резонансном) виде ларингальный рефлекс. Описанные таким образом отношения – как формы, так и семантики, – охватываемые маргинальной зоной сравнительно-исторического метода, можно было бы назвать "неточными" (хотя и "строгими" в определенном смысле слова) – "размытыми", fuzzy.

III

5. Лексические ассоциации, связывающие группу слов в пределах греческого языка (примеры 1–6 выше), могут быть прослежены за его границами, в нескольких других индоевропейских языках. Конечно, с точки зрения метода при этом возникает новая, третья проблемная ситуация, которую мы охарактеризуем ниже, а пока – сама группа. В нее включаются:

(7) В самом греческом, дополнительно к рассмотренным ранее, греческие имена, связанные с идеей "наделения целительной силой" – означающие как активных деятелей, "наделяющих", так и пассивных, "наделяемых", "благодатно наделенных"; Ἱαμενός (пасс.) "Иамений" ("Иямен" – в "Илиаде"), Ἰάσος и Ἰάσων "Ясон" (акт.) и мн. др. (см. ниже);

(8) Латинское имя бога Януса **Iānus* с кратким *a* (корень **ia-n-*); реально засвидетельствованная форма *Iānus* обязана своим долгим *a*, по-видимому, ассоциациям со словом *iānia* "двери, ворота", восходящим к другому корню – и.-е. **iā-* (связанному с **ei-*) "идти" (др.-инд. *yāna-* "путь", лит. *jōti* "ехать верхом" и др.);

(9) Древнеиндийское имя мифологического существа Яма, *Yamā-* (**ja-ma-*);

(10) Русское (соответственно пра- и общеславянское *Ягá*, *Ягá-Баба*, *Баба-Ягá* (**ya-* из **ja-g-a* или **ja-gʰ-a*, ассоциировано также с лит. *jėgà* из **jēH-gʰ-a*).

Рассмотрим теперь эти пункты подробнее.

6. Греческие личные имена с общим значением "целитель" с суффиксом *-s-* (σ) восходят к уже упомянутому глаголу ἰάομαι, ἰᾶσθαι: Ἰάσος, Ἰάσιος, Ἰασίων, Ἰάσων, Ἰασεός, они регулярно вписываются в ряд личных имен на *-сос*: Δᾱμσος, Ἐλασος, Ἐρασος, Κόρεσος и др. От последних, имеющих почти всегда краткое *a*, они отличаются тем, что *a* в них допускает метрическое удлинение. В имени Ἰάσων "Ясон", входящем в этот ряд, *a* всегда долгое, а иота краткая. Вообще, все имена этой семьи с долгим *a* должны возводиться к глаголу ἰάομαι, а с кратким – к атематическому **iαμαι* [Usener 1896: 156]. От последнего произведено, по-видимому, также и имя с "пассивным" значением "целителем хранимый, исцеленный" Иамений – Ἱαμενός (Ил., 12, 193).

Имя Ясон было в Греции первоначально, вероятно, именем какого-то божества-целителя, как об этом свидетельствуют сохранившиеся эпитеты Аполлона-целителя – Ἰασονίος и Афины-целительницы – Ἰασονία [Usener 1896: 156]; женской парой к Ясону является Ἰασώ – богиня-целительница.

7. Латинское имя божества Янус, *Iānus*, род. п. *-ūs*, имеет три основные этимологии, соответствующие трем различным точкам зрения на природу самого этого божества.

1) Это имя божества "входа и выхода", "дверей и ворот", оно восходит к и.-е. **iā-*, связанному с корнем **ej-* "идти" (особенно подробно эта точка зрения изложена у Ж. Дюмезиля [Dumézil 1966]).

2) Согласно другой точке зрения, это имя не имеет этимологии, так как корень **iā-* в имени божества "входов и выходов", "переходов (особенно пеших)" представлен только в западном ареале, в то время как в восточном ареале фонетически тождественный корень зафиксирован лишь со значением "езды на чем-то" (лит. *jóti* "ехать верхом", слав. *jěxati* и др.), и эти два значения – западное и восточное – не поддаются сведению воедино (такова точка зрения А. Эрну и А. Мейе [Ernout, Meillet 1967: 305]).

3) Народная римская этимология связывала имя *Iānus* с *Dīānus*. Это была мужская ипостась парного божества, женской ипостасью которого выступала Диана (*Dīāna*, *Dīāna*), являвшаяся олицетворением луны, богиней растительности и родовспоможения. Кроме того, она была богиней перекрестков "трех дорог" и имела в соответствии с этим эпитет *Trīvia*. (Такая же тройная ипостась была у Дианы и в ее космическом масштабе, в этом смысле она называлась *Triformis* "трехформенная": *Luna* – на небе, *Dīāna* – на земле, *Necate* – в подземном царстве). Именно эта черта – "перекрестки" – связала ее с Янусом, двуликим богом "начала" и "конца", "входа" и "выхода" – тоже своего рода "перекрестка". Отождествлению способствовала и латинская фонетика, поскольку *ia-* может восходить к *dia-*. Согласно толкованиям самих римлян (засвидетельствованным у Варрона), имя Дианы восходит к *diuina Iāna* "божественная Яна", а Яна – супруга Януса. При любом из этих толкований Янус – Яна или Дианус – Диана оказываются парным божеством, связывающим различные сферы пространства или сферы мира. "Парен", двулик и сам Янус: одно его лицо обращено ко "входу", другое к "выходу" или, во временном плане, к "будущему" и к "прошлому". Он – бог первого месяца года Януария (*Iānuarius*), перехода от одного года к другому. Таким двуликим он и изображался на римских статуях. Этому его признаку соответствовал эпитет *Geminus* "двойной, близнецный". Наконец, в одной из версий связанного с ним мифа Янус предстал как устроитель и блюститель мироустройства (так у Овидия в "Фастах", I, 104 и сл.).

Целый ряд ассоциаций связывал Януса с богиней Кардой (*Carda*, *Cardea*) "богиней дверных петель и дверных косяков". Само это имя происходит от *cardo*, *-inis* муж.р. "дверная петля", далее "страна света" (ассоциации с Янусом, смотрящим в разные стороны, и с Дианой, соединяющей сферы мира). Последнее слово имело также значения "время года", "точка вращения, ось, центр". По одним версиям мифа Карда считалась возлюбленной Януса и защищала вход в дом от проникновения злых ночных посетительниц колдуний, похищавших детей из колыбелей и пивших их кровь. По другой версии (в "Фастах" Овидия), Карда сама была такой колдуньей.

Как бы то ни было, ассоциации Януса с дверями в римских верованиях были очень прочны, и, как мы уже сказали, долгое *a* в его имени должно объясняться именно этим (переносом из слова, означающего "двери", другого корня).

Все перечисленные признаки Януса сближают его с древнеиндийским Ямой.

8. Древнеиндийское имя мифологического существа *Yamā-*, согласно обычно принимаемой этимологии, восходит к корню и.-е. **iemo-* "близнец" и далее к глагольному корню **iem-* "соединять, соединять в пару" (так Ю. Покорный) [Pokorny 1959: 505]). Сюда же принадлежат лат. *geminus* "близнец", латыш. *jumis* "сдвоенный, сросшийся плод (например, орех)", "сдвоенный колос" и др. Мы, однако, полагаем, что эти связи – сами по себе бесспорные – относятся не к имени *Yamā-* в его первоначальном значении, а к семантическим ассоциациям называвшегося этим именем существа, точно так же как лат. *Iānus* не родственно по происхождению названию "двери", а лишь ассоциировано с ним.

Согласно предлагаемой этимологии, имя *Yamā-*, первоначально прилагательное, восходит к уже названному корню **₂ej-* // **₂i(ə)-*, означающему "эманацию живи-

тельной силы земли". Согласно *m* принадлежит не корню, а является суффиксом, в др.-инд. *-ma-*, который образует имена действия и имена деятеля, часто прилагательные муж. рода, ср.: *tigmá* "острый", *bhṛtmá* "страшный", *śagmá* "мощный", *yudhmá* "воитель" и т.п. [Whitney 1983: 437, § 1166]. *Yamá-* входит в стандартный деривационный ряд: имя с нулевой огласовкой корня → имя со ступенью гуна → имя со ступенью врddhi (ср.: *Yamá-* → *yāma* "относящийся к Яме", *yāma* "принадлежащий Яме", "южный" ["лежащий в стороне Ямы"]). Таким образом, корневое *a* в этом имени представляет не *a*, соответствующее индоевропейскому *e* (как было бы в случае производства от корня **jem-*), а др.-инд. *a*, соответствующее функционально нулевой ступени корневого гласного в санскрите. Соотношение с ав. *Yima* "Йима" (такое же мифологическое существо) и *yamā* дв. ч. "близнецы" – закономерно.

Были также предприняты попытки (Б. Линкольном) этимологически связать др.-инд. *Yamá-* с именем древнескандинавского мифологического гиганта Имир – *Ymir* и на этой основе реконструировать индо-германский миф о творении мира через жертву (Имира приносит в жертву его брат-близнец Ману [Lincoln 1975]). Этой области мы сейчас касаться не будем.

Паронимические ассоциации в указанном фрагменте очень сильны. Так, корню и.-е. **jem-* "связывать в пару" (а он в свою очередь "ассоциирован" с именем Яма) с другой стороны соответствует греч. ἰμῶς "узкий кожаный ремень, кожаная тесемка"; это последнее заставляет предположить существование в греческом корневого имени **ἰμῶ* [Chantraine 1968–1980: 464], а оно по значению и по форме, т.е. паронимически, полностью параллельно др.-инд. *jūā* "тетива лука" и лит. *gijā* "нить", от другого корня, и.-е. **gʷijā* (так Ю. Покорный [Pokorny 1959: 481]). При такой связи "остаточно" выделяется суффиксоподобное *m*.

Смысл имени *Yamá-* таков: "земной (т.е. человек, не бог), наделенный живительной силой земли". Это первичное значение имени соответствует тем чертам древнеиндийского мифа о Яме, где он называется "первым человеком", но не богом. Типологически такое же обозначение человека как "земляного, земного" находим в лат. *homo*, *-inis*, связанном с *humus* "земля, почва", и в лит. *žmogùs* при *žėmė* "земля".

Как и Янус, имеющий при себе Яну, Яма также имеет пару – Ями, которая в Ригведе трактуется как его сестра-близнец, а в Авесте Йима и Йимак – близнецы, брат и сестра, вступающие в инцест, становящиеся мужем и женой и первопредками всех остальных людей – своего потомства.

Яма, подобно Янусу и Диане, соединяет две сферы мира, но здесь это "пространство живых" и "пространство мертвых", Яма и является царем "мира мертвых". Сам он помещается в "мире мертвых", "нижнем мире", за рекой Вайтарани, которая, подобно греческому Ахерону, отделяет этот мир от мира живых.

У Ямы есть примечательный признак: одна нога у него "костяная", т.е. усохшая, лишенная мяса и сухожилий (по проклятию служанки Саварны, на которую Яма "поднял ногу"). Если ряд перечисленных выше черт сближают Яму с Янусом, то последняя – с русской Бабой-Ягой.

9. Русское Яга (соотв. праслав. **jaga* & балтослав. **jēga*) мы рассматриваем также как первоначально имя пары мифологических существ – мужского и женского, соответствующих, в самом общем виде, древнеиндийским Яма и Ями. В последующем в славянском культурном мире сохранилась лишь одна ипостась этой пары, женская, но первоначальная парность отражена в ее имени: Баба-Яга, из Яга-Баба, в отличие от "другого Яги", мужчины.

Согласно такой этимологии, слав. **jaga* ближайшим образом ассоциировано (знак &) с балт. **jēga* (лит. *jėgà* "сила", латыш. *jēga* "понятие, смысл", вероятно, из "способность понять, сила понимания"). Таким образом, в этой этимологии ведущим семан-

тическим признаком оказывается как раз "сила", "добрая сила", а не "злая сила", "блезнь", как в обычно принимаемой этимологии.

Согласно последней, **ęga, яга* – это персонифицированное удушье, кошмар. Строго говоря, праслав. **ęga* представляет собой в формальном отношении отглагольное имя, производное от некоего гл. **ęgti*, не засвидетельствованного непосредственно в праслав. [ЭССЯ. 6: 68–69]). Эта этимология продолжает линию, намеченную А.И. Соболевским в 1886 г. Возражая Ф. Миклошичу, который восстанавливал праслав. **jęga*, Соболевский давал праформу **ǫga* и семантический признак "удушье" (в сопоставлении с греч. ἄγγω "сдавливать, душить", лат. *angustus* "тесный, сжатый, хилый") [Соболевский 1886: 150].

Общепринятая (приведенная выше) этимология не кажется нам неверной, но, по нашему мнению, она относится к другому слову (русск. *язз, язз*, ст.-слав. *ѡза*), представляющему другое мифологическое существо, лишь ассоциированное с Ягой в ее первоначальном облике (первичную, этимологическую связь между *яга* и *язз* отрицал еще А.И. Соболевский [Соболевский 1886: 150]). Общеизвестно, что в облике славянской, и в особенности русской, Бабы-Яги сочетаются по крайней мере три ипостаси – "добрая", "злая" и "яга-воительница" (из многочисленных работ на эту тему упомянем хотя бы [Пропп 1986: гл. III]). Данная этимология относится к "злой" ипостаси, в то время как наша – к "доброй". Вернемся к этой последней.

Мы уже сблизили русск. *яга* с лит. *jėgà*, которое, в свою очередь, прочно ассоциировано с греч. ἦβη "юношеская сила, половая зрелость" (ср. [Chantraine 1968–1980: 405; Frisk 1973: 620]), возводимым к и.-е. **jēgʷā*. Балтийское слово оказывается в некотором смысле "промежуточным звеном" между греческим и славянским. Но само оно требует некоторого разъяснения.

Лит. *jėgà* имеет циркумфлекс (акк. *jėga*), а латыш. *jėga* – акут. В литовском корне следует видеть древнюю метатонию акута на циркумфлекс. Возможно, она объясняется выравниванием общебалт. **jėga* в литовском по образцу других образований на ударное *-ga*, что должно было привести к осознанию корня как отпускающего с себя ударение, т.е. циркумфлексного. Количество образований на *-gà* в литовском кажется значительно большим, чем в латышском (ср. лит. *eigà* "ход" против латыш. *eja* "то же").

Таким образом, мы можем реконструировать для обще- и прабалтийского **jėga* индоевропейскую праформу **jēgā* или **jēgʷā*, последняя – та же самая, что для греч. ἦβη, а первая – та же самая, что "присоединенная" к слав. *яга*; их более отдаленный прототип – и.-е. **je-Hgʷ-* (см. выше II, 3).

Каждое из этих трех слов в своем языке выступает как неразложимое в основе. Но можно также предположить, что элемент **-g-* // **-gʷ-* является "первичным" (т.е. ближайшим к древнейшему корню) суффиксом ("suffixe radical", по терминологии Э. Бенвениста), хотя обычно мы находим его в виде вторичного суффикса, в частности присоединяемого к основам на **-en-* // **-r-*. Так, в частности, в названиях различных ипостасей человека (и других живых существ): в русск. *муж*, праслав. **mъžь* из **man-g-jo* [ЭССЯ. 20: 160–161]; в лит. *žmogūs* "человек".

10. Возникшая проблемная ситуация ("третья") как "ситуация семейных сходств". Чтобы лучше представить себе положение, в котором оказался при этом исследователь, просмотрим еще раз семантику разобранных примеров (хотя то же можно было бы показать и на их языковой форме). (Мы говорим здесь не о смыслах имен, а о существах, об "индивидах", которые ими обозначаются, об их "портретах"; поэтому имена берем в кавычках.)

"Янус" имеет с "Ямой" то общее, что и тот, и другой соединяют две сферы мира (либо "прошлое" и "будущее", либо "то, что сзади" и "то, что впереди", либо "царство

мертвых" и "царство живых"), но, например, понятие "костяной ноги" не имеет сюда никакого отношения.

"Яму" объединяет с "Бабой-Ягой" прежде всего именно "костяная нога", между тем как идея "перехода от мира живых к миру мертвых" (в случае "Бабы-Яги" – это ее избушка, которая поворачивается к герою сказки то передом, то задом, открывая ему проход куда-то дальше) представлена очень расплывчато.

"Януса" сближает с "Бабой-Ягой" то, что он – в лице своей "пары", Дианы или Карды, – то охраняет детей от ночных колдуний-похитительниц и кровопийц, то, наоборот, допускает их к детям (или даже сама Карда нападает на них), точно так же, как Баба-Яга, выступая то "доброй", то в "злой" своей ипостаси; в то же время другие признаки у них или различны, или представлены очень слабо.

Перед нами семантическая ситуация, которая – как мы теперь начинаем видеть – уже достаточно хорошо описана с логико-философской точки зрения под названием ситуации "семейных сходств".

Мы имеем в виду явление, описанное Л. Витгенштейном в его "Философских исследованиях" (1953 г.) на примере употребления слова "игра". «/66/ Рассмотрим, например, процессы, которые мы называем "играми". Я имею в виду игры на доске, игры в карты, с мячом, борьбу и т.д. Что общего у них всех? (...) Присмотрись, например, к играм на доске с многообразным их родством. Затем перейди к играм в карты: ты находишь здесь много соответствий с первой группой игр. Но многие общие черты исчезают, а другие появляются. Если теперь мы перейдем к играм в мяч, то много общего сохранится, но многое и исчезнет. – Все ли они "развлекательны"? Сравни шахматы с игрой в крестики и нолики. Во всех ли играх есть выигрыш, всегда ли присутствует элемент соревновательности между игроками? Подумай о пасьянсах. В играх с мячом есть победа и поражение. Но в игре ребенка, бросающего мяч в стену и ловящего его, этот признак отсутствует..." и т.д. "И так, – заключает Витгенштейн, – мы могли бы перебрать многие, многие виды игр, наблюдая, как появляется и исчезает сходство между ними. А результат этого рассмотрения таков: мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в большом и малом.

/67/ Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвав их "семейными сходствами", ибо так же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т.д. и т.п. – И я скажу, что "игры" образуют семью» [Витгенштейн 1994: 110–111].

Но если эта логика является основой нашей исследовательской ситуации (что, несомненно, так) – "лежит под ней", "подстилагает ее" (underlies it), то что "лежит под" процедурой Л. Витгенштейна, посредством которой он приходит к своему выводу? Имеется ли у нее какое-то специфическое основание?

Да. "Значение слова есть совокупность его употреблений", а также "совокупность правил, управляющих операциями употребления слова", – вот тезисы, составляющие это основание. Конечно, это нечто совершенно иное, чем понимание "значения слова" во времена Мейе.

Метод сравнения, сфера его применения и лежащие под ним более элементарные понятия (такие, как "значение слова") гармонизированы относительно друг друга, и в настоящее время они существенно иные, чем во времена "классического" сравнительно-исторического метода Антуана Мейе.

Интересно заметить, что и само понятие языкового родства точно так же гармонизировано относительно всех названных выше. "Теория волн" И. Шмидта, сформулированная еще в 1872 г. [Schmidt 1872] и лишь постепенно осознаваемая во всем своем значении (см. об этом, в частности, [Макаев 1964]), в настоящее время должна быть оценена как частный случай проявления принципа "семейных сходств". Способ определения родства между языками у И. Шмидта поразительно сходен со способом определения значения слова "игра" у Л. Витгенштейна. Но это уже должно стать предметом отдельного обсуждения.

11. Наконец, четвертая проблемная ситуация в нашем фрагменте возникает тогда, когда мы хотим последовать за семантическими ассоциациями культурных концептов, не находя при этом никакой опоры в сходстве выражающих их имен. Наша группа терминов расширяется: в нее "просятся" божества и другие мифологические существа, по своим признакам явно те же или близко родственные, тогда как имена их не имеют между собой ничего общего.

Вообще, в лексике религиозных установлений и культов это достаточно общая ситуация, и мы не хотим сказать о ней ничего нового, кроме того, что она включается в ряд некоторых ситуаций, расположенных по нарастанию одних признаков и убыванию других. (Сами исследовательские ситуации предстают как связанные отношениями "семейного сходства").

Еще тот же А. Мейе отмечал: "Если оставить в стороне небесные светила, как солнце, луну, или явления природы, как заря, гром, огонь и т.д. (...), то мы не найдем ни одного общеевропейского названия божества (...)". Нигде лексики индоевропейских языков не расходятся так разительно, как в терминах, касающихся религии, вероятно, потому, что у каждого племени были свои особые культы [Мейе 1938: 400–401] (ср. также идею С.Г. Проскурина об уникальности некоторых культурных концептов вообще, проведенную им применительно к англосаксонскому понятию "загробного мира" [Степанов, Проскурин 1993: 17 и сл.]).

Ж. Одри, продолжая рассуждение А. Мейе, идет так далеко, что делает смелое обобщение: "В этой области реконструируют означаемое, не имея возможности реконструировать означающее, которое его выражает" [Одри 1988: 119]. Действительно, такие ситуации можно констатировать в некоторых работах (ср., например, [Топоров 1963], где устанавливаются параллели к образу русской Бабы-Яги в хеттском погребальном ритуале), но, конечно, это крайний случай, и вывод Одри – тоже крайний.

Обычная ситуация предстает как ситуация "семейного сходства", охарактеризованная выше, и семантические признаки и их языковое выражение передаются волнообразно (ср. "теорию волн" И. Шмидта), но тем самым не исчезают совершенно – следы "означающего" остаются.

12. Подобная ситуация имеет место при исследовании ассоциаций, вовлекающих "Бабу-Ягу" в мифологические образы западного ареала.

Так, А.А. Потебня включает Бабу-Ягу в такие ряды германской мифологии, как, с одной стороны, Гольда [совр. нем. Holle, Hulle и др.] (смерть и владелица царства мертвых) – Берта [Berta, Berchte] (кроткая, милостивая, благосклонная), с другой стороны, общие германским и славянским верованиям Марена – Мара – Мора [представленная также, по нашему мнению, во фр. *cauchemar* "кошмар"] (смерть, кошмар) и, наконец, Марена – Лиса – Яга (см. [Потебня 1865]).

Различие между Гольдой и Бертой, другая ипостась которой – Перхта (Perchta, Perhta), – отчасти локальное: Гольда господствует в Средней Германии (Mitteldeutschland), а Берта-Перхта – в Верхней (Oberdeutschland) (см. детальные материалы в [Handwörterbuch. 1927–1942. VI: 1478 и сл.]).

Сопоставляя Бабу-Ягу с германской Бертой-Перхтой, Потебня отметил две важные для нашей темы черты. Во-первых, постоянный опознавательный признак той и другой: одна нога – необычная, страшная. У Бабы-Яги она костяная или железная, у Берты – шире другой (и при этом "железный нос", – кажется, что признак "необычности материала", из которого составлены члены тела, – "плавающий", в данном случае он переходит на нос). В некоторых версиях легенды о Берте эта деталь мотивируется: она, будто бы, от вечной работы на прялке. Потебня отвергает это народное толкование, указывая, что прялка с ножным приводом была изобретена не ранее XVII в. Но связь Берты с прядением и, кроме того, с плугом,

плодородием земли, вообще с з е м л е й, остается. Во-вторых, Потебня в доступных для его времени пределах все же прослеживает и с в я з ь и м е н: Berta – Berchte (Frau Berchte) – Pērahta (так в нотации Потебни) имеют осевым признаком значения "светлая, блестящая". Заметим, что это подтверждается и детальным обследованием германских историков культуры, указывающих на легкость перехода языческого облика Перхты в христианский праздник "дня епифании" (Epiphaniastages) по признаку ее "сияющего явления" [Handwörterbuch 1927–1942. VI: 1485].

Эту последнюю черту мы в настоящее время имеем возможность проследить далее благодаря работе А.А. Королева "Brigit – древнейшая богиня индоевропейцев?" (тезисно опубликована в [Королев 1993]). Именем Brigit назывались несколько богинь древних ирландцев-язычников – покровительницы искусств, ремесел и поэзии; епископ Кормак (в "Глоссарии") отмечает, что этим именем у язычников назывались богини вообще. А.А. Королев возводит это имя к образованию на -nt- от корня и.-е. *bherġh- "высокий": *bhrġhnt букв. "возвеличенная, вознесенная", основываясь, как кажется, в значительной степени на значении соответствующего древнеиндийского эпитета, широко представленного в Ригведе, – br̥hatī "высокая, возросшая, значительная" (соотношение с формой муж. рода на -ant- все же интересно было бы разъяснить).

Далее, вслед за известными работами Г. Оттена, А.А. Королев связывает Бригиту с хеттским божеством Парга, одним из важнейших в пантеоне Канеса; но его функции и атрибуты остаются неизвестными. А.А. Королев заключает: "Староассирийские варианты написания *Pár-ga*, *Pár-ku*, *Pá-ar-ga*, *Pi-ir-ga* в отличие от хеттской стандартной орфографии *Pár-ga*, *Pár-ka* позволяют с большой долей уверенности предложить фонетическое чтение /bṛga/ из старого *brġhā без суффикса, однако синонимичного *bhrġhnt в других индоевропейских языках" [Королев 1993: 7].

Однако наряду с этой этимологией можно предложить и другую – от корня и.-е. *bhereġ- // *bhrēġ- "блестящий, сияющий, белый", от которого имя нем. Berta и Perhta (а также рус. берёза), что, как уже было сказано, в немецких преданиях связывается со смыслом "сияющая". В таком случае Бригит, описанная А.А. Королевым, оказывается вариантом "Белой Богини", постулируемой Р. Грейвзом [Graves 1961].

Но также вполне естественно допустить – в исходной этимологии – контаминацию обоих имен, что вполне соответствует и общей черте описываемого нами фрагмента.

В любом случае (при любой этимологии) мы имеем здесь дело с особой логико-лингвистической проблемой, с так называемой "причинной историей" (causal history) имени. Почему китов называют "рыбами" (англ. whale-fish, рус. рыба-кит)? Потому что такова "причинная история" их имен, потому что такое имя им дали при первоначальном "акте крещения" (см. подробнее [Холл Парти 1983]). Но это – особая область, которую неуместно обсуждать в рамках этой статьи.

Нужно только заметить, что она тесно связана с проблемой метода и что ее, конечно, не знали во времена "классического" сравнительно-исторического метода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Витгенштейн Л. 1994 – Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994.
 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. I–II. Тбилиси, 1984.
 Казанский Н.Н. 1990 – Проблемы ранней истории древнегреческого языка (языковая реконструкция и проблема языковой нормы): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1990.
 Королев А.А. 1993 – Brigit – древнейшая богиня индоевропейцев? // Язык и культура кельтов. СПб., 1993.
 Макаев Э.А. 1964 – Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.; Л., 1964.
 Мейе А. 1938 – Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., Л., 1938.
 Мейе А. 1954 – Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954.
 Одри Ж. 1988 – Индоевропейский язык // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. Новое в современной индоевропеистике. М., 1988.

- Потебня А А* 1865 – О мифическом значении некоторых обрядов и поверий П Баба-Яга // Чт в О-ве истории и древностей росс при Моск ун те 1865 Кн III
- Пропн В Я* 1986 – Исторические корни волшебной сказки Л , 1986
- Соболевский А* 1886 – Этимологические заметки Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Von Franz Miklosich Wien, 1886 // ЖМНП 1886 Сентябрь
- Степанов Ю С* 1974 – О зависимости понятия фонемы от понятия слога при синхронном описании и исторической реконструкции // ВЯ 1974 № 5
- Степанов Ю С, Проскурин С Г* 1993 – Константы мировой культуры Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия М , 1993
- Степанов Ю С, Эдельман Д И* 1976 – Семиологический принцип описания языка // Принципы описания языков мира М , 1976
- Топоров В Н* 1963 – Хеттская SAIŠU GI и славянская баба-яга // Институт славяноведения АН СССР Краткие сообщения 38 М , 1963
- Трубачев О Н* 1988 – Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей Теория лингвистической реконструкции М , 1988
- Холл Парти Б* 1983 – Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность // Семиотика / Сост Ю С Степанов М , 1983
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков Праславянский лексический фонд / Под ред О Н Трубачева Вып 1 – М , 1974 –
- Anderson S R* 1970 – On Grassmann's law in Sanskrit // Linguistic Inquiry 1970 V 1
- Beekes R S P* 1969 – The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek La Haye, P , 1969
- Benveniste E* 1937 – Expression indo-européenne de l éternité // BSL 1937 T 38, fasc 1
- Benveniste E* 1984 – Origines de la formation des noms en indo-européen 5-eme tirage P , 1984
- Chantraine P* 1968–1980 – Dictionnaire étymologique de la langue grecque Histoire des mots T I–IV (1, 2) P , 1968–1980
- Collinge N E* 1985 – The laws of Indo-European Amsterdam, Philadelphia, 1985
- Dumezil G* 1966 – La religion romaine archaïque P , 1966
- Ernout A Meillet A* 1967 – Dictionnaire étymologique de la langue latine Histoire des mots 4 eme éd , 2-ème tirage P , 1967
- Frisk Hj* 1970–1973 – Griechisches etymologisches Wörterbuch Bd I Heidelberg, 1973, Bd II, Heidelberg, 1970
- Grassmann H* 1863a – Ueber die Aspiraten und ihr gleichzeitiges Vorhandensein im An- und Auslaute der Wurzeln // KZ 1863 Bd XII
- Grassmann H* 1863 b – Ueber das ursprüngliche Vorhandensein von Wurzeln, deren Anlaut und Auslaut eine Aspirate enthielt // KZ 1863 Bd XII
- Graves R* 1961 – The White Goddess: A historical grammar of poetic Myth L , 1961
- Handwörterbuch 1927–1942 – Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens / Hrsg von H Bächtold-Stäubli Bd 1–10 Berlin, Leipzig, 1927–1942 (Reprint–Berlin, N Y , 1987)
- Hopper P J* 1973 – Glottalized and murmured occlusives in Indo-European // Glossa 1973 V 7, 2
- Kiparsky P* 1973a – On comparative linguistics, the case of Grassman's law in Greek // Current Trends in Linguistics / Ed by T A Sebeok The Hague, 1973
- Kiparsky P* 1973b – Abstractness, opacity and global rules // Three dimensions of linguistic theory / Ed by O Fujimura N Y , Tokyo, 1973
- Lincoln B* 1975 – The Indo-European Myth of Creation // History of religions V 15. Chicago, 1975
- Miller D G* 1974 – Some problems in formulating aspiration and deaspiration rules in Ancient Greek // Glossa 1974 V 8, 2
- Miller D G* 1977 – Some theoretical and typological implications of an IE root structure constraint // Journal of Indo-European Studies 1977 V 5
- Pokorny J* 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch Bern, 1959
- Schindler J* 1976 – Diachronic and synchronic remarks on Bartholomae's and Grassmann's laws // Linguistic Inquiry 1976 V 7
- Schmidt J* 1872 – Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen Weimar, 1872
- Sommerstein A H* 1973 – The sound pattern of Ancient Greek // Publications of the Philological Society 23 Oxford, 1973
- Sturtevant E H* 1940 – Evidence for voicing in Indo-Hittite γ // Language 1940 V 16, 2
- Usener H* 1896 – Götternamen Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung Bonn, 1896
- Vennemann T* 1979 – Grassmann's law, Bartholomae's law, and linguistic methodology // Linguistic method. Essays in honor of H Penzl / Ed by I Rauch and G F Carr The Hague, 1979
- Whitney W D* 1983 – Sanskrit Grammar Delhi, 1983 (Reprint of the 5-th ed , Leipzig, 1924)
- Zwicky A M* 1965 – Topics in Sanskrit phonology Diss Cambridge (Mass) , 1965

© 1995 г. К.Х. ШМИДТ

К ВОПРОСУ О ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ И КАТЕГОРИИ ЛИЦА В КАРТВЕЛЬСКОМ И ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ

Личные местоимения (ЛМ) и притяжательные местоимения (ПМ) двух первых лиц являются протокартвельской категорией, реконструкты которой выводятся из материалов дочерних языков картвельского, грузинского, древнегрузинского, мегрельского, лазского и сванского; мегрельский и лазский объединяются нередко под общим названием "занский":

(1)

1 sg. **me*: груз. *me*, зан. *ma*¹, сван. *mi*; ПМ **čkem*:- груз. *čem*-, зан. *čkim*-, сван. *mi-šgu*;

2 sg. **škwen*: груз. *šen*. **si*: зан., сван. *si*; ПМ **škwen*:- груз. *šen*-, зан. *skan*-, сван. *isgu*;

1 pl. *čkwe(n)*: груз. *čuen*, лаз. *čkun*, мегр. *čki* (сван. *nä-j* этимологически отлично); ПМ сван. экскл. *ni-šgwe-j*, инкл. *gu-šgwe-j*²;

2 pl. **t'kwen*: груз. *tkuen*, зан. *tkvan*, сван. *sgä-j* < **šdkw-e*- (вокализм аналогичен вокализму в *nä-j*); ПМ сван. *isgwe-j*.

Эти реконструкторы, в отношении которых не во всех случаях наблюдается единство мнений³, дискутируются уже со времен Ф. Боппа и Г. Розена [Bopp 1846; Rosen 1847; ср.: Čikobava 1938; Gamqrelidze 1959; Климов 1964; Martiresovi 1964]. Следует отметить аналогии, контаминации и смешанные формы, которыми особенно характеризуется сванский:

(2)

(a) *mi* (1. sg.) вместо **me* по аналогии с *si* (2. sg.);

(b) *mi-šgu* "мой" с -и по аналогии с *isgu* "твой";

(c) *mi-šgu* "мой", *ni-šgwe-j* (exklus.), *gu-šgwe-j* (inkl.) "наш": гибридные формы с префигированными личными аффиксами объекта (№ 15);

(d) *nä-j* "мы": контаминация из объектного личного префикса *n-* (№ 15) и неясного гласного (№ 1), ср. также 1-е лицо ед. числа груз. *men*, лаз. *tan* с аналогичным примыканием -и (по 2-му лицу ед. числа).

Парадигматически обусловленные инновации подобного рода можно типологически сравнить с аналогичными процессами, которые Бругман [Brugmann 1911 : 386 и сл.] восстановил для индоевропейского:

(3)

1. pl. по 1. sg.: пали *mayam* (для др.-инд. *vaśām*) по **mē*-, сходно с литов. *mēs*, dual. *mūdu*, др.-болг. *my*, арм. *mek*⁴;

1. sg. по 2. sg.: др.-авест. dat. *ma⁴bya* (в противоположность более древнему др.-инд.

¹ Более поздние формы с -и в груз. *men*, лаз *tan* объясняются по аналогии со 2-м лицом ед. числа **škwen* и с парадигмой мн. числа.

² Иначе в работе: [Penixti, Saržvelaze 1990 : 338].

³ К реконструкции сибилантов и аффрикат ср. недавнюю работу [Fähnrich 1992]. В объяснении Ферриха груз. *sa-*, *si-*: сван. *la-*, *li-* как латеральных (с. 142) отсутствует указание на работу К.Х. Шмидта [Schmidt 1962 : 78].

māhyam с *h=gñ*) по аналогии с *ta'byā*; др.-ирл. *mo* "мой" + лениция (вместо назализации) по аналогии с *do* "твой" + линиция и т.д.

Что касается 3-го лица ЛМ, то для него прежде всего верна установка Е. Бенвениста: «Нет афerezы лица, а есть только афреза не-лица, имеющая своим признаком отсутствие элементов, особо определяющих "я" и "ты"» [Benveniste 1946 : 225–236 и сл.]. Определение 3-го лица как "неличного" имплицитует совпадение его с указательным местоимением. В противоположность картвельскому и другим группам кавказских языков (КЯ) индоевропейские указательные местоимения принадлежат к классу так называемых родовых местоимений [Brugmann 1911 : 310 и сл.]. Кроме того, дифференциация по мужскому и женскому роду может в отдельных случаях переноситься на одно из первых двух лиц. Результат этого явления типологически напоминает ситуацию в семитском (ср., например, дифференциацию по мужскому и женскому роду во 2-м лице ед. числа и во 2-м лице мн. числа в др.-еврейском):

(4)

1. sg. тох. А: номинатив + косвенный падеж: муж. род *nāš*, жен. род *ñuk*; генитив: муж. род *ñi*, жен. род *nāñi* (тох.Б: *ñāš* (*ñiś*); *ñi*); аккузатив, мн. числа др.-инд. *yuṣmān* "вас" (новообразование вместо **usme-*: ср. № 11), затем при обращении *yuṣmās* (жен. род) vs. РВ 1,13. 11, 47; др.-инд. *bhagavant-*, *bhavant-* "превосходный", "осчастливленный" > "ты" (при обращении) обуславливают появление форм жен. рода *bhagavati*, *bhavati* [Krause, Themas 1960 : 162; Wackernagel 1929–1930 : 449, 467 и сл., 485 и сл.].

В то время как три группы КЯ, т.е. картвельские языки (КаЯ), восточнокавказские языки (ВКЯ) и западнокавказские языки (ЗКЯ), не имеют, как установлено, грамматического рода, ВКЯ располагают принципом классного словоизменения, при котором, по реконструированной Г. Деетерсом [Deeters 1963 : 1–79] модели, существительные селективно подразделяются на четыре класса, а подчиненные им члены предложения, т.е. определения и предикаты, соотносены с ними по классу с помощью различных по своему звуковому оформлению классных экспонентов (КЭ).

(5)

Классные экспоненты в ВКЯ по Г. Деетерсу [Deeters 1963 : 4]:

	sg.	pl.
I. Мужской класс	<i>w</i>	–
Разумные существа	–	<i>b</i>
II. Женский класс	<i>j</i>	–
III. Другие индивиды (животные, растения, материальные вещи)	<i>b</i>	<i>d</i>
IV. Имена вещественные, собирательные	<i>d</i>	<i>d</i>

Для определений и предикатов классное словоизменение является, таким образом, грамматической категорией⁴. Классное словоизменение находит, например, применение в системе указательных местоимений в восточнокавказском аварском языке:

(6)

Номинатив : эргатив : класс I *do-w* : *do-s* "ille", класс II *do-j* : *do- :t* "illa", класс III *do-b* "illud" [Čikobava, Cercvadze 1962 : 216; Charachidze 1981 : 76 и сл.].

Общей для КЯ и для индоевропейских языков является обозначенная Бругманом в качестве дейктической (δεικτική) категория, которая встречается в различных системах, чаще в трех- или двухчленных (сам Бругман исходил из четырехчленной системы), и которая выражает удаленность от говорящего того объекта, на который указано с

⁴ О терминологическом различии между *inflectional* и *selective* ср. [Ch.F. Hockett 1958 : 230].

помощью указательного местоимения [Brugmann 1904; Wackernagel 1926 : 102 и сл.; Szemerényi 1989 : 215 и сл.]:

(7)

Адыгейск. *mə* - "hic", *mo* - "iste", *a* - "ille"; авар. (*h*)*a-w* "hic", (*h*)*e-w* "iste", *do-w* "ille"; др.-груз. (номинатив : эргатив) *ese* : *aman* "hic", *ege* : *magan* "iste", *igi* : *man* "ille"; сван. (верхнебалхский) *ala* : *amñēm* "hic", *eža* : *ežnēm* "ille"; мерг. *tena* : *tenak* "hic", *tina* : *tinak* "ille"; лат. *hic*, *iste*, *ille*; арм. *ay-s*, *ay-d*, *ay-n*; хет. *kā* - "hic", *apa* - "iste, ille": ср. *kēz KUR-az-apiz KUR-az* "из этой страны" – из той страны" > "из моей страны – из твоей страны" [Friedrich 1960 : 135].

Следует еще остановиться на систематической конфронтации картвельских синтагматических дейксисов с синтагматическими дейксисами других языков, например, в связи с древнегрузинскими и древнеармянскими переводами библии (ср. также № 25) (к др.-арм. ср. [Jungmann 1964–1965]). Важно заключение, сделанное Вакернагелем [Wackernagel 1926 : 102, прим. 10] в отношении индоевропейского: в случае "jener-Deixis" делается указание на что-либо более далекое во времени и пространстве или на потустороннее ("auf das in Raum und Zeit weiter zurück-, entfernter liegende oder das Jenseitige gewiesen wird"); например:

(8)

εὐδοκίαν μου'εστεροί εἰσιν οἱ ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε Plato, Ap. 41c.; ср. нем. *Jenseits*, франц. *l'au-delà*.

При рассмотрении ЛМ и ПМ особый интерес представляют три феномена, на которых мы остановимся ниже.

(9) А. Супплетивизм. ЛМ.

Б. Ущербный характер ЛМ.

В. Вхождение ЛМ в категорию глагола.

А. Супплетивизм

Одним из признаков засвидетельствованного за пределами анатолийского и.-е. местоимения 3-го лица ед. числа **se*, **sā*, **tod* "он, она, оно" являются лежащие в основе местоимения **so*/**tod* супплетивные отношения, которые поначалу касались местоимения **so* предположительно с общим родом (*genus commune*), а с развитием местоимения **sā* женского рода распространялись лишь на мужской род. Однако предстоит найти надежное объяснение супплетивных отношений у местоимений **so*, **sā*, **tod* в индоиранском, греческом, германском, албанском (в литовском и древнеболгарском с обобщением **to*-, а в кельтском с экспансией *o*- **so*-⁵):

(10)

др.-инд. *sā(sa-h)*, *sā* : *tāt*; авест. *hā*, *hō*, *hā* : *tāt*; греч. *ὁ* (ὅς), *ἡ* : *τό*; гот. *sa*, *sō* : *þata*; лит. *tās*, *tā* : *taĩ* (*tai* "das, so"); др.-болг. *тъ*, *ta* : *to*; кельт.-ибер. (Botorrita) *šos* (nom.) : *šomui* (dat.) (ср. корреляцию *iomui* ... *šomui*); *šaum* (gen. pl. fem.).

И все же предложенная Бругманом [Brugmann 1911 : 313 и сл.] теория могла быть близка к истине: «Тот факт, что первоначально основа **so* относилась только к падежу субъекта (*Subjektasus*), а не к косвенным падежам, и ее применение ограничивалось областью форм мужского и женского родов, но не среднего рода, дает возможность заключить, что его дейктическая природа в начальной позиции была несколько отлична от дейктической значимости основы **to*»: ср. изолированность "основы" номинатива: нем. *ich*, др.-инд. *ahám* и т.д. наряду с формами на *m*- : *meiner*, *mir*, *mich*» (§ 398) Типологическое сопоставление супплетивизма у этого местоимения 3-го лица ед. числа с картвельскими парадигмами, приведенными под № 7, – номинатив : эргатив : др.-груз. *ese* : *aman*, *igi* : *man*, сван. *ala* : *amñēm* – не дано, однако, при этом непосредственно: в картвельском материале синтаксически соответствующ-

⁵ Ср. однако др.-ирл. *tó*, "yes" < **ted* "that" и инфигированные местоимения класса Б: *tⁿ/dⁿ* < **tom*; *t* /*d*/ < **to* < **tod*; *ta*, *da* < **t ns* и другие [R. Thymeyen 1946 : 110].

щий немаркированному падежу *Casus indefinitus* в эргативной системе номинатив ед. числа (в древнегрузинском с более поздним номинативом мн. числа, в сванском с поздней парадигмой мн. числа для всех падежей) отличается от косвенных падежей, которые образованы от эргатива: праиндоевропейской супплетивной паре **sol/*to* противопоставляется активный субъектный падеж с протоиндоевропейскими формами остальной части парадигмы. Состояние в картвельском функционально *mutatis mutandis* напоминает поэтому сформулированный А. Магометовым [Магометов 1965 : 97] "принцип двух основ", согласно которому "от именительного падежа (падежа, самого по себе неоформленного...) образуется эргатив, а эргатив лежит в основе косвенных падежей". Структурная же модель **se/*to*, напротив, соответствует функционально индоевропейскому супплетивному отношению в 1-м лице ед. числа и в 1-м и 2-м лице множ. числа:

(11)
 номинатив : аккузатив : 1. sg. **eġH-* : **(e)me-*; 2. sg. **tuH-* : **t(w)e-*; 1. pl. **wei-* : **ns-me*, 2. pl. **jūs* : **us-me* [Schmidt 1978; Szemerényi 1989 : 228, прим. 10].

В индоевропейском, как и в картвельском (ср. № 1, 2), ПМ образуются от ЛМ. О. Семёренья [Szemerényi 1989 : 233, прим. 10] относит следующие местоимения к самым ранним и.-е. формам:

(12)
(e)mos*, **tmos*, **nsmos*, **usmos* > греч. ἔμός, τέ(φ)ός (tewos*), αἴμος, ὕμνος (ср. № 21); авест. *ma-* "meus", *θwa-* "tuus", др.-инд. *tva* "tuus"; ср. также энклитики **mei/*moi* > лат. *meus*, др.-болг. *mojъ*, гот. *meina-*; др.-инд. (ablat.) *mad* > **mađiya-* "meus", *tvađ* > *tvađiya* "tuus"; образования на **(t)eres* : греч. ἡμέτερος, ὑμέτερος, др.-лат. *noster*, *voster*, гот. *unsara-*, *izwara-*; ср. также др.-хетт. *-mi-*, *-ti-*, *-si-*, *-šmi-* [Friedrich 1960 : 65, прим. 11].

С другой стороны, зафиксированные индоевропейские формы ЛМ 3-го лица ед. числа, 1-го лица ед. числа, 1-го лица мн. числа, 2-го лица мн. числа (ср. № 10, 11) могут быть истолкованы как реликты оппозиции агентивного падежа, как предтечи более позднего номинатива в ударной позиции и супплетивно образованной основы неагентивного характера в первоначально безударной (энклитической) позиции. Более поздние формы номинатива **so*, **eġH-*, **wei-*, **jūs* могли в период их функционирования в качестве форм агентивного падежа в доисторической активной системе [Schmidt 1986] соответствовать типу "самостоятельного актива", если охарактеризовать соответствующее понятие по аналогии с введенным И.И. Мещаниновым термином "эргатив самостоятельный" [Чикобава 1967а : 13].

В качестве этимологической основы к местоимению **so*, равно как и к находящемуся с ним в отношении дополнительной дистрибуции **to*, Э.К. Стертевант рассматривает засвидетельствованные хеттские союзы предложения [Sturtevant 1964 : 108 и сл.; ср. Гамкрелидзе, Иванов 1984, I : 362 и сл.]: "Мы реконструируем индо-хет. *so* наряду с *to*. Аналогическое изменение унаследованного хеттского **ša* в **ši* под влиянием общего *ni* – не удивительно". Отклонение анатолийского могло бы служить поводом к тому, чтобы сходным образом, как при дифференциации общего рода (*genus commune*) или при появлении перфекта состояния, рассматривать отделение анатолийских языков как *terminus post quem* в развитии местоимения **sol/*to*.

Картвельские параллели к индоевропейским супплетивным образованиям в 1-м лице ед. числа и в 1-м и 2-м лицах мн. числа (см. № 11) ограничены 1-м лицом ед. числа в грузинском и 1-м и 2-м лицом ед. числа в мегрельском и лазском:

(13)
 1. sg. груз. *me*, зан. *ma* (nom., erg., dat.) : **čkem-* (груз. *čem-*, зан. *čkim-*); 2. sg. груз. *žen*, зан. *si* (nom., erg., dat.) : **škwēn-* (груз. *žen-*, мегр. *skan-*, лаз. *škan-*).

Происшедшее в грузинском обобщение косвенной основы *žen* во 2-м лице ед. числа (с одновременной утратой картв. **si* для номинатива, эргатива и датива) сопоставляется типологически с развитием в древне-болгарском и литовском, речь идет о вы-

теснении *so посредством *to (№ 10). С другой стороны, засвидетельствованная в саанском экспансия *mi* и *si* (номинатив, эргатив, датив 1-го и 2-го лица ед. числа) находит свою типологическую параллель развития в кельтском (№ 10). Во всяком случае разделение падежей в картвельском не соответствует типологически индоевропейскому состоянию: как было показано в № 13, груз. *me*, зан. *ta* и зан. *si* полифункционально соотнесены с номинативом, эргативом и дативом, а не просто с эргативом как с агентивным падежом; в сванском *mi* и *si* в результате только что описанного процесса экспансии все же остаются нефлектированными, т.е. соотнесенными со всеми падежами. К различным функциям др.-груз. *me* ср. № 14:

(14)

др.-груз. *da aha esera me tkuen tana var* (от Матф. 8, 20) καὶ ἰδοὺ ἐγὼ με'ὺ ὑμῶν εἶμι – *gkitxo tkuen meca siŋquaj erti, da tkuen momiget me* (от Мар. 11, 29) ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἓνα λόγον, καὶ ἀποκριθῆτέ μοι – *aç me natel-gcem. tkuen çqlita sinanulad, xolo romeli-igi çemsa ŋemdgomad movals, uzliers ars çemsa* (от Матф. 3, 11) ἐγὼ μὲν ὑμῶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν. ὁδὲ ὁπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν.

В сванском супплетивизм в пределах первых двух лиц сконцентрирован на отношении между ЛМ и ПМ; их этимологическое тождество представлено во 2-м лице мн. числа (во 2-м лице ед. числа оно спорно):

(15)

ЛМ 1. sg. *mi*, 2. sg. *si*; 1. pl. *nä-j*, 2. pl. *sgä-j*; ПМ 1. sg. *mi-ŋgu*, 2. sg. *isgu*; 1. pl. (exklus.) *ni-ŋgwe-j* (inkl.) *gu-ŋgwe-j*, 2. pl. *isgwe-j*; личнообъектные инфиксы: 1. sg. *m-*, *mə-*; 2sg. *ž-*, *žə*; 1. pl. (exklus.) *n-*, *nə-*, (inkl.) *gw-* *gu-*; 2. pl. *ž-*; ... (-x), *žə* ... (-x) (ср. № 1; 3).

В ВКЯ и в ЗКЯ супплетивизм первых двух лиц у ЛМ и у ПМ не получил большого развития. Номинатив и эргатив могут совпадать или различаться только по наличию падежного показателя у эргатива:

(16)

Адыгейск. номинатив : эргатив : 1. sg., 2. sg. *se*, *we*; 1. pl., 2. pl. *te*, *ŋwe*; ПМ *sesəje*, *wewəje*; *tetəje*, *ŋweŋwəje*; сев.-табасар. ном. *izu ermiza* "я человек" : эрг. *izu apnuza xal* "я построил дом"; 2. sg. *iwu ėrmiwa* : *iwu apnuwa xal*; 1. pl. *içu ermijarča* : *içu apnuča xal*; 2. pl. *ič'u ermijarč'o* : *ič'ou apnuč'o* *xal* [Магомедов 1965 : 173].

Варианты, в том виде, как они представлены в аварском или чеченском, требуют дальнейшего рассмотрения:

(17)

Авар. номинатив : эргатив : 1. sg., 2. sg. *dun* : *di'ca*, *mun* : *du'ca*; 1. pl., 2. pl. *niž* : *niže'ca*, *niž* : *požo'ca* (ср. № 6); чечен. номинатив : генитив : эргатив : 1. sg., 2. sg. *so* : *san* : *ac*, *o* : *an* : *ač*; 1. pl., 2. pl. *waj* : *wajn* : *waj*, *txo* : *txan* : *oxa*.

Б. Дефектный характер ЛМ

Два признака определяют ЛМ в индоевропейском и картвельском: (а) дефектный характер категории ЛМ, который имеет своим следствием полифункциональность отдельных морфем, и в результате этого – (б) тенденция к построению монофункциональной парадигмы по именному образцу: признак (а) соответствует индоевропейскому и картвельскому, в то время как признак (б) обнаруживается больше в индоевропейском.

В пределах индоевропейских языков ударные и безударные, т.е. энклитические формы, представлены рядом в тождественной функции в косвенных падежах [Rix 1976 : 177].

(18)

Аккузатив, ед. число: греч. ἐμέ : με др.-инд. *mām* : *mā*, др.-болг. *tene* : *te*; аккузатив, мн. число: греч. ἡμᾶς : – др.-инд. *asmān* : *nas*, др.-болг. *nasъ* : *ny* [Rix 1976 : 177].

Для энклитических форм правомерно следующее утверждение Вакернагеля, сделанное им для древнеиндийского: "Для энклитических форм характерно то, что мно

гие из них служат для выражения различных падежей; так, *me*, *te* выражают как генитив, так и датив (в отдельных случаях и другие падежи), в двойственном и множественном числах – также аккузатив, датив и генитив" [Wackernagel 1929–1930 : 471, прим. 6].

(19)

1. Sg. Gen. *mene : enkl. (Gen. Dat.) *m̥ei/*moi; 2. Sg. Gen. *tewe/*tewe : enkl. (Gen. Dat.) *t(w)ei/*t(w)oi. Enkl. : 1. dual PB *nau*, Ав. г. *nā* (Gen.), греч. *νό* (Nom. Akk.), др.-болг. *na* (Akk.); 2. Dual PB *vām*, Ав. г. *vā* (Akk.), др.-болг. *va* (Nom. Akk.); 1. pl. PB *nas*, Ав.г. *nō* (Akk. Dat. Gen.), *nā* (Akk.), др.-болг. *ny* (Akk. Dat.), лат. *nōs*; 2. pl. PB *vas*, Ав.г. *vō* (Akk. Dat. Gen.), *vā* (Akk.), др.-болг. *vy* (Akk. Dat.); лат. *vōs* [Szemerénui 1989 : 228, прим. 10 470 и сл.; Wackernagel 1929–1930 : 470 и сл.].

Тенденция к построению в системе местоименной парадигмы, аналогичной именной, четко выражена в индоевропейском в развитии неэнклитической местоименной парадигмы. Так, например, в санскрите:

(20)

1. sg. *aham*, *tam*, *mayā*, *mahyam*, *mat*, *mama*, *mayi*;

2. sg. *tvam*, *tvam*, *tvaya*, *tubhyam*, *tvat*, *tava*, *tvayi*;

1. pl. *vayam*, *asmān*, *asmābhiḥ*, *asmabhyam*, *asmat*, *asmākam*, *asmāsu*;

2. pl. *yuyam*, *yuṣman*, *yuṣmābhiḥ*, *yuṣmabhyam*, *yuṣmat*, *yuṣmākam*, *yuṣmāsu*.

Стремление к синтаксическому согласованию типа 1 : 1 проявляется, как заметил Бругманн [Brugmann 1911 : 378], и у местоимений: "Местоимения *wir* и *ihr* в том случае, когда их относят к двум лицам, часто используются оппозитивно или предикативно с формами двойственного числа; в случае же, когда их относят к трем или более лицам, они используются с формами множественного числа. В этих случаях к личным местоимениям, которые, по образцу дуалиса или множ. числа соотносились со многими лицами, и к возвратному местоимению, если оно относилось ко многим лицам (в одних языках в меньшем, а в других в большем объеме) присоединялись падежные показатели в двойственном или множественном числе".

(21)

лесб. ὕμνε (ὕμνε ἑρόντας), ἄμνε (ἄμνε φέροντας) дор. ὕμέ, ἄμέ > гом. ὕμέας, ἡμέας, атт. ὕμῃς, ἡμᾶς; др.-инд. *asmān* "нас" (акк.) по *áśvān* (акк. множ. ч. *o*-основы), *asmāsu* (лок.) по *áśvāsu* (лок. множ. ч. *a*-основы): дуалис *yuvābhyām*, *yuvabhyam* (инстр. дат. алб.): инстр. для *yuvā* в *yuvā-dattas* "который вами двумя дан".

Материал картвельских языков подтверждает дефектный характер ЛМ: речь идет об отсутствии дифференциации между номинативом, эргативом и дативом (ср. № 13, 14), на которое указывал уже в связи с грузинскими фактами А. Чикобава [Чикобава 1967б : 38 и сл.]. В роли этих падежей выступает именительный падеж, точнее, основа: *me* "я", "мне" ..., *šen(a)* "ты", "тебе", *čven(a)* "мы", "нам", *tkven(a)* "вы", "вам". Это недифференцированность основных падежей архаична. Трансформативный и творительный от основ личных местоимений не образуются; *čem-da* // *čem-ad(a)*, *šen-da* // *šenad(a)* и т.п. образования заимствованы у притяжательного *čem-i* "мой", *šen-i* "твой" и т.п. Те же основы *čem-*, *šen-*, *čven-*, *tkven-* использованы для родительного падежа: *čem-tvis* "для меня", *šen-tvis* "для тебя", *čven-tvis* "для нас", *tkven-tvis* "для вас" (*čem* без послелога в значении родительного падежа известно из древнегрузинского языка):

(22)

me "я", "мне", *šen(a)* "ты", "тебе", *čven(a)* "мы", "нам", *tkven(a)* "вы", "вам"; трансформатив *čem-dal/čem-ad(a)*, *šen-dal/šen-ad(a)*; *čem-i* "мой", *šen-i* "твой" : *čem-tvis* "для меня", *šen-tvis* "для тебя", *čven-tvis* "для нас", *tkven-tvis* "для вас" : др.-груз. *čem* "меня".

Как поздний процесс следует рассматривать заимствованные базиса трансформативного и инструментального падежей из ПМ, т.к. по всем правилам ПМ, наоборот, образуются от ЛМ (ср. № 2). Этот принцип, т.е. образование ПМ от ЛМ, действует

также в случае атрибутивного ПМ в древне-хеттском:

(23)

Др.-хетт. 1., 2., 3. sg. : -*mi-*, -*ti-*, -*ši-*; 2., 3. pl. : -*šmi-*, -*šmi-*, например, *kardijaš-taš* "твоего сердца", *atti-ši* "к своему отцу" [Friedrich 1960 : 65 и сл.; Schmidt 1982 : 358 и сл.].⁶

Суффиксальная флексия этой древнехеттской категории напоминает префиксальные ПМ в ЗКЯ, как, например, в адыгейском, где, однако, кроме того, присутствует семантическая дифференциация по вещи и органической принадлежности [Рогавя, Керашева 1966 : 68 и сл.]. Для сванских ПМ (№ 15) принцип образования ПМ от ЛМ приобретает особый вес, т.к. здесь через своего рода "secondary split" [Hoenigswald Н.М. 1960 : 93], т.е. через экспансию полифункциональной падежной морфемы для номинатива, эргатива и датива в остальную часть парадигмы, подтверждается доисторическое единство ЛМ и ПМ.

Тенденция к построению парадигмы монофункциональных единиц по образцу имени в КаЯ представлена слабее, чем в индоевропейском. Тем не менее сформулированное Шанидзе [Šanidze 1976] правило ("Личные местоимения *me*, *šen*, *čuen*, *tken* не склоняются; *me* чередуется в генитиве с *čem*: *čemtuis* "для меня", *čemgan* "от меня") [Шанидзе 1982 : 51] становится относительным ввиду употребления флектированных ПМ в функции ЛМ.

(24)

uzlieres ars čemsa (Mt 3, 11) ἰσχυρότερός μου ἐστίν (N 14); *rametu egre devnes činačarmetčuelni igi, romelni ičvnes učinares tkuensa* (Mt 5, 12) οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφῆτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

В. Вхождение ЛМ в категорию глагола

Картвельские языки разделяют с древней индоевропейской языковой общностью личное словоизменение глагола, которое проявляется в индоевропейском в различных классах личных окончаний, дифференцированных по активу: медиопассиву : перфекту и по первичным и вторичным окончаниям. В картвельских языках дополнительные личные окончания, ограниченные сферой 3-го лица, противостоят личным префиксам для обозначения первых двух лиц (лично-субъектные префиксы) или соответственно всех трех лиц (лично-объектные префиксы). Типологически КаЯ и ЗКЯ имеют общий "полиперсональный глагол", принцип, который Деетерс [Deeters 1957 : 13 и сл.] определил следующим образом: "Глагольная форма посредством личных префиксов соотносится не только с субъектом, но и с объектом, а также с обстоятельными оборотами различного рода".

Инкорпорирующий характер картвельского глагола делает присоединение ЛМ, собственно, излишним. Мартиросов [Martirosov 1964 : 110, прим. 10] как раз указал на то, что в грузинском ЛМ значительно реже употребляются в таких случаях, чем, например, в русском или английском языках и что их употребление в древнегрузинском языке чаще объясняется интерференцией, влиянием со стороны оригинала, с которого осуществлен перевод:

(25)

xolo me vszul, rametu me včameb mistuis (I 7, 7) ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ – *šegačirveben šen da šen ičqu : vin šemaxe me?* (Mtk 5, 31) βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις. τίς μου ἤψατο.

Соммерфельт [Sommerfeldt 1971] интерпретирует согласующиеся с грузинской глагольной формой именные члены предложения "как предикативные аппозитивы к элементам, содержащимся в глагольных формах". Такое толкование он в принципе применяет и в отношении более древних индоевропейских языков: "Как и индоевропейский корень, он [грузинский глагольный корень] выражает только глагольное действие в его наиболее чистом и простом виде. Существительные, исполь-

⁶ Автор определяет этот термин на фонологическом уровне как "ситуацию, при которой изменение в том или ином пункте системы превращает аллофоны той или иной фонемы в подлинные фонемы".

зуемые в качестве дополнений глагольных форм, не могут выступать в качестве подлежащих или элементов, осуществляющих управление, как в современных европейских языках, а имеют особые отношения с элементами, выражаемыми глагольной формой".

С типологической точки зрения особое место занимает внутри КЯ (в противоположность индоевропейским языкам) модель ВКЯ, которая характеризуется безличным глаголом. Сохранившийся в таком языке, как аварский, прототип с безличным глаголом и классным словоизменением (№ 6) вытесняется в некоторых ВКЯ (например, в удинском) новой моделью с редуцированным классным словоизменением и с личным словоизменением, появившимся вследствие местоименной агглютинации:

(26)

besa-z(u) "я делаю", *-n(u)*, *-ne*; pl. *-jan*, *-nan*, *-qun*.

В табасаранском языке, в котором классные различия ограничены оппозицией между классами "человек" : "не-человек", более древнее классное словоизменение согласуется с грамматическим субъектом, которому в переходном глаголе соответствует объект действия, а более позднее личное словоизменение, напротив, согласуется с агентом действия, включая и переходный глагол:

(27)

Интранз., класс "человек" : *ermi ti-r-xnuw* "человек летал" vs. класс "не-человек" : *žaqa ji-w-xnuw* "птица летала";

транз., класс "человек" : *izu d-isnu-za baj* "я (*izu*, *-za*) парня (*d-*, *baj*) поймал" vs. класс "не-человек" : *izu b-isnu-za žağa* "я (*izu*, *-za*) птицу (*b-*, *žağa*) поймал" [Магомедов 1965 : 197 и сл.; Schmidt 1972].

При рассмотрении исторического развития восточнокавказской модели бросается в глаза, что она в результате появления личного словоизменения, возникшего на базе агглютинации, стоит в обратном пропорциональном отношении к личному словоизменению в каком-нибудь современном индоевропейском языке, например, в английском или норвежском, где оно, наоборот, часто утратило унаследованные индоевропейские личные окончания. Относительно этого явления Sommerfelt заметил: "В норвежском языке глагольная форма не выражает ни числа, ни лица, но только временные отношения".

Что касается синтактико-парадигматического расположения энклитических местоимений в индоевропейском, то оно определяется законом Вакернагеля [Wackernagel 1892; Collinge 1985], по которому энклитики занимают вторую позицию в предложении. Для реконструкции протоиндоевропейских синтаксических законов порядка слов это наблюдение имеет вместе с установлением базисного порядка слов ("субъект – объект – глагол") особый вес. Закон Вакернагеля имплицитно у сложных глаголов в древнеиндоевропейском позицию энклитических местоимений между превербом и глагольной основой, а при имеющемся в препозиции союзе с последующей несложной глагольной основой – их позицию между союзом и глагольной основой:

(28)

Др.-ирл. *du-s-gní* МІ 29а, 3 "he carries it (fem.) out";

др.-лат. *ob vos sacre; sub vos place*: Fest. 190, 309;

греч. *πρό μ' ἐπέμψε ἀνάξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων* А 442;

вед. *sam mā tapanti* РВ 1, 105, 8 "they torment me";

хет. *n(u)-an pešta* "he gave him" [Schmidt 1983 : 200].

Картвельские материалы к закону Вакернагеля известны [Schmidt 1969]. Т. Гамкрелидзе и Вяч. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984] старались на основе этого закона реконструировать синтагматическую структуру простого предложения в индоевропейском. Результат типологически сближается с построением картвельского глагольного комплекса с порядковым расположением: преверб – личный префикс – версионный гласный – корень и т.д. [Deeters 1930].

ВЫВОДЫ

Необходимо подчеркнуть, что типологические сравнения не имеют прямой доказательной силы для подтверждения генетического языкового родства. Но их ценность для историко-генетических реконструкций может косвенно состоять в том, что они указывают на параллельное или отклоняющееся развитие, что дает возможность сделать выводы относительно доисторических трансформаций.

Обобщенно сопоставление ЛМ и ПМ в картвельском и индоевропейском ведет к следующим результатам:

1. Часто встречающиеся аналогии, контаминации и смешанные формы у ЛМ и ПМ (см. № 2, 3, 4).
2. 3-е лицо ед. числа:
 - (а) в общем: совпадение с указательными местоимениями; дейксис (№ 7);
 - (б) в индоевропейском с родовыми различиями, в модели ВКЯ – с классным словоизменением (№ 5, 6).
3. Супплетивизм.
 - (а) индоевропейский номинатив vs. остальные падежные формы в 3-м лице ед. числа **se/*to*, в 1-м лице ед. числа, в 1-м и 2-м лицах множ. числа (см. № 10, 11) возникли из древнего активного падежа vs. из первоначально безударных энклитических неагентных элементов;
 - (б) картв. суппл. в 3-м лице ед. числа между немаркированным номинативом как *Casus Indefinitus* vs. остальные падежи (включая эргатив) (см. № 7); тип соответствует функционально принципу "двух основ";
 - (в) ПМ образованы от ЛМ (№ 12, 15, 23);
 - (г) картв. суппл., подтвержденный 1-м лицом ед. числа в грузинском и 1-м и 2-м лицом ед. числа (№ 13) в занской ветви;
 - (д) обобщение косвенной основы: 2-е лицо ед. ч. **škwen-* > *šen-* (с утратой **si*) в груз. (№ 13) можно сопоставить типологически с отношением древнеболгарского и литовского в 3-м лице ед. числа (№ 10);
 - (е) обобщение номинатива, эргатива и датива в сванском (№ 15) сопоставляется типологически с кельтскими тенденциями развития и.-е. **se/*to* (№ 10) и ведет через "secondary split" к дифференциации ЛМ и ПМ (№ 15).
4. Дефектный характер ЛМ
 - (а) ущербность имплицитует полифункциональность и.-е. энклитик (№ 19) и картв. номинатива, эргатива и датива (№ 13, 25);
 - (б) тенденция к построению монофункциональной парадигмы по именному образцу выражена в индоевропейском сильнее (№ 20, 21, 24) и ведет к сосуществованию функционально равнозначных ударных и безударных форм (№ 18);
5. ЛМ и глагол
 - (а) полисинтез ведет к избыточности ЛМ; частотность ЛМ в картвельском невысока;
 - (б) исключения из а) могут быть обусловлены калькированием (№ 25);
 - (в) безличное словоизменение > личное словоизменение через агглютинацию у ЛМ в ВКЯ, и это развитие типологически обратно пропорционально по отношению к фонетически обусловленному преобразованию личного словоизменения в и.-е. языках типа английского или норвежского (№ 26);
 - (г) отмирающее классное словоизменение наряду с развитым личным словоизменением в табасаранском отражает два грамматических признака разного возраста (№ 27);
 - (д) закон Вакернагеля является основополагающим для позиции местоименных элементов в картвельском и индоевропейском (№ 28).

Перевел с немецкого Г. Вернер

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гамкрелидзе Т В Иванов Вяч Вс* 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы I–II Тбилиси, 1984
- Климов Г А* 1964 – Этимологический словарь картвельских языков М, 1964
- Магомедов А* 1965 – Табасаранский язык Тбилиси, 1965
- Розава Г А Керашиева З И* 1966 – Грамматика адыгейского языка Краснодар, Майкоп, 1966
- Чикобава А С* 1967а – Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / Отв ред В М Жирмунский Л, 1967
- Чикобава А* 1967б – Грузинский язык // Языки народов СССР / Глав ред В В Виноградов М, 1967
- Bopp F* 1846 – Über das Georgische in sprachwissenschaftliche Beziehung // Abhandlungen der Königl Preußische Akademie der Wissenschaften Phil hist Klasse 1846
- Brugmann K* 1904 – Die Demonstrativa der indogermanischen Sprachen // Abhandlungen der Sachs Gesellschaft der Wissenschaften Phil hist Klasse 22, № 6, Leipzig, 1904
- Brugmann K* 1911 – Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen II, 2/1 2 Straßburg 1911
- Charachidze G* 1981 – Grammaire de la langue avar Paris 1981
- Čikobava A* 1938 – Čanur mergrul kartuli šedarebiti leksikonі Tbilisi, 1938
- Čikobava A* *Cercvadze I* 1962 - Xunzur ena Tbilisi, 1962
- Collinge N E* 1985 – The laws of Indo European Amsterdam Philadelphia, 1985
- Deeters G* 1930 – Das Kharthwelische Verbum Leipzig, 1930
- Deeters G* 1957 – Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den Kaukasischen Sprachen // Bedi Kartlisa 1957 Bd 23
- Deeters G* 1963 – Die Kaukasischen Sprachen Leiden, Köln, 1963
- Fähnrich H* 1992 – Eine Abweichung von den Kartwelischen Sibilantenentsprechungen // Diachronica 1992 V 9 № 1
- Friedrich I* 1960 – Hethitisches Elementarbuch Tl 1 Kurzgefaßte Grammatik Heidelberg, 1960
- Gamqrelidze T* 1959 – Sibilantta šesatqvisobani da Kartvelur enata uzvelesi strukturis zogi sakitxi Tbilisi 1959
- Hockett Ch F* 1958 – A course in modern linguistics New York, Chicago, 1958 (7-th ed – 1964)
- Hoeningwald H M* 1960 – Language change and linguistic reconstruction Chicago, 1960
- Iungmann P* 1964–1965 – L emploi de l'article défini avec le substantif en arménien classique // RE Arm 1964, 1, 1965, 2
- Krause W Thomas W* 1960 – Tocharisches Elementarbuch Heidelberg, 1960
- Martirosov A* 1964 – Nacvalsaxeli kartvelur enebši Tbilisi, 1964
- Penix H , Saržveladze Z* 1990 – Kartvelur enata etimologiuri leksikonі Tbilisi, 1990
- Rix H* – 1976 – Historische Grammatik des Griechischen Laut-und Formenlehre Darmstadt, 1976
- Rosen G* 1847 – Über das Mingrelische, Svanische und Abchasische // Abhandlungen der Königl Preußische Akademie der Wissenschaften Phil -hist Klasse 1847
- Šanidze A* 1976 – Zveli kartuli enis gramatika Tbilisi, 1976
- Šanisze A* 1982 – Grammatik der altgeorgischen Sprache Tbilisi, 1982
- Schmidt G* 1978 – Stammbildung und Flexion der indogermanischen Personalpronomina Wiesbaden, 1978
- Schmidt K H* 1962 – Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache Wiesbaden, 1962
- Schmidt K H* 1969 – Zur Tmesis in den Kartvelsprachen und ihren typologischen Parallelen in indogermanischen Sprachen // Saubileo Krebuli G Axvlediani Tbilisi, 1969
- Schmidt K H* 1972 – Probleme der Typologie (Indogermanisch/Kaukasisch) // Homenaje a Antonio Tovar Madrid, 1972
- Schmidt K H* 1982 – Keltisch Hethitisches // Serta Indogermanica Festschrift für Günter Neumann Innsbruck, 1982
- Schmidt K H* 1983 – The Celtic languages in their European context // Proceedings of the Seventh International Congress of Celtic studies Oxford, 1983
- Schmidt K H* 1986 – Zur Vorgeschichte des prädikativen Syntagmas im Indogermanischen // O o-pe re-si Festschrift für Ernst Risch zum 75 Geburtstag / Hrsg von A Etter Berlin, New York, 1986
- Sommerfelt A* 1971 – Sur la notion du sujet en Géorgien // Diachronic and synchronic aspects of language s-Gravenhage, 1971
- Sturtevant E H* 1964 – A comparative grammar of the Hittite language New Haven, London, 1964
- Szemerényi O* 1989 – Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft Darmstadt, 1989
- Thurneysen R* 1946 – A grammar of Old Irish Dublin, 1946
- Wackernagel J* 1892 – Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // IF 1982 Bd 1 (=Wackernagel J Kleine Schriften I Göttingen, 1953)
- Wackernagel J* 1926 – Vorlesungen über Syntax Basel, 1926 (2 te Aufl – 1957)
- Wackernagel J* 1929–1930 – Altindische Grammatik III, Göttingen, 1929–1930 (репринт 1975)

© 1995 г. Г.А. КЛИМОВ, Д.И. ЭДЕЛЬМАН

К ПЕРСПЕКТИВАМ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ ИЗОЛИРОВАННОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА БУРУШАСКИ)

Соотношение различных диахронических методов в построении исторической грамматики того или иного языка или генетической группы — узкой или более или менее обширной — в последние десятилетия привлекает все большее внимание исследователей, особенно с вхождением в орбиту интересов историков языка все большего числа лингвистических семей.

Естественно, что методы исторических исследований, и прежде всего сравнительно-исторический, разработанный и апробированный на материале индоевропейских языков, с успехом используются ныне при изучении истории языков различной генетической принадлежности. При этом с сознательным выходом и самой индоевропеистики за пределы сравнительно-исторического метода и с ее обращением к данным, получаемым в результате типологических (прежде всего — историко-типологических) и ареальных исследований, существенно видоизменились как представления науки об истории индоевропейских языков, так и характер индоевропеистики как отрасли генетического языкознания (ср., например [Гамк-релидзе, Иванов 1984]).

Особую роль в методическом плане приобрела сама проблема соотношения различных реконструктивных процедур в построении исторических грамматик разных языков, языковых групп и семей, поскольку наступило время более четкого определения принципиальных возможностей каждого из основных методов диахронического исследования — сравнительно-исторического, типологического, ареального — в выявлении тех или иных фактов языковой истории, а также перспектив использования того или иного метода (и в частности, для выявления ограничений, свойственных возможностям того или иного метода). При этом перед исследователями неизбежно возникает вопрос о соотношении разных методов в диахроническом исследовании, вопрос, оказавшийся существенным не только для специалистов по различным конкретным языкам, но и для лингвистов-теоретиков (ср., например, опубликованный несколько лет назад сборник [Lehmann, Hewitt 1991], специально посвященный проблематике соотношения сравнительно-исторического и типологического методов в диахронических исследованиях).

В свое время одному из авторов настоящей статьи пришлось заниматься вопросами соотношения методов в изучении истории иранских языков, особенно бесписьменных или не имеющих сколько-нибудь давней письменной традиции (см. [Расторгуева, Эдельман 1981:137—143; Эдельман 1982:152; 1986:12—14; 1989]). Многолетняя работа над языком бурушаски в синхронном и диахроническом планах, исследование его разновременных контактов с другими представителями окружающего лингвистического ландшафта (включая отношения субстрата

и адстрата) приводят к мысли, что некоторые из рассматривавшихся тогда методов и частных приемов применимы и здесь, хотя и с определенными коррективами, поскольку материал, предоставляемый этим языком для диахронических штудий, в корне отличен. Общим для обоих случаев является только факт отсутствия письменной традиции и, следовательно, невозможность применения в исследовании истории языка филологического метода.

Бурушаски до недавнего времени не имел письменной фиксации. Созданная в последние годы письменность базируется на арабской графике в модификации урду. Не исключено наличие письменности в раннем средневековье, связанное с распространением в регионе буддизма. Однако отдельные фрагменты на языке "бружа", в котором некоторые авторы усматривают предшествующее состояние бурушаски, пока не отождествлены с достаточной степенью достоверности. Предполагалось также наличие надписей на раннем бурушаски, выполненных письмом кхарошти и, возможно, брахми, однако их надежного прочтения также пока не существует. Поэтому "отследить" диахронию по письменным текстам можно было бы в какой-то мере только с конца XIX века, когда попадавшие в регион географы, военные и просто путешественники, редко имевшие языковедческое образование, начали фиксировать материал этого языка в различных "транскрипционных" традициях (и с разной степенью достоверности). Однако такой материал невелик, разнороден и не всегда пригоден для лингвистической обработки. Поэтому в изучении истории этого языка приходится опираться почти исключительно на показания его современного состояния.

Язык бурушаски (известный также как буриш(к)ский, а в более ранней традиции как канджутский — по названию местности Канджут, или вершикский — по обозначению одного из его диалектов) — генетически изолированный язык, насчитывающий по данным на 1981 год 55 000 — 60 000 говорящих [Backstrom 1992:37].

Предполагавшееся разными авторами его родство с кавказскими (особенно нахско-дагестанскими) или с тибетскими языками, а также с дравидийскими, енисейскими, мунда, баскским, нубийским и др., базировалось на чертах структурно-типологического сходства и на отдельных лексических совпадениях и аргументированного генетического доказательства не получило (о степени правдоподобия предлагавшихся сближений см., например, [Lorimer 1937:96—98; Топоров 1969; Торогов 1971; Климов, Эдельман 1970:18—19]). Отметим также, что материал бурушаски до последнего времени фигурирует в различных версиях медитерранистской гипотезы и в исследованиях по "доиндоевропейским" языкам Европы (ср. [Hubschmid 1992]).

Ареал распространения языка охватывает местности Хунза (Канджут), Нагар и Ясин — на севере Индостана в отрогах Каракорума. В настоящее время он соседствует с ваханским языком (из числа восточноиранских), с языками кховар и шина (из группы дардских) и др. Однако в прошлом он занимал значительно большую территорию, включавшую, как полагают, исторический Дардистан и, вероятно, часть Памира. Отсюда, видимо, идут следы более ранних контактов в виде субстратных черт в иранских, дардских (и в отдельных других индоарийских, например, в догри) и отчасти в нуристанских языках, а также в виде разновременных лексических заимствований и калькированных синтаксических и словообразовательных моделей в других языках, контактировавших с ним уже в историческую эпоху. К последним относится, в частности, цыганский язык, который, судя по некоторым данным, локализовался какое-то время в этом ареале. Подробнее о следах контактов бурушаски с другими языками см. [Зарубин 1927:280; Мор-

genstierne 1935:XXI—XXIII; Lorimer 1937; Berger 1959; Бескровный 1974; Эдельман 1980].

Традиционно в бурушаски выделяются два основных диалекта: собственно бурушаски (*buruša-ski* — производное от самоназвания его носителей — *burūšo*), включающий говоры, или под-диалекты, местностей Хунза и Нагар, и вершикский, или вершиквар, распространенный в местности Ясин (названия *weršik-war*, *werčik-war*, производные от этнонима *weršik*, используются по отношению к диалекту и его носителям их соседями, говорящими на дардском языке кховар; сами "вершикцы" называют себя "бурушо", а свой диалект, как и носители основного диалекта, — "бурушаски").

Бурушаски относится к числу малоизученных языков, хотя существуют многографические описания и словари как диалекта бурушаски (см. [Lorimer 1935—1938]), так и диалекта вершиквар (см. [Berger 1974]; словарь — [Lorimer 1962]), а также ряд других работ, посвященных этому языку. Дело в том, что фонетическая и фонологическая системы и того, и другого диалекта нуждаются в серьезном дополнительном исследовании, включая экспериментальное. Современное состояние изученности материала препятствует прежде всего полноценному исследованию звуковых соответствий между диалектами.

Немалые затруднения создает и различие в принципах дескриптивного анализа обоих диалектов в целом: собственно бурушаски подробно описан Д.Лоримером — прекрасным практическим знатоком многих "экзотических" языков региона, но не обладавшим, к сожалению, систематической лингвистической школой (что особенно проявляется в фонетической части его работ; дальнейшие попытки уточнить фонологическую систему [Morgenstierne 1945] и фрагменты морфологической системы [Vogt 1945; Borgstrøm 1945], а также суммировать общие черты системы этого диалекта и некоторые отличия от него диалекта вершиквар [Климов, Эдельман 1970] оставили все же многие вопросы открытыми), а диалект вершиквар — более четко, но менее детально — И.И.Зарубиным [Зарубин 1927] и затем Г.Бергером [Berger 1974]. В связи с отсутствием однотипного системного описания обоих диалектов их сравнительный анализ заведомо фрагментарен и оставляет достаточно широкую почву для дальнейшего исследования.

Между тем, расхождения между диалектами имеют место на всех уровнях языковой структуры, хотя в целом они незначительны. При этом наблюдаются определенные различия и между говорами (или под-диалектами) собственно бурушаски, причем говор Нагара характеризуется некоторыми чертами, роднящими его не с говором Хунзы, входящим в диалект бурушаски, а с диалектом вершиквар.

Из наиболее ярких фонетических различий между диалектами (и отчасти между говорами бурушаски) следует отметить следующие. В диалекте вершиквар отсутствует корреляция длительности гласных — отмечены пять фонем: /i/, /e/, /a/, /o/, /u/, — без гласной среднего ряда типа *ə*, столь характерной для окружающих языков данного ареала; из описаний неясно, имеется ли звукотип [ə] на фонетическом уровне. Установлено также свободное варьирование *a* // *e* в предупредной позиции и переход *o* > *u* в соседстве с рядом согласных. В диалекте бурушаски зафиксировано различие гласных по долготе ~ краткости: *ī, î, e, ē, a, ā, o, ō, u, ū*, — однако его фонологическая значимость неясна (и может быть неодинаковой в разных парах гласных). Кроме того существует гласная *ə*, не имеющая долгого коррелята. Для консонантизма вершиквар характерно наличие на фонологическом уровне щелевых согласных при отсутствии фонем лабиодентального ряда, т.е. *f* и *v*. В диалекте бурушаски засвидетельствованы случаи свободного варьирования аспирированных и щелевых, принадлежащих к одному и тому же ряду, типа

ph//pf//f, при том, что и здесь лабиодентальный ряд на фонологическом уровне отсутствует; предполагается наличие фонем и звукотипов, отсутствующих в вершиквар: *ʃ, ʒ, ɳ* и др. Кроме того в говоре Нагара фиксируются дифтонги *ai* и *au*, отсутствующие в говоре Хунзы (здесь им соответствуют монофтонги *e, o*), назализация гласных (возможно, чисто фонетическая) и некоторые другие особенности. Для бурушаски отмечено наличие тоновых противопоставлений, включающих два или три тона, хотя не исключено, что движение тона является здесь одним из компонентов фонетической реализации ударения. В вершиквар такое явление не зафиксировано (хотя и не исключено).

В морфологии именных частей речи имеют место расхождения между диалектами в выражении множественного числа имен, в формах некоторых местоимений (личных ударных, проклитических и др.). В глаголе встречаются случаи различия в построении некоторых аналитических форм (и их вторичного синтеза в говоре Хунзы, при сохранении их аналитического облика в говоре Нагара бурушаски и в вершиквар). Для вершиквар и говора Нагара характерна утрата рядом глаголов лично-классных префиксов, сохраняемых в говоре Хунзы, и т.п. На лицо и некоторые другие морфологические различия, связанные либо с позднейшим преобразованием форм, либо с сохранением какого-либо элемента в одном диалекте при утрате его в другом. Все эти признаки — по определению — не являются решающими при выявлении степени родства или степени расхождения между диалектами.

В лексике различия, наиболее отчетливые между бурушаски и вершиквар (и менее яркие — между говорами Хунзы и Нагара в пределах первого), отмечаются как среди достаточно явных заимствований (в связи с разнообразием источников заимствования см., например, [Berger 1966]), так и среди слов неясного происхождения, а также исконных.

Нетрудно видеть, что эти различия (подробно о них см. [Климов, Эдельман 1970:100—103; Berger 1974:5—6]) носят в основном структурный характер. Поэтому в плане более или менее глубокой сравнительно-исторической реконструкции их показания далеко не однозначны: их значительная часть, особенно расхождения в аналитических и вторичных синтетических формах, может оказаться относительно недавней. К тому же некоторые из позднейших аналитических форм глагола могут иметь контактное происхождение, поскольку до настоящего времени в качестве письменного языка здесь используется урду и в разных местах региона носители бурушаски владеют соседними индоиранскими языками: ваханским, кховар, шина, — при том, что в индоиранских языках глагольные аналитические конструкции получили широкое распространение, начиная с древнего периода.

В этих условиях перед исследователями истории языка бурушаски возникает естественный вопрос — каковы же возможности, которые предоставляет данный материал: а) для сравнительно-исторической реконструкции общего для диалектов и говоров состояния, б) для типологической реконструкции более архаичной системы (или хотя бы отдельных частных подсистем) языка (сюда же можно отнести внутреннюю реконструкцию определенных подсистем), в) для диахронической трактовки тех свидетельств, которые могут быть получены посредством ареального метода?

Предварительный анализ перспектив сравнительно-исторического исследования материала обоих диалектов (и говоров внутри диалекта бурушаски) показал, что в настоящее время — до более детального исследования фонетики и фонологии обоих диалектов — многого в этом плане ожидать не приходится.

Сопоставление полноформенных слов, точнее — рядов словоформ, входящих в определенные лексико-морфологические разряды (например, определенных имен по всей парадигме, местоимений, числительных, флективных форм глагола, имен неотчуждаемой принадлежности с префигированными проклитическими лично-классными показателями и др.) по диалектам помогло выявить не столько звуковые соответствия, сколько степень архаичности материального облика некоторых морфологических элементов, при проблематичной сводимости их фонологического состава и при различиях в стяжениях на морфемных швах. Сравни, например, имена с лично-классными префиксами [Morgenstierne 1945:87]:

	БХЛ	БНЛ	БМ	ВЛ	ВЗ	ВМ
"мой-сын"	<i>ēi</i>	<i>ā/æi</i>	<i>ēī</i>	<i>aiyε</i>	<i>ayē</i>	<i>aye</i>
"твой-сын"	<i>gūi</i>		<i>gūi</i>	<i>giyε</i>		
"его-сын"	<i>ī(i)</i>		<i>īi</i>	<i>yε, īε</i>	<i>yē</i>	
"моя-дочь"	<i>aii</i>		<i>āi</i>	<i>aii</i>	<i>ay</i>	<i>ai</i>
"твоя-дочь"	<i>gōi</i>		<i>gōi</i>	<i>gōi</i>		<i>gōi</i>
"его-дочь"	<i>ei</i>		<i>ēi</i>	<i>ei</i>	<i>äy</i>	

(Сокращения: Б — бурушаски, В — вершиквар, Х — Хунза, Н — Нагар, Л — запись Д.Лоримера, М — запись Г.Моргенштерне, З — запись И.И.Зарубина, Берг. — запись Г.Бергера).

В материалах П.Бакстрема *ii* и *ei* приводятся как словарные обозначения соответственно "сын" и "дочь", однако наличие словоформы *aiia* "мои-сыновья" (ср. [Backstrom 1992:252 и 262]) в тексте указывает на префиксальность первого элемента, что позволяет трактовать *ii* буквально как "его-сын", а *ei* как "его-дочь".

Хотя приведенные выше формы трактуются различно — Д.Лоример усматривает в словах и "сын", и "дочь" неизменный фонологический состав префиксов при различных анлаутах основ [Lorimer 1935:127 и сл.], в то время как Г.Бергер видит разные типы префиксов [Berger 1974:25], — само сопоставление материала показывает, что для общебурушасского или, во всяком случае, для относительно архаичного состояния, лежавшего в основе обоих современных основных диалектов, было характерно наличие посессивных префиксов при данных именах и сходное (если не тождественное) звучание как самих именных основ, так и их префиксов. Притом на стыке префиксов с основами происходили некие явления, которые дают основания говорить о двух разных способах сочетаемости префикса и основы, свойственных еще тому периоду в истории языка. Дальнейший анализ сочетаемости рассмотренных выше и других лично-классных префиксов с различными словами (именами и глаголом) показывает, что эти два способа сочетания префикса с основой закреплены лексически. Более того, в основном лексический состав слов, где используется первый способ сочетания (по модели Б *gu-* "твой" + *-i* "сын"), и слов со вторым способом сочетания (по модели Б *gu-* "твоя" + *-ai* "дочь" в трактовке Д.Лоримера или по модели В *go-* "твоя" — с префиксом II типа — + *-i* "дочь" в трактовке Г.Бергера, — безразлично), — по диалектам совпадает и, следовательно, является общим для них, т.е. архаичным. Тем самым, выбор способа сочетаемости (или, по Г.Бергеру, выбор типа префикса) является лексически заданным свойством основы.

Что же касается звуковых соответствий по диалектам между морфологическими элементами и основами, то на данном этапе изученности фонетики и фонологии современных диалектов соответствия гласных выявляются очень условно, а в отношении согласных можно сделать лишь отдельные предположения. Встречаются расхождения, которые могут объясняться просто различной степенью точно-

сти фиксации фонетического материала разными авторами (ср. передачу основы "рука": БЛ *-riŋ*, ВЛ *-rɛn*, ВЗ *-reŋ̃*, ВБерг. *-rɛn*). В ряде случаев обнаруживаются расхождения, являющиеся, по-видимому, относительно недавними. Сравни, например, ВБерг. *bišundu* "шесть" (I кл.), *bišinde* (абстр.), ВЗ *bešindo*, ВЛ *bišindo*, при БЛ *mišindo* (I—IV кл.), *mišindi*, *mišin* (абстр.) и в составе сложных числительных: БЛ *turma mišindo* (I—IV кл.) "шестнадцать", букв. "десять-шесть", *turma mišindi* (абстр.). Сходное соотношение: *m-* в говорах Хунзы и Нагара, но *b-* и *m-* в различных говорах Ясина, — отмечается в этом слове и в материалах П.Бакстрема [Backstrom 1992:256]. По-видимому, в данном случае мы имеем дело со следами былой назализации в бурушаски (и в отдельных говорах вершиквар) начального **b-* в результате его ассимиляции со срединным *-n-*, поскольку говорить об общем регулярном соответствии бур. *m-* ~ верш. *b-* нет оснований (ср. Б *biške* ~ В *bišké* "шерсть; волосы животного" IV кл.; Б *mi-* ~ В *mi-* местоимение 1 л. мн. ч. и т.д.).

Поскольку морфологические соответствия, как уже говорилось, выявляются более отчетливо, чем фонетические, уместно уделить им более пристальное внимание.

Так, в обоих диалектах мы имеем сходную именную систему с членением имен на четыре лексических класса: I — мужчин, II — женщин, III — живых существ, некоторых предметов (названия плодов, частей дерева, ряда природных и космических явлений и т.д.), IV — веществ (жидкостей, металлов и т.п.), части предметов, нематериальных и абстрактных понятий, родовых названий совокупности предметов, — т.е. систему, находящую свою отчетливую аналогию в нахско-дагестанских языках. В структуре самих существительных классная принадлежность не выражена, хотя частотность определенного исхода основ противопоставляет IV класс всем остальным, а показатели плюралиса, закрепленные лексически, могут быть соотнесены с определенными классами. Принадлежность существительных к определенным классам выявляется синтаксически — по соотнесению с классными маркерами глаголов, отдельных прилагательных, наречий, некоторых разрядов местоимений и числительных, а также с префиксальными (или проклитическими) местоимениями (или местоименными лично-классными префиксами), присоединяемыми к именам и глаголам.

Классные префиксы в обоих диалектах совпадают: в ед. числе I, III и IV кл. *i-*; II кл. *ti-*, *to-*; во мн. числе в диалекте бурушаски *u-* во всех классах, в вершиквар — I—III кл. *u-*; IV кл. *i-*. Очевидно, в бурушаски налицо результат относительно поздней унификации показателей во множественном числе, т.е. замена *i-* IV кл. на *u-* I—III кл. по аналогии с ними. В вершикском — более архаичный показатель IV класса, совпадающий с соответствующим показателем единственного числа: объекты, относящиеся к IV классу, первоначально не подразумевали расчлененной множественности.

Показатели плюралиса имен в каждом из диалектов очень многообразны. Как правило, это агглютинативно присоединяемые суффиксы (хотя и с различными фонетическими изменениями на стыке с основами), из которых около 50 ограничены узкими рамками определенных групп субстантивов, а остальные — около 20 — имеют более широкий спектр употребления. При этом словарное распределение суффиксов по диалектам не всегда совпадает (ср. Б *ḡēniš*, В *ḡendeš* "царица" — мн.ч. Б *ḡēnanc*, В *ḡendehay*; Б *būš*, В *buš* "кошка" — мн.ч. Б *būšōḡo*, В *bušānc*). Подробнее о функционировании форм обоих чисел и распределении их показателей см. [Vogt 1945]. Падежных форм две: прямой падеж и агентивно-косвенный. Их оформление в диалектах единообразно: прямой падеж имеет нулевой показатель, косвенный — показатель *-e*. Падежная система обоих диалектов дополняется большим

числом послелогов — простых и поздних отыменных, не всегда совпадающих по диалектам (впрочем, это скорее уже лексическое, а не морфологическое различие).

Имеющаяся в бурушаски категория отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности, выражаемая в облигаторном употреблении префиксальных посессивных показателей при именах неотчуждаемой принадлежности (т.е. при названиях частей тела и других понятий, неотделимых от живого существа, таких, как "память", "сон" и пр., при терминах родства и т.п.), передается в обоих диалектах практически одинаково; сами префиксы, как уже говорилось выше, совпадают при обоих способах их соединения с основой.

Совпадают по диалектам и основные разряды местоимений. Ср., например, личные: ед.число 1 л. Б прям. пад. *je*, агент.-косв. пад. *ja*, В (общая форма) *ja*; 2 л. прям. пад. Б *ün, ün, ün*, В *un, ün*, агент.-косв. пад. Б *ünje*, В *gu, go*; мн. число — общая форма для прямого и агентивно-косвенного падежей: 1 л. Б *mi*, В *mi*; 2 л. Б *ta*, В *ta*.

Числительные в обоих диалектах различаются по классам считаемых предметов (особенно — числительные от "одного" до "трех") и имеют, кроме того, отдельную форму для абстрактного (не связанного с классами предметов) счета. В основном их формы совпадают: ср. "один" I—II кл. Б *hin*, В *hen*, III—IV кл. Б *han*, В *han*, абстр. форма Б *hik, hi*, В *hek*; "два" I—II кл. Б *ātan*, В *altán*, III кл. Б *āta*, В *altá, altác*, IV кл. Б *āto*, В *altó*, абстр. форма Б *āti, āto*, В *altó* и т.д. (при этом абстрактная форма числительного "два" *āto, altó* — единственная из всех числительных, совпадающая с универсальной формой множественного числа имен). Во внутренней форме образования числительных "четыре" и "восемь" в обоих диалектах просматривается элемент *alt* числительного "два": ср. "четыре" I—II кл. Б *wāto*, В *wātu*, абстр. форма Б *wāti, wāl*, В *wālte*; "восемь" I—II кл. Б *ātambo*, В *altambu*, абстр. форма Б *ātambi, ātam*, В *altámbe*. Не исключено, что мы имеем здесь дело с рудиментами более старого двоичного счета. Числительные от "одиннадцати" до "девятнадцати" строятся в обоих диалектах по модели "10 + 1", "10 + 2" и сходны материально. Числительное "двадцать" прозрачно в своем происхождении из "два-десять": ср. абстрактные формы Б *ātar*, В *altar* "двадцать", при Б *tōrumo, tōrimi*, В *tórum* "десять". От "тридцати" и выше словообразовательная модель в обоих диалектах вигезимальная с элементами децимальности, ср. Б *ātu wātar tōrumo*, В *āto-ātar tórum* "пятьдесят", т.е. "два-двадцать [плюс] десять".

Много общего в материальном облике элементов глагольного спряжения. Так, постпозитивные показатели лица и числа, а в 3 лице также класса, единые для различных временных форм, независимо от переходности/непереходности глагола, практически совпадают по диалектам. Сравни, например, в ед. числе 1 л. Б, В *-a*; 2 л. Б *-a, -o*, В *-a*; 3 л. I, III, IV классы Б, В *-i*, II кл. Б *-u, -o*, В *-u*. Во мн. числе показатели лица и класса для I—III кл. не различаются, а в IV кл. выступает тот же показатель *-i*, что и в ед. числе. Препозитивные лично-классные показатели, указывающие на объект у переходных глаголов и на субъект у непереходных (благодаря чему у непереходных глаголов окончания часто оказываются избыточными и могут быть опущены), практически те же, что у имен (см. выше). Имеются общие типы образования аналитических форм глагола, обычно с одинаковым (первоначально) по диалектам материальным воплощением, ср., например, Б *eāii, eāui*, В *éum bai* "он делает" (презент), Б *éuwat, éat*, В *éum bat* "он делал", где различия только в относительно позднем стяжении аналитических форм во вторичные синтетические образования в бурушаски, при сохранении аналитизма в вершиквар (ср. также реконструкцию архаичных аналитических форм на основании современных синтетических в: [Morgenstierne 1935:XX; Borgstrøm 1945:141]).

Синтаксис обоих диалектов слабо изучен, но с достаточной степенью очевидности выявляет много сходного не только в общем строении предложения (особенно в эргативной, или точнее, в эргативообразной конструкции предложения с переходными глаголами в определенных видо-временных формах, а также с отдельными непереходными глаголами активной семантики, при номинативной конструкции с большинством непереходных глаголов), но и — что особенно важно для сравнительно-исторического изучения синтаксиса — в строении и составе микро-синтаксических структур, или синтаксических блоков (определение понятия см. [Ярцева 1967; 1976]). Так, например, при наличии лично-классных префиксов, полнооформленное выражение понятия "моя рука" содержит не только префикс 1 л. ед. числа *a-* "мой", но и полное местоимение *ja* "мой" и выглядит как "моя моя-рука": Б *ja a-riŋ*, ВЗ *ža a-reŋə* (ср. аналогичное "двойное" оформление принадлежности в тюркских и некоторых других языках).

Большой исконно общий для диалектов пласт лексики имеет много тождественного не только в своем составе, но и в словообразовательных моделях и элементах, включая и такие, которые проливают свет на историю целых его фрагментов. Так, например, ряд субстантивов — обозначений частей тела — обнаруживает в начале основы вслед за посессивным префиксом комплекс *-lt-*, восходящий к числительному "два" (см. выше): ср. Б *-ltumal*, В *-ltumał*, *-ltumal* "ухо"; Б *-ltanc*, ВЛ *-ltanz* "нога"; Б *-ltānc* (форма мн. числа), В *-ltēŋ* "бровь"; Б *-lčīn*, В *-lči*, *-lčīn* "глаз" (из **-lt-čīn* или **-lt-šin*) и т.д. Характерно, что при утрате начального *l* в этих словах отпадает необходимость присоединения препозитивного лично-классного показателя: Б *tur*, В *tūmał*, *tanz*, *tur*, *teŋ* и т.п. Подробнее см. [Климов, Эдельман 1974]. Много сходного также в глагольной лексике и ее изменениях (ср материалы: [Lorimer 1935 I:224—226; 1938:103—153; 1962:69-99]).

Таким образом, сравнительно-исторический метод при столь близком и иногда даже тождественном материале обеспечивает в принципе весьма небольшую глубину реконструкции: сводимость фактов лежит практически на поверхности, и реконструируется система, тождественная в своей основе тому, что мы застаем в обоих диалектах (хотя отдельные подсистемы лучше сохранились в каком-либо одном из них, чаще всего в вершиквар).

Теперь уместно обратиться к тем возможностям реконструкции, которые могут дать другие методы диахронической лингвистики.

Типологический метод и тесно связанные с ним приемы внутренней реконструкции удобнее всего применить в тех сферах современного или несколько более раннего состояния языка (теперь мы убедились, что оно в принципе мало отличается от современного), где отчетливо выступают те или иные непоследовательности в системе.

В этом отношении немалый интерес представляет в языке бурушаски история системы именных классов — как в плане функционирования классных показателей, так и в плане семантической подосновы распределения существительных по классам.

В плане функционирования классных показателей характерно отмечавшееся уже выше употребление показателя IV класса в неизменной в прошлом форме для единственного и множественного числа — свидетельство соотнесенности в более архаичной системе IV класса только с абстрактными, собирательными, родовыми и прочими "общими" понятиями, не подразумевающими статуса расчлененной множественности. На основании фонологического облика классных показателей Э.Бенвенист в свое время пришел к выводу, что четырехклассная система в бурушаски может восходить к более простой бинарной: "жен-

ский"/"неженский" классы с показателями соответственно *o* (/ / *u*) и *i* [Benveniste 1948—1949:71]. Однако анализ распределения показателей множественного числа по классам, предпринятый Г.Фогтом [Vogt 1945], а также результаты наших наблюдений над исходом именных основ, указанный выше "сбой" в категории числа (в случаях, когда число выражается в классных показателях и когда объект относится к IV классу) и некоторые другие данные, — все это свидетельствует, что морфологическая граница проходит скорее между I—III классами, с одной стороны, и IV классом, с другой. Учитывая, что морфология нередко отражает в формализованном виде более ранние принципы организации лексики, остается признать, что более старая система бурушаски должна была отражать в какой-то период оппозицию именно этих двух классов, когда I—III классы составляли один "сверхкласс", по-видимому, соотносящийся каким-то образом с одушевленными именами, а противопоставленный ему IV класс соотносился с неодушевленными предметами и понятиями. Заметим к тому же, что соотношение гласных *o* (/ / *u*) и *i* соответственно с "женским" и "неженским" классами оказывается в противоречии с диаметрально противоположной закономерностью звукового символизма, установленной фоносемантическими исследованиями (ср. [Воронин 1982:111]).

Обращает на себя внимание и системная соотнесенность категории отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности с категорией лексических классов: само наличие этой категории — есть характеристика, свойственная только классу или классам одушевленных, поскольку неодушевленные не имеют отчуждаемой принадлежности.

Существенной чертой системы именных классов в обоих диалектах (судя по косвенным данным, достаточно архаичной) является то, что она предстает в ряде случаев в качестве маркера скрытой категории единичного/общего: ряд имен в значении единичного предмета относится к III классу, а в значении родового понятия, совокупности данных предметов — к IV классу (ср. Б *ɟaʃil* в значении "палка" III кл., в значении "палки, дрова" IV кл.).

В системе именных классов находит свое место и противопоставление личности/неличности, или человека/нечеловека, также отражающееся на морфологическом уровне (хотя и иными средствами) и имеющее свою историю.

Достаточно архаичной представляется здесь и категория отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности, пронизывающая всю систему языка бурушаски и оставившая весьма значительный след в языках, для которых он послужил некогда субстратом (подробнее см. [Эдельман 1980]).

Наличие большого количества показателей плюралиса, распределенных по отдельным группам существительных, также является свидетельством процесса развития категории числа, отражением этапа ее тесной связи с лексической классификацией и со словообразованием. Сравни удачное, на наш взгляд, типологическое сопоставление большого количества показателей множественного числа в бурушаски с многообразием именной парадигмы в праиндоевропейском состоянии [Vogt 1945:127—128].

Свидетельством истории системы числительных служит сохранение связи их формы с классом считаемых предметов. При этом показательна и динамика системы — образование неклассной формы, применяемой при абстрактном счете, — шага на пути к полной абстрагированности от качества считаемых предметов. Интересны и элементы формо- и словообразования числительных: числительное "два" в абстрактной форме *alto* является единственной из всех абстрактных форм числительных, содержащей *-o* — показатель множественного числа имен (об эле-

ментах восстанавливаемого более раннего двоичного счета и о современном вигезимально-децимальном говорилось выше).

В системе глагола в плане диахронии обращают на себя внимание не только отмечавшиеся в предшествовавшем изложении особенности изменения глагола по лицам, числам и классам, образование переходными глаголами эргативообразной конструкции предложения, но и такая существенная черта, как образование эргативообразной конструкции рядом непереходных глаголов активной семантики. Последнее может служить одним из аргументов в пользу классификации глаголов бурушаски в прошлом не по переходности/непереходности, а по активности/ин-активности (стативности), что поддерживает более раннюю именную классификацию по одушевленности/неодушевленности.

Намечаются и возможности реконструкции более частных подсистем в истории языка бурушаски. Так, например, система указательных местоимений, описываемая исследователями обоих диалектов как двоичная — "этот" ~ "тот", — содержит некоторые признаки того, что ее прежний набор был иным. Ср. Б *guse* III кл., *gute* IV кл. "этот", *ise* III кл., *ite* IV кл. "тот", где естественно усмотреть содержащиеся в их составе личные префиксы *gu-* 2 лица и *i-* 3 лица, соотносимые с личными префиксами при именах и глаголах и с личными местоимениями. В таком случае можно предположить, что существовали и формы **ase* III кл., **ate* IV кл., содержавшие префикс 1 лица *a-* и обозначавшие первоначально "этот" (т.е. представлявшие Ich-Deixis, согласно классификации соответствующих индоевропейских местоимений К.Бругмана), а современное местоимение "этот", включающее *gu-* — исторический префикс 2 лица, — обозначало прежде "этот"/"тот" и указывало на предмет, находящийся возле собеседника (т.е. представляло Du-Deixis). Современное же местоимение "тот" с префиксом 3 лица *i-* сохраняет в целом значение исторического "удаленного", однако сфера его функционирования в прошлом должна была быть более узкой (т.е. представляющей Jener-Deixis), исключавшей пространственную сферу 2 лица, т.е. собеседника.

Таким образом, метод типологической реконструкции позволяет гипотетически восстанавливать более старое состояние системы языка бурушаски как в плане его целостной структуры, так и в плане отдельных подсистем. При этом в целом как будто просматривается совокупность признаков-координат, свойственных языкам активного типа.

Рассматривая перспективы внутренней реконструкции предшествовавшего состояния языка бурушаски, Г.Фогт склонялся к выводу, что в отсутствие исторического материала часто трудно различать рудименты прошлого и недавние новообразования и что внутренние свидетельства редко бывают достаточными для однозначных выводов [Vogt 1945:128]. Действительно, адекватная оценка исторического места того или иного факта во множестве случаев требует здесь учета показаний ареальной лингвистики, недооцениваемых, на наш взгляд, как средства получения исторических сведений (и обычно используемых лишь в целях хронологизации фонетических процессов в контактировавших некогда языках). Обращение к последним, известное в некоторых работах под термином "ареальная реконструкция", выявляет интересные данные о прошлом этого языка.

Поскольку бурушаски (или близкий ему язык, либо группа языков) послужил субстратом и адстратом для ряда индоевропейских языков региона (иранских, индоарийских, — особенно для дардской группы последних, — а также в какой-то мере для нуристанских), мы застаем в этих языках многие субстратные черты (элементы лексики, модели словообразования, ряд явных и скрытых категорий, определенные "сбои" в развитии старых категорий, восходящих к праиндоевропейско-

му состоянию, но подвергшихся "бурушаскизации" их содержательной стороны и т.п.), подтверждающие или выявляющие некоторые принципы структурной организации языка бурушаски в прошлом. Сюда относятся, помимо усвоенной из него лексики, например, некоторые принципы словообразования местоимений (при трансформации старой местоименной системы), перестройка модели числительных в регистре от "одиннадцати" до "девятнадцати" по типу "10—1" (взамен древней "1—10"), вигезимальная модель словообразования числительных от "тридцати" и выше (см. подробнее [Эдельман 1975; 1993]), употребление числительного "два" с показателем множественного числа (в языках шугнано-рушанской группы), словообразовательные кальки ряда имен, включая участие элемента "два" в названиях парных частей тела [Стеблин-Каменский 1979].

Далее, следует упомянуть характерные для ряда арийских языков региона "сбои" в классификации глаголов и выделение активных непереходных глаголов (образующих эргативообразную конструкцию предложения, либо имеющих иные признаки, свойственные обычно переходным глаголам), явное выражение оппозиции отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности (с построением в прошлом соответствующих конструкций по типу аналогичных конструкций в языке бурушаски), переориентация категории рода с грамматической основы по типу семантических классов, "сбои" в категории рода при выражении единичного/общего и др. (подробнее о них и об их становлении см. [Эдельман 1980]).

Данные ареальной лингвистики во многом подтверждают давность соответствующих черт структуры языка бурушаски, поскольку они с необходимостью предполагают достаточно длительный период соответствующих языковых контактов в регионе.

Содержание настоящей статьи естественно резюмировать следующим образом. Генетически изолированный язык бурушаски в силу своей сравнительно слабой диалектной расчлененности дает очень немного материала для сколько-нибудь глубокой по времени сравнительно-исторической реконструкции. Этот недостаток до некоторой степени компенсируется возможностями типологического метода, особенно — приемами внутренней реконструкции. Ареальный метод создает немало дополнительных точек опоры в реконструкции более раннего состояния языка, а также верифицирует в ряде случаев сведения о его истории, полученные посредством как сравнительно-исторической, так и типологической реконструкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бескровный В.М. 1974 — О влиянии иноязычной среды на индоарийские языки (на материале цыганских числительных) // Народы Азии и Африки 1974 № 4
- Воронин С.В. 1982 — Основы фоносемантики Л, 1982
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984 — Индоевропейский язык и индоевропейцы Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры Т I—II Тбилиси, 1984
- Зарубин И.И. 1927 — Вершикское наречие канджутского языка // Записки Коллегии востоковедов 1927 Т. II Вып. 2.
- Климов Г.А., Эдельман Д.И. 1970 — Язык бурушаски М., 1970
- Климов Г.А., Эдельман Д.И. 1974 — К названиям парных частей тела в языке бурушаски // Этимология 1972 М., 1974
- Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. 1981 — Иранские языки // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы М., 1981
- Стеблин-Каменский И.М. 1979 — "Колени" и "локти" памирского субстрата // Переднеазиатский сборник III История и филология стран Древнего Востока М., 1979

- Топоров В Н* 1969 — К вопросу о типологической близости енисейских языков и бурушаски // Происхождение аборигенов Сибири и их языков Томск, 1969
- Эдельман Д И* 1975 — К генезису вигезимальной системы числительных // ВЯ 1975 № 5
- Эдельман Д И* 1980 — К субстратному наследию Центральноазиатского языкового союза // ВЯ 1980 № 5
- Эдельман Д И* 1982 — К методике фонологической реконструкции праязыка // Теоретические проблемы восточного языкознания Ч 2 М, 1982
- Эдельман Д И* 1986 — Сравнительная грамматика восточноиранских языков Фонология М, 1986
- Эдельман Д И* 1989 — Методы реконструкции фонологической системы праязыкового уровня (на материале иранских языков) // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей Реконструкция на отдельных уровнях языковой структуры М, 1989
- Эдельман Д И* 1993 — Генетическое и ареальное в системах числительных (на материале арийских языков) // ИАН СЛЯ 1993 № 5
- Ярцева В Н* 1967 — Принципы типологического исследования родственных и неродственных языков // Проблемы языкознания Доклады и сообщения на X Международном конгрессе лингвистов М, 1967
- Ярцева В Н* 1976 — Грамматические основы описания языков // Принципы описания языков мира М, 1976
- Backstrom P C* 1992 — Burushaski // Sociolinguistic survey of Northern Pakistan V 2 Languages of Northern areas Islamabad, 1992
- Benveniste E* 1948—1949 — Remarques sur la classification nominale en burušaski // BSLP 1948—1949 T XLIV fasc 1
- Berger H* 1959 — Burušaski Lehnwörter in der Zigeunersprache // Indo-Iranian journal 1959 V III № 1
- Berger H* 1966 — Remarks on Shina loans in Burushaski // Shahidullah presented volume Lahore, 1966
- Berger H* 1974 — Das Yasin-Burushaski (Werchikwar) Grammatik, Texte, Wörterbuch Wiesbaden, 1974
- Borgström C H* 1945 — The categories of person, number and class in the verbal system of Burushaski // NTS 1945 Bd XIII
- Hubschmid J* 1992 — Rum pitic "kleinwüchsiger Mensch" und expressive Wortbildungen, sowie neue Erkenntnisse über Hispano-Kaukasische Sprachbeziehungen // Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kulturellen Vielfalt in den Philologien Festschrift für R. Rohr zum 70. Geburtstag Stuttgart, 1992
- Lehmann W P, Hewitt H-JJ* (ed) 1991 — Typological models in reconstruction Amsterdam, Philadelphia, 1991
- Lorimer D L R* 1935—1938 — The Burushaski language V I Introduction and grammar Oslo, 1935, V II Texts and translation Oslo, 1935, V III Vocabularies and index Oslo, 1938
- Lorimer D L R* 1937 — Burushaski and its alien neighbours (Problems in linguistic contagion) // TPhS, 1937
- Lorimer D L R* 1962 — Werchikwar-English vocabulary Oslo, 1962
- Morgenstierne G* 1935 — Preface // Lorimer D L R The Burushaski language V I Oslo, 1935
- Morgenstierne G* 1945 — Notes on Burushaski phonology // NTS 1945 Bd XIII
- Топоров В Н* 1970 — Burushaski and Yeniseian languages Some parallels // Travaux linguistique de Paris 1970 № 4
- Vogt H* 1945 — The plural of nouns and adjectives in Burushaski // NTS 1945 Bd XIII

© 1995 г. А.Д. ДУЛИЧЕНКО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ: ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКИ

Сознание единства человеческого рода порождало и поддерживало постоянную тоску по единству языковому. Тоска эта сохраняется до нашего времени, а общий язык и сейчас остается всего лишь мечтой. На пороге третьего тысячелетия он мыслится как весьма далекая перспектива языкового развития человечества. Его контуры трудно набросать даже в самом приблизительном виде. Потому продуктивнее оказывается анализ ситуации с общим языком эпох, прожитых человечеством.

Если обратиться к этно-территориальному аспекту языков, то все языковое многообразие человечества можно разделить на две неодинаковые по составу группы: с одной стороны, большинство языков мира этнически и территориально связаны и не используются за пределами соответствующих рамок; с другой стороны, имеются языки, "переступившие" свой этнический и территориальный "порог": таких языков немного. Другими словами, в реальной языковой жизни давно наметилась и утверждается оппозиция "этнически (и территориально) замкнутые языки – трансэтнические (транстерриториальные) языки". В понятие "трансэтнические языки" (ТЭЯи) нами вкладывается достаточно широкий смысл: таковыми могут считаться языки, которыми пользуются, кроме народа-создателя, также другой народ или другие народы наряду с собственными языками. Функциональное распределение ТЭЯов имеет также широкий диапазон: от использования таких языков в качестве вспомогательного средства в отдельных сферах жизни до массового билингвизма. По существу одним из важнейших для ТЭЯа является признак "общий", т.е. общий как минимум для двух и более народов. При этом понятие "общий" следует понимать не в абсолютном смысле: общий язык – не замена родного, а лишь вызванное практическими потребностями жизни средство специфического употребления в определенных сферах и обязательно наряду с родным языком, т.е. речь идет о функциональной незагруженности или неполной функциональной загруженности (в сравнении с родным языком) как постоянном и существенном признаке общего языка.

Категория ТЭЯов сформировалась давно: роль общих выполняли уже в античное время ряд языков могущественных племен и государств: для Средневековья и Нового времени ярким примером является латынь. Позднее в эту категорию включаются ряд этнических языков, причем этот процесс прогрессирует, и наше время тому свидетель. По своему предназначению трансэтническими являются и рационально созданные языки для общения между разноязычными народами. Особенность этих последних заключается в том, что большинство из них так и остались в проекте, не достигли функциональности, не обрели нужных для функционирования социолингвистических качеств. Выход из лингвопроективной стадии обнаружился лишь в 70–80-е гг. XIX в. и связан, как известно, с волапуком и эсперанто. В категорию ТЭЯов входит и воображаемый всеобщий язык как язык будущего. В соответствии со сказанным схема форм реального и возможного существования ТЭЯов, или общих языков (ОЯов), пред-

ставляется в следующем виде:

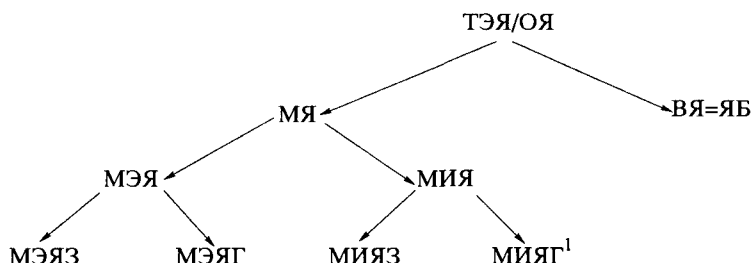


Схема наглядно демонстрирует единство интересов лингвистики и интерлингвистики, когда речь идет о формах существования ТЭЯов: МЭЯ как традиционный объект лингвистики и, в частности, социолингвистики и МИЯ как изобретение интерлингвистики – это всего лишь компоненты развертывания более общей категории МЯов и далее – ТЭЯов. Если лингвистику традиционно в ТЭЯх интересуют лишь языки этнического происхождения, то современная интерлингвистика занимается и МИЯами, и МЭЯами. В части МЭЯов, как видно, происходит накладывание интересов лингвистики и интерлингвистики.

МИЯи возникают как попытка предложить этнически нейтральное средство общения и притом такое средство, которое мыслится стройным и легко доступным для усвоения. Еще в начале века (1908) И.А. Бодуэн де Куртенэ писал об этом так: "Эта идея (международного искусственного языка. – А.Д.) слишком могущественна и слишком жизнеобильна, а ее существование и продолжение не зависит вовсе от временных неудач. Итак, мы присутствуем при постоянных попытках ее воплощения и осуществления" [Бодуэн де Куртенэ 1908].

В истории интерлингвистики категория МИЯов прошла длительный путь трансформаций, что целесообразно представить в виде следующей схемы переходов:



В плане функционального предназначения ВИЯ мыслился не только для всех (людей Земли), но и для всех сфер жизни, В/МИЯ – для всего мира или для распространения по всему миру (в мире), МИЯ – для общения между группами народов, (М)ВИЯ – играет дополнительную роль в международной коммуникации. В хронологическом аспекте ВИЯи и В/МИЯи принадлежат ранним этапам развития интерлингвистики, они, как правило, имеют непопулярную в современной интерлингвистике априорную структуру, в наше время ощущается их несколько архаизированный характер; категориям МИЯов и (М)ВИЯов по существу только один век, именно эти категории воспринимаются в интерлингвистике как актуальные. Об этом необходимо напомнить снова, поскольку в "чистой лингвистике" продолжают игнорировать эти различия, из-за чего любые эксперименты по созданию МИЯов/(М)ВИЯов и попытки их пропаганды объявляются как притязание на единственность решения проблемы международного средства общения [Григорьев 1966; 1976 : 35–54]. Весомым доказательством обратного может служить изучение исторического развития интерлингвистического лингвоконструирования и лингвопроектирования. Общую картину такого развития дает предлагаемая ниже таблица "Интерлингвистическая статистика

¹ МЯ – международный язык, МЭЯ – международный этнический язык, МИЯ – международный искусственный язык, МЭЯЗ – международный этнический язык зонального распространения, МЭЯГ – международный этнический язык глобального распространения, МИЯЗ – международный искусственный язык зонального распространения, МИЯГ – международный искусственный язык глобального распространения, ВЯ=ЯБ – всеобщий язык = язык будущего.

² ВИЯ – проекты всеобщего искусственного языка, В/МИЯ – всемирный/мировой искусственный язык, МИЯ – международный искусственный язык, (М)ВИЯ – (международный) вспомогательный искусственный язык.

с древности до современности", составленная на основе данных нашей книги [Дуличенко 1990]. Эта схема содержит 917 лингвопроектов, созданных со II в.н.э. до XX в. (до 1973 г.) в 40 странах мира [Дуличенко 1990 : 13 и сл.]:

II в.	: 1	
VII–VIII вв.	: 1	
XII в.	: 1	
XIII в.	: 1	
век неизвестен	: 8	
XVI в.	: 8	1501–1525 : – 1526–1550 : 2 1551–1575 : 1 1576–1600 : – год неизвестен : 5
XVII в. : 41		1601–1625 : 2 1626–1650 : 6 1651–1675 : 20 1676–1700 : 7 год неизвестен : 6
XVIII в. : 50		1701–1725 : 4 1726–1750 : 3 1751–1775 : 18 1776–1800 : 22 год неизвестен : 3
XIX в. : 246		1801–1825 : 29 1826–1850 : 34 1851–1875 : 55 1876–1900 : 119 год неизвестен : 9
XX в. : 560		1901–1925 : 249 1926–1950 : 150 1951–1973 : 143 год неизвестен : 18

Статистика дает наглядное представление о поступательном росте числа лингвопроектов от 25-летия к 25-летию начиная с XVIII в.

Примечание к приложению ³: 1) представлены только лингвопроекты, в названиях которых (т.е. в лингвонимах) прямо отражено их функциональное предназначение; 2) в таблице в целях емкости не указываются фамилии создателей лингвопроектов; 3) сокращения типа Ulla расшифровываются как Universal lingua/language... Mondial – как Mond-auxiliar -lingua/language/language ..., Vuldal – как World auxiliary language, Intl – как International-auxiliar-lingua/language/ language/langage и т.д., Unial – как Universal-auxiliar- lingua/language/language ... и т.п.

Из четырех форм существования МИЯа самым ранним является ВИЯ: первый лингвопроект с названием "всеобщий язык" датируется 1650 г.; последующие XVI, весь XVII и XVIII, первая половина XIX вв. по существу заняты поисками только ВИЯов, выступающих в виде Lingua universalis, Langue universelle, Allgemeine Sprache, Universalis nyelvnek, Universal language, Lengua universal, Universalglot. Вторая половина XIX в. – это последний этап в популярности проектов ВИЯов; в XX в. появление их в целом характеризуется спорадичностью. К тому же следует иметь в виду, что в XX в. под лингвонимом "всеобщий язык", как и под лингвонимом "всемирный/мировой язык", зачастую скрываются не априорные, а апостериорные лингвопроекты, которые составляют базу для МИЯ/(М)ВИЯов. Категория В/МИЯов формируется в ос-

³ Ситуация с формами существования МИЯов дается нами в специальной таблице "Динамика распределения лингвопроектов по функциональному предназначению (по данным лингвонимии XVII–XX вв.)" (см. приложение).

новном во второй половине XIX в. и представлена названиями типа *Weltsprache*, *Mundolinco*. Настоящий (живой) всемирный язык, *Mundolingue*, *Svjetski jezik*, *Mondo*, *Weltpitshn* и т.д. Однако хронологическое расположение этих лингвопроектов не столь уплотнено, как это было с ВИЯами; хронологическая разреженность этих лингвопроектов – показатель наличия иных представлений о характере и функциональном предназначении искусственного языка. Действительно, с 80–90-х гг. XIX в., т.е. почти одновременно, появляются такие лингвопроекты, как МЯ: *Langue internationale étymologique* (1877), *Lingvo Internacia* = *Esperanto*, *Lingua internacional*, *Langue internationale*, *Lingua internationale*, *Interlingua*, Международно-научный язык и т.п., в XX в. – вспомогательные языки, (М)ВИЯи: *Lingua auxiliara* (1908)⁴, *Auxilia*, *Auxil*. Таблица дает возможность вскрыть знаменательную "встречу" в один и тот же год лингвопроектов "международного" и "вспомогательного" предназначения: в 1867 г. появляются *Langue internationale universelle* и *Langue auxiliaire universelle*. Несмотря на то, что над изобретателями этих проектов еще довлеет груз популярного прошлого – *universelle*, – направление функционально-социальных поисков лингвопроектов верно и предвосхищает последующие эксперименты. Показательными являются и попытки авторов лингвопроектов пойти на компромисс: в синтезе элементов старого и нового заметна ностальгия по "всеобщности" и в то же время понимание иных функциональных и социолингвистических задач, ср. *Unial* (1909) = *Universal- auxiliara- lingua*; *Mondial* (1925?) = *Mond- auxiliara- lingua* и особенно *Interal* (1949) = *International- auxiliara- lingua* (аналогично *Intal*).

Таким образом, "интерлингвистические притязания" имеют свою динамику, давно пережили болезнь "всеобщности", повернувшись лицом к "международности" и "вспомогательности", что в то же время означает поворот от эпохи лингвистического априоризма к эпохе лингвистического апостериоризма, на базе которого теперь строится преимущественное большинство МИЯ/ВМИЯов. К концу XX столетия это следует считать аксиомой [ИТ 1982–1990; *Interlinguistics* 1989; Кузнецов 1987].

Сущность МИЯов, особенно произведенных в последние сто лет, их место и возможности в мировой языковой ситуации можно уяснить, обратившись к рассмотрению их генетического, структурного, функционального и динамического аспектов. Вскрывая структурные и функциональные характеристики МИЯов, мы одновременно сможем увидеть, в чем здесь точки соприкосновения лингвистики и интерлингвистики.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИЯов

Генетическая модель современных МИЯов сформировалась в результате перехода от априоризма как довлеющего на протяжении XVII–XVIII и первой половины XIX вв. подхода в лингвопроектировании к апостериоризму, представления о котором утверждаются во второй половине XIX в., хотя зарождаются значительно раньше: первый апостериорный проект, а следовательно, и начало апостериорного лингвопроектирования относится к XVII в. и связан с всеславянским языком Юрия Крижанича. Со времени создания волапюка и особенно эксперанто стало ясно, что МИЯ должен иметь опору в элементах этнических языков, но эти элементы должны обладать признаком интернационального распространения. Сдвиг от умозрительного конструирования элементов для построения языковых систем к элементам, которые отталкиваются от реального языкового опыта человечества, следует квалифицировать как своеобразное "приземление" замыслов лингвоизобретателей, как переход интерлингвистического априорного конструирования в свою противоположность – к конструированию апостериорному. Материал априорных построений, как и его деление на единицы и правила их "проигрывания", полностью плод лингвоизобретателей, стремившихся наиболее общие грамматические категории этнического языка довести до предельной логичности, последовательности, системности, а в практических це-

⁴ Здесь и далее в скобках после названия лингвопроекта стоит год его создания.

лях – краткости и экономичности. Возникшие модели МИЯов, точнее ВИЯов и В/МИЯов лишь отчасти накладывались даже на наиболее общие грамматические схемы этнических языков. "Интерлингвистическое приземление" потребовало отказаться от ряда перечисленных принципов либо их ослабить в угоду отражению в лингвопроекте как можно большего числа свойств этнического языка.

На принципах лингвистического апостериоризма строятся не только МИЯи, но также и языки, которые традиционная лингвистика не отвергает, т.е. "естественные" языки. В частности, речь идет о такой социально значимой форме существования этнического языка, как литературный язык, формирующийся стараниями литературно-языковых "будителей" и общества на базе одного или нескольких диалектов конкретного языка и обогащающийся элементами нового словопроизводства и заимствованиями, в результате чего литературный язык выступает как гетерогенная система. То, что литературный язык, как правило, не накладывается полностью ни на один из живых диалектов, как раз и говорит о том, что эта форма этнического языка построена на принципах апостериоризма. Назовем это **внутриязыковой, или интраязыковой апостериорностью** или **апостериоризмом**. Специфика проектов МИЯов состоит в том, что их апостериоризм базируется не на материале разновидностей одного языка, а на материале отдельных, разных языков. Назовем это **межъязыковым апостериоризмом** или **апостериорностью**. Как видим, интерлингвистический апостериоризм является всего лишь смелым продолжением, второй ступенью той апостериорной работы, которая ведется во всех случаях, когда создается литературный язык. Для общелингвистической теории важно иметь в виду цельность этих принципов работы с языковым материалом, ибо ступень вторая (межъязыковой апостериоризм) может быть полезна при решении ряда вопросов ступени первой (внутриязыковой априоризм) и наоборот. Таким образом, лингвистический апостериоризм – это процедура, общая как для традиционной лингвистики, так и для интерлингвистики. Различие лишь в типе апостериоризма. Интерлингвистика расширяет привычный для традиционной лингвистики внутриязыковой апостериоризм в апостериоризм межъязыковой. Это яркий пример связи лингвистического и интерлингвистического подходов к языковому материалу [Дуличенко 1990 : 10–28].

Апостериорность МИЯов, в свою очередь, также имеет ступенчатый характер:

1) апостериорность МИЯов, представляющих собой реформу этнического языка (таковы, например, реформы немецкого, английского, французского, итальянского и др. языков), более всего близка к той, что характеризует апостериорность этнического литературного языка;

2) апостериорность МИЯов, созданных на базе языков родственной группы (например, межславянские, межроманские и др. проекты), по существу также остается близкой к апостериорности этнического литературного языка;

3) апостериорность МИЯов, созданных на материале языков разных групп одной лингвосемьи (таков эсперанто и большинство других проектов), может быть принята в качестве образца межъязыковой апостериорности; опора здесь на международно распространенные элементы позволяет ощущать в ряде категорий и их признаках связь с соответствующими этническими языками;

4) апостериорность МИЯов, созданных на материале языков разных лингвосемей, слаба, разрежена, связь с базовыми языками фрагментарна (улавливаются лишь отдельные детали либо элементы); МИЯи этой ступени стоят на пороге **априорности** (априорные решения в них нередки, поскольку лингвоизобретатель должен свести воедино разноязыковой материал) – таким был волапук и аналогичные лингвопроекты. МИЯи этой ступени демонстрируют доходящую до абстракции апостериорность, ее верхний предел, после которого открывается прямая дорога к априорным языковым построениям.

Эта четырехступенчатая модель МИЯов охватывает по существу все направления апостериорного лингвопроектирования, причем вторая и особенно третья ступени

оказываются и в теоретическом и в практическом отношении наиболее важными для общелингвистической теории.

Пятая, априорная ступень, практикуется в настоящее время реже. В целом современные апостериорные МИЯи имеют полигенетический характер и тем самым противопоставляются априорным как моногенетичным (творение одного автора) Синтезирующий характер МИЯов четвертой ступени, располагающейся между этими полюсами, еще слабо осмыслен [Couturat, Leau 1903; Blanke 1985 : 99 и сл.; Кузнецов 1976 : 60–78; Дуличенко 1983 : 3–20].

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ

Интерлингвистическое конструирование и МИЯи как его результат зарождалось и развивалось как реакция на несовершенство структуры этнического языка. Для философов XVII в. такое несовершенство препятствовало постижению мира, поэтому требовался более совершенный инструмент для мышления. Взгляд на возможность манипуляции языковым материалом как проявление уверенности в принципиальной возможности социальной управляемости языка можно отнести к числу ранних осмыслений сущности человеческого языка. К сожалению, теория социальной управляемости языка до сих пор не создана. Однако еще в 1908 г. в статье "Вспомогательный международный язык" И.А. Бодуэн де Куртенэ писал: "Если не человек существует для языка, а язык для человека, если человек имеет не только право, но и обязанность совершенствовать все свои орудия, то очевидно, что этому совершенствованию должно подлежать и столь важное и неизбежное орудие, каким является именно язык" [Бодуэн де Куртенэ 1908]. Ему вторил Л. Пфаундлер: "... создать лошадь невозможно, но зато вполне возможно построить автомобиль, при известных условиях не только могущий заменить лошадь, но и далеко превзойти ее. Конечно, никому и в голову не приходит изъять по этой причине лошадь из употребления. Точно так же и защитники идеи искусственного языка вовсе и не думают вытеснять естественно сложившиеся национальные языки. Как в поэзии, так и в изящной литературе, где проявляется душа народа, естественные языки могут и должны преобладать" (Пфаундлер считал эстетическую функцию для МИЯ невозможной) [Пфаундлер 1910 : 6].

В свое время Х. Шухардт высказал такой афоризм: "То, что хотел язык, разрушили языки", имея в виду языковое многообразие мира, которое погубило стройность задуманного человеческого языка. Многие поколения изобретателей МИЯов пытались и пытаются восстановить язык такой структуры, а "не подражать исторической случайности того или иного языка", как писал И.А. Бодуэн де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1908]. К стати, в самих названиях лингвопроектов зачастую четко отражается структурное кредо лингвоизобретателя. Спектр таких лингвопроектов достаточно широк:

1) с XVII в. вплоть до нашего времени появляются "новые" языки как попытка противопоставления этническим языкам, имеющим "старую" структуру (т.е. несовершенную): *New perfect language* (1652); *Ganz neue Sprache* (1784); *Novial* (1928); *Neo* (1937) и т.д.;

2) аналитический язык: *langue analytique* (1862);

3) симметричный язык: *langue symétrique* (1909);

4) синтетический язык: *Synthetic language* (1922);

5) идеальный, или совершенный, язык: *Perfektsprache* (1909); *Ideala lingvo* (1927); *Ideal* (1960);

6) логический язык: *Loglan* (1955);

7) краткий язык ("краткоязык"), выдающимся структурным признаком которого является краткость слова и слога: *Weltkurzsprache* (1947);

8) простой и легкий – как противопоставление языкам с усложненной структурой: *langue simplifié* (1858); *langue facile* (1889) и др.

Структура априорного лингвопроекта устанавливается автором субъективно,

однако всегда с учетом тех или иных принципов, например, наблюдается стремление при ограниченном числе элементов выразить как можно больше смыслов и грамматических значений, при этом лингвоизобретатель, насколько это возможно, пытается воплотить в своем детище также принцип логичности и последовательности в выражении языковых значений. Так, для *Lingua universal y filosofica* (1845) допускается 15 согласных и 5 гласных, для Spelin (1888) – 15 согласных и 6 гласных, для Chabé Aban (1886) – 16 согласных и 5 гласных, а при этом Suma (1943) предлагает всего лишь 14 согласных и 5 гласных и т.д. (Заметим, что минимально допустимое число фонем в человеческом языке – 10.) Априорная фонетика, как правило, не допускает аффрикат, дифтонгов, пытается отразить универсальные (и неосложненные) фонетические элементы. Предельно малый фонетический состав неизбежно ведет к увеличению количества слогов в слове и, что не менее важно, к слабому различению, опознаваемости структуры слова и его состава. Логико-грамматический подход не всегда носит глобальный характер. Напротив, нередки случаи, когда в частных системах, в целях экономии выразительных средств, лингвоизобретатели прибегают к нарушению логико-грамматической последовательности, ср., например, в лингвопроекте Spelin синтетическое выражение сравнительной степени с помощью специального суффикса (показателя) и отдельными словами, т.е. аналитически, – превосходной степени. Синтетико-аналитический разнотип встречается также при решении вопросов обозначения глагольных времени и т.п. Здесь, как нам кажется, проглядывается моделирование соответствующих категорий этнических языков. Таким образом, априорные системы, несмотря на свою структурную оторванность (по крайней мере, декларируемую) от этнических языков, все же вынуждены следовать наиболее общим их свойствам.

Апостериорные системы в структурном отношении сложнее априорных, поскольку вынуждены следовать этническим языкам, составляющим их опору. Такое следование не должно быть слепком с этих языков. Уже в начале века это хорошо представлял себе Л. Кутюра: "МЯ должен быть автономным в своем словообразовании. Выбрав по возможности удачные свои элементы из запаса наших языков, он должен быть в состоянии свободно сочетать их согласно своим собственным правилам, заботясь строго сохранять их форму и смысл неизменными. Только при этом условии искусственный язык может стать настоящим языком (во многих отношениях даже богаче наших, так как он в состоянии образовывать все необходимые производные слова, нередко не достающие то одному, то другому из них), а не быть только подражанием, слепком с наших языков. В последнем случае он был бы также древен, как и наши..." [Кутюра 1910 : 45]. В то же время подражание наиболее существенным свойствам этнического языка необходимо для того, чтобы МИЯ считался аналогом такого языка. Л. Кутюра об этом писал так: "Международному языку приходится подражать (-этническому языку), так как он не может декретировать, чтобы все качественные изменения нарицательные были словами производными или чтобы они все были первичными; это было бы совершенно произвольно однообразным, не согласуемым ни с общим духом наших языков, ни, по всей вероятности, с нашим логическим инстинктом" [Кутюра 1910 : 47]. Изобретатель апостериорных систем, таким образом, работает с учетом двух основных требований: с одной стороны, он должен учитывать такие языковые свойства, которые отвечают "духу наших языков", нашему "логическому инстинкту", с другой стороны, структура МИЯ и правила ее движения должны иметь более или менее автономный характер, что дает возможность осуществить в той или иной мере принцип лингвистической логичности и последовательности. Последнее, однако, часто наталкивается на непреодолимые трудности: в так называемых автономных языковых системах типа эсперанто и особенно идо логические принципы грамматики и последовательность в средствах и формах выражения в известной мере достигаются, в то время как в натуралистических проектах типа окциденталь-интерлингве, интерлингва и под. грамматическая логичность и последовательность может проявиться лишь в частных системах, да и то

далеко не всегда. Поскольку анализ особенностей грамматических структур автономных и натуралистических систем в интерлингвистической литературе уже имеется, мы ограничимся здесь лишь этой констатацией [Couturat, Leau 1903; Кузнецов 1987 : 16–17; Blanke 1985 : 99–218]. Структура апостериорной системы в целом, как мы уже заметили, характеризуется усложненностью в сравнении с априорными системами, здесь, если говорить например, о фонетическом уровне, помимо простых согласных фонем, встречаются аффрикаты, в системе гласных могут быть дифтонги и под. Причем апостериорные системы второй ступени (проекты межславянских, межроманских и др. языков) значительно "тяжелее", чем системы третьей ступени, к которым относится эсперанто. Так, в лингвопроекте *Eurocord* (1965) как попытке построения северного межгерманского языка, помимо обычных 5 гласных, в вокалическую систему включены также *u=ü*, дифтонги *ei*, *ai*, *oe*. В грамматическом плане этот лингвопроект также следует особенностям северо-германских языков. Нам представляется, что натуралистические системы в грамматическом отношении сближаются с межгрупповыми проектами, хотя и носят несколько более абстрактный характер, поскольку опираются на европейские разнотрупповые языки и характерные для них интернациональные элементы. Если сопоставить фонетические системы межгрупповых и натуралистических проектов с таковыми в автономных системах, то последние оказываются несколько "облегченными" именно в силу собственных правил, а не грамматическому подражанию этническим языкам [Кузнецов 1984 : 19–69].

Структурная модель МИЯов, таким образом, носит многоступенчатый, или многовариантный, характер; при этом одни варианты приближаются, но не тождественны моделям этнических языков с их усложненной структурой – с одной стороны, другие по большей части игнорируют не только частные, но и в известной мере и общие признаки этнических языков, преследуя прежде всего воплощение в таких языках логического принципа. МИЯи, таким образом, как и этнические языки, характеризуют структурное многообразие. Структурная модель во многом зависит от того, ставит ли лингвоизобретатель цель сконструировать язык "синтетический", "аналитический", "логический", "краткий" и т.д.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МИЯов

Если структурно-генетическая сторона лингвоконструирования встает перед лингвоизобретателем с самого начала, ибо без решения вопроса, откуда брать материал (генетический аспект) и как его организовать в систему (структурный аспект), невозможен сам продукт труда – лингвопроект, то функциональный аспект МИЯов дает о себе знать позднее. Сам функциональный аспект понимается здесь как возможность МИЯа практически употребляться в среде его сторонников. Однако для того чтобы употребляться, использоваться в качестве средства общения, необходимо "заставить заговорить" МИЯ; в истории интерлингвистики из многих сотен предложенных лингвосхем "заставить заговорить" удалось немногим более десятка, хотя каждый лингвоизобретатель так или иначе мечтает и надеется на социальную перспективу своего изобретения. Последнюю мысль хорошо подкрепляют социально маркированные адъективы в лингвонимах МИЯов, ср.: всеобщий, всемирный/мировой, международный, международный вспомогательный (см. приложение "Динамика распределения лингвопроектов по функциональному предназначению").

Процесс перевода лингвистического конструкта в языковую систему с некоторыми или всеми необходимыми социолингвистическими качествами не прост. Первым и необходимым условием этого должна стать достаточно детальная, без "пустых клеток", без "дыр", разработанность структурно-генетической стороны лингвопроекта: первоначальная грамматика и оформляемая ею лексика должны отвечать принципам необходимости и достаточности. При этом изучение и овладение таким МИЯом не должно вызывать ощущения языковой непривычности, не должно создавать "языкового дискомфорта", напротив, в предлагаемом МИЯе все должно соответствовать

"духу наших языков". Вторым условием является обязательное наличие минимума сторонников, способных "заставить заговорить" рационально созданную языковую систему и не только "заговорить", но и создавать на ней различного рода тексты. Немаловажную роль в социализации лингвистического конструкта, или лингво-проекта, играет также общественно-политическая ситуация, внимание и интерес отдельных, видных лиц и, конечно, благоприятная ситуация в интерлингвистическом движении в целом.

Функциональные качества проекты МИЯов приобретают лишь с 70–80-х гг. XIX в. в связи с успехами волапюка и особенно эсперанто. По существу, волапюк был первым МИЯом, который смог трансформировать свой письменный вид в устный, разговорный, что предполагало уже не опосредованный, а непосредственный контакт между его адептами. Волапюк был в известной мере апробирован также в области художественной литературы, переводной и оригинальной, в периодических и вообще печатных изданиях. Функциональный спектр, которого достиг за сто лет эсперанто, превзошел, можно сказать, все ожидания. Как и любой другой МИЯ, эсперанто был задуман как язык международных отношений, т.е. как дополнительное средство, используемое в особых случаях контактов между представителями разных языков. Между прочим, такой представлялась функциональная перспектива для МИЯа уже в XIX в., такой ее видят интерлингвисты и в XX в. Ср., например, высказывание по этому поводу В. Оствальда, сделанное в начале нашего века: "[МИЯ] не должен служить всем нуждам человечества; ... этот нейтральный язык должен быть употреблен исключительно для интернациональных потребностей человечества [Оствальд 1908 : 19]. Однако конкретные пути социализации МИЯа оказались во многом сложнее, чем запроектированная перспектива. Достаточно напомнить, что создатель эсперанто (и не только он) первоначально испытал свое изобретение на литературно-художественных текстах, т.е. в сфере эстетической, которая по сути никогда открыто не декларировалась среди лингвоизобретателей. "Нелогичность" такого шага, как нам кажется, можно объяснить так: предлагаемый МИЯ должен доказать свою гибкость и способность отразить тот содержательно-информативный и стилистический уровень, который отражает языки национальных культур, т.е. литературные языки, доказать, что пропагандируемый МИЯ существенно не отличается от этнического литературного языка или, по крайней мере, близок к его выразительным возможностям. Заметим, что в дальнейшем при расширении сфер использования МИЯа становится вполне очевидным следующее: чтобы быть языком, МИЯ не должен иметь функциональных ограничений. Эсперанто своей вековой историей доказал этот тезис: помимо эстетической функции (это язык оригинальной и переводной литературы, которая давно "стучится" в дверь "большого литературоведения"), это язык личных контактов, письменных и устных, и не только между отдельными лицами, но и на встречах и форумах международного характера (ежегодные конгрессы Всеобщей ассоциации эсперанто с 1905 г. и т.д.); эсперанто факультативно преподается в школе и университете, язык радио, любительского театра и документального кино; письменное эсперантское слово представлено более чем в 130 периодических изданиях и в многочисленной книжной продукции, начиная с произведений художественной литературы и кончая научными изданиями. Научное внедрение эсперанто, кстати, имеет уже свою историю, и мы являемся свидетелями того, как ученые то и дело возвращаются к мысли о применении МИЯа. Как видим, функциональный спектр эсперанто довольно широк, в своих основных компонентах он идет за этническими языками. Предстоит, правда, еще углубленное изучение типологических особенностей функциональной специфики, нагрузки и т.д. этнических литературных языков и МИЯов [Кузнецов 1991 : 33]. Здесь обратим лишь внимание на то, что стремление культивировать МИЯ в традиционных сферах применения литературного языка не остается безразличным к самой структуре такого МИЯа. Социализованные МИЯи дают нам право говорить еще об одной модели этой категории языков – динамической, или эволюционной.

Идеалом для лингвоизобретателей всех времен было создание такой системы, в которой царил бы логика, отсутствовало бы варьирование средств выражения и т.д. Еще в начале нашего века все были убеждены в том, что главным принципом любого МИЯа является "один знак/одно слово – одно значение". В. Оствальд сформулировал этот принцип таким образом: "Между понятиями и выражающими их морфемами существует однозначное соответствие" [Оствальд 1908 : 23]. Этот же принцип отстаивал и Л. Кутюра, считая, что он является "идеалом всякого языка, так как язык... только тогда может быть теоретически совершенным (и удобным на практике), когда он состоит исключительно из однозначных соотношений между ... знаками и понятиями, которые необходимо выразить" [Кутюра 1910 : 40–41], т.е. Кутюра в воплощении этого принципа видел не только теоретическую завершенность МИЯа, но и, как ни странно, практическую удобность. Функционирование МИЯов показало, что теоретически привлекательный принцип на практике оказывается трудно воплощаемым. Ошибка Оствальда и Кутюра состояла в том, что они не заметили фундаментального свойства языка, языковой способности и языкового поведения человека: логическое в них тесно переплетается с психологическим. Единицы этнического языка приобретают такое универсальное и обязательное свойство, как асимметрия их плана выражения и плана содержания. Поэтому четкое структурное соотношение элементов МИЯа обростает в процессе употребления в устной или письменной форме всевозможными ассоциативными и проч. связями, которые позволяют приспособить языковую систему к языковым возможностям человека, психически адаптировать языковой механизм. Эту мысль подтверждает практика эсперанто. На проективной стадии этот язык мыслился как в большей или меньшей степени логическая система, которая не должна допускать, например, многозначных и других явлений, работающих против логичности и, в частности, принципа "одно слово – одно значение". Кстати сказать, это проективное требование отдельные сторонники эсперанто отстаивали долго, хотя практика функционирования показала, что эсперанто приобретает и "нелогичные" свойства, как и любой этнический язык. Еще в 20-е гг. П.Е. Стоян, а вместе с ним и Э.К. Дрезен предвидели эволюцию грамматической системы эсперанто. Стоян, например, заметил, что в течение примерно трети века использования в эсперанто происходят различные изменения, среди которых: исчезновение первоначальных корней и появление взамен новых, меняется структура некоторых типов сложных слов, а также схемы некоторых типов словосочетаний; заметны графико-орфографические изменения, влияющие на фонологическую сторону языка. В книге "Очерки теории эсперанто" Э.К. Дрезен специально ставит вопрос об эволюции языка: "Эсперанто, – пишет он, – это живой язык, эволюция которого зависит от определенных потребностей, от определенной культуры и уровня техники... Мы наблюдаем в эсперанто непрерывную эволюцию и непрерывные изменения как в словаре (в корневом запасе), так и в употреблении аффиксов, и, в частности, грамматических окончаний" [Дрезен 1931 : 62–63]. Далее приводятся примеры, которые теперь хорошо известны. Говоря об эволюции эсперантской семантики, Дрезен отмечал: "Нашей идеальной целью является: одно слово для одного значения. Практика часто противится этому идеалу. Появляются синонимы, появляется разрыв между словоформой и смыслом, логически и словарно ему присвоенным" [Дрезен 1931 : 72–73]. И далее: "В будущем несомненно сможет существовать особая эсперантская этимология, изучающая вопросы об изменениях различных элементов в языке эсперанто, вопросы о происхождении возможных новых элементов" [Дрезен 1931 : 76–77]. Сейчас, как нам представляется, пришло время для официализации такого раздела эсперантологии. Остается актуальным убеждение Дрезена в том, что "язык эсперанто непрерывно эволюционирует путями, сходными с путями эволюции национальных языков" [там же, с. 78–79]. Существенным показателем этого является развитие в эсперанто синонимических отношений, многозначности слов вплоть до омонимии, т.е. по существу так же, как в

этнических языках [Кузнецов 1983 : 42–64]. Потому односторонними оказываются высказывания некоторых современных языковедов о МИЯх как знаковых системах без развития: О.С. Ахманова, например, ставит языки типа эсперанто и интерлингва в один ряд с математическими языками-посредниками, информационно-логическими языками, вспомогательными кодами для машинного перевода и под. [Ахманова 1980 : 24–25]. Р.А. Будагов считает, что "всевозможные искусственные языки – это чистые знаковые системы" [Будагов 1981 : 25]. В статье "Надзнаковость языка (к проблеме отношений семиотики и лингвистики)" [Ибраев 1981 : 35] Л.И. Ибраев утверждает, что "действительно искусственными языками являются жестовый язык глухонемых, эсперанто, идо и т.п.", что не оставляет сомнений в том, что здесь налицо попытка представить эсперанто, идо и другие МИЯи как нежизненные образования. Сказанное ранее о развитии социализованных МИЯов опровергает такие суждения.

Эволюционное движение МИЯов по дорогам, проторенным этническими языками, ставит ряд новых теоретических вопросов, на которые должна ответить интерлингвистика: возможен ли для практического использования язык с преобладанием логической и системно-последовательной структурой? (Абсолютно логический язык, как мы уже говорили, невозможен для этих целей.) Как быть с нарушением этих принципов? Не приведет ли такая ситуация к появлению еще одного языка, который будет отличаться от этнических лишь тем, что он генетически нейтрален или почти нейтрален? Не окажется ли, что интерлингвистическое конструирование в конечном счете приходит к тому же результату, к которому пришли этнические языки, создававшиеся в течение веков и тысячелетий стихийно-сознательным путем.

Однако какими критическими ни были бы эти вопросы, факт превращения социализованного МИЯа в динамическую языковую систему является проверкой предположения о возможности социальной управляемости языка. Лингвистика пока еще не осмыслила эту возможность. Можно надеяться, что при создании цельной теории социальной управляемости языка лингвистика обратится к результатам интерлингвистического экспериментирования в этом направлении. Социализованные МИЯи как компонент ТЭЯов, как мы убедились, способны сформировать модель со всеми необходимыми для общения качествами. В МИЯх нет ничего, что не относилось бы к лингвистике и не затрагивало бы ее интересов.

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВОПРОЕКТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ
(по данным лингвонимии XVII–XX вв.)

Год создания лингво-проекта	Всеобщий universal-	Всеобщий и т.д. universal- etc.	Всемирный mond-	Всемирный и т.д. mond- etc.	Международ-ный international-	Международ-ный и т.д. international- etc.	Вспомогатель-ный auxiliar-	Вспомогательный и т.д. auxiliar- etc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1650	Lingua universalis							
1681		Lingua ludovicea seu universalis						
1687		Langue universelle pour négociants						
1755	Lingua universalis							
1769		Universal and philosophical language						
1779		Allgemeine Rede und Schriftsprache						
1794–1795	Langue universelle							
1811	Langue universelle							
1815	Allgemeine Sprache							
1818		Lingua filosofica universale						
1820	Universalis nyelvnek							
1821	Lingua universalis							
1836	Langue universelle							
1837	Langue universelle							
1838	Langue universelle							
1842	Universal language							
1844		Langue universelle et analytique						

1845–1852		Lengua universal y filosofica						
1852	Langue universelle							
	Lengua universal							
1855	Langue universelle							
1856	Universal language							
1858	Langue universelle							
	Langue universelle							
1865	Langue universelle							
	Langue universelle							
1867		Langue auxiliaire universelle						Langue auxiliaire universelle
		Langue internationale universelle				Langue internationale universelle		
1868	Universalglot							
1869		Universal Dolmetsch Sprache						
1877						Langue internationale étymologique		
1878	Langue universelle							
	Langue universala							
1879			Volapuk					
1883			Weltsprache					
1886	Langue universelle							
1852–1886	Langue universelle							
1887			Weltsprache		Lingvo internacia (Esperanto)			
1888	Lengua universal							
	Lengua universal							
	Universal language							
1889–1890			Mundolingue					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1890					Lengua interna- zional			
					Linguo inter nacia			
1891	Idiome universel							
1892			Svjetski jezik		Langue interna- tionale			
1893	Universala		Lingua monde		Lingua interna- zional			
1895	Veltspik				Lingua int(e)r nasionik			
1899					Langue interna tionale			
XX в (без года)			Mondo			Basic interna- tional		
1904			Mundelingva					
1905					Langue interna- tionale			
1896–1905					Lingua interna- cional			
1906	Ulla		Mondlingvo					
	Uni(ver)sal							
1907 (?)			Mondo					
1908					Ilo		Langue auxiliana	
					Ilo			
					Langue interna- tionala			
1909	Universalo	Unial			Ilo			Unial
					Ilo			
1910	Universal	Langue universelle semantique	Mondea			Научный международ ный язык		
			Mondlingu					

1911					Lingua internationale	Международно-научный язык		
1912					Interlingua			
1914					Interlingua			
1914(?)	Universal							
1918	Universelspråket							
1921						Interlingua in forma di Semi-latin		
1922 (?)			Mundolingua		Interlingua	Interlingua systematic		
1923					Interlingue	Langue écrite internationale		
						Unesal Interlingu		
1924					Ilo			
1925	Universal							
1925(?)				Mondial				Mondial
1926	Universal							
1925–1926			Weltpitshn					
1927			Mond-lingvo					
1923–1928		Uniala						Uniala
1929			Mondik					
1930				Mundial				Mundial
1932		Natural universal language		Ablemonde				
				Almondo				Almondo
				Mondial				Mondial
				Weltkehrsprache				
1935				Mundal	Internasional			Mundal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1937			Mondilingvo					
1938				Simplified Mondlingvo		Ialo		Ialo
1939			Mondilinguo					
1941			Monling					
1943				Mondial	Interglossa			Mondial
1945					Interlingua			
1947							Auxilia	
1948	Universel		Monda linguo	Mondal	Internacional		Auxil	Mondal
1949			Lingvo Monde			Interal		Nove Auxilia
1950	Uni-Spik							
1950(?)								Общий вспомога- тельный язык
1951					Interlingua			
1950–1951(?)			Mundion					
1938–1955			Mondi lingua					
1956						Intal		Intal
1956 (?)					Lingua interna- cionale sis- tema P			
1958								
196... (?)			Mondo lingua		Interling			
1960			Delmondo					
1961	Unilo							
1930–1961	Lingua universale							
1964	Unilingua							
1965	Unilingua							
1972			Vuldal					Vuldal

- Ахманова О С , Александрова О В. 1980 – Некоторые теоретические проблемы советского языкознания // ВЯ. 1980. № 6.
- Бодуэн де Куртене И.А. 1908 – Международный вспомогательный язык // *Espero* (приложение к Вестнику знания"). СПб., 1908.
- Будагов Р.А. 1981 – К вопросу о месте советского языкознания в современной лингвистике // ВЯ. 1981. № 2.
- Григорьев В П 1966 – О некоторых вопросах интерлингвистики // ВЯ. 1966. № 1
- Григорьев В П 1976 – Искусственные вспомогательные международные языки как интерлингвистическая проблема // Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков. М., 1976.
- Дрезен Э К 1931 – Очерки теории эсперанто. М., 1931.
- Дуличенко А Д. 1983 – О некоторых направлениях лингвопроектирования в современной интерлингвистике // *Interlinguistica Tartuensis II: Теория и история международного языка* (Уч. зап. Тарт. ун-та. Вып. 644) Тарту, 1983.
- Дуличенко А Д. 1990 – Языкотворчество как (интер)лингвистическая проблема // *Interlinguistica Tartuensis. VII: Интерлингвистическое конструирование и языковые реформы. Сборник памяти акад. Пауля Аристэ* (Уч. зап. Тарт. ун-та. Вып. 904). Тарту, 1990.
- Дуличенко А Д 1990а – Международные вспомогательные языки. Таллин, 1990.
- Ибраев Л И 1981 – Наднаковость языка (К проблеме отношения семиотики и лингвистики) // ВЯ. 1981. № 1.
- Кузнецов С Н 1976 – К вопросу о типологической классификации международных искусственных языков // Проблемы интерлингвистики. М., 1976.
- Кузнецов С Н. 1983 – Принципы теоретического описания планового языка // IF. V. II. 1983.
- Кузнецов С Н 1984 – Направления современной интерлингвистики. М., 1984.
- Кузнецов С Н. 1987 – Теоретические основы интерлингвистики. М., 1987.
- Кузнецов С Н 1991 – Основные этапы становления интерлингвистической теории // Проблемы международного вспомогательного языка. М., 1991.
- Кутюра Л 1910 – О применении логики к проблеме международного языка // *Международный язык и наука* Одесса, 1910.
- Оствальд В 1908 – Международный язык М., 1908
- Пфаундлер Л 1910 – О потребности в научном международном языке // *Международный язык и наука* Одесса, 1910
- Blanke D 1985 – *Internationale Plansprachen. Eine Einführung*. Berlin, 1985
- Couturat L , Leau L 1903 – *Histoire de la langue universelle*. P., 1903 (2-me éd. – 1907).
- Diezen E 1991 – *Historio de la mondlingvo* / Red. S.N. Kuznecov Moskv, 1991.
- IT (1982–1990) – *Interlinguistica Tartuensis*. I–VII. Tartu, 1982–1990
- Interlinguistics* 1989 – *Interlinguistics. Aspects of the science of planned languages* / Ed. by K. Schubert. B., N.Y., 1989
- Schubert K 1989 – *Interlinguistics – its aims, its achievements, and its place in language science* // *Interlinguistics*. B , N Y., 1989

© 1995 г. А.И. ДОМАШНЕВ

К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ СТАТУСЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

(к выходу в свет книги: *U. Ammon. Die internationale Stellung der deutschen Sprache*. Berlin; New York; Walter de Gruyter, 1991)

Известно, что немецкий язык относится к числу распространенных языков мира. Он является национальным и официальным языком Германии, Австрии, немецко-язычной части Швейцарии и княжества Лихтенштейн, а также, наряду с французским, одним из официальных языков Люксембурга.

Немецкий язык (и различные его диалекты) являются также родным для многочисленных немецкоязычных этнических групп, проживающих компактно или рассеянно в различных странах мира (Северная и Южная Америка, Австралия, Европа), в том числе и на территории бывшего Советского Союза.

Известно также, что в XIX-начале XX в. немецкий язык был одним из наиболее распространенных международных языков, являясь признанным языком науки, техники, обучения и образования, а также прессы и книгопечатания.

Политическое развитие в Германии после первой мировой войны и, в особенности, в 30-е годы, после прихода к власти фашизма, развязавшего вторую мировую войну, привело к заметному падению роли немецкого языка в международном сообществе, что продолжало наблюдаться на протяжении многих послевоенных лет, прежде чем положение в этом отношении стало меняться по мере возрастания роли ФРГ в рамках Западной Европы и Атлантического сообщества и ГДР в рамках стран Варшавского договора, участия обоих германских государств в Хельсинкском договорном процессе и после их равноправного вступления в члены ООН, всего того исторического процесса, который завершился объединением Германии в 1990 г.

Известно, что понятие "мировые языки" в его современном значении стало складываться в послевоенное время, в период создания и развития Организации Объединенных Наций, устав которой был предварительно разработан на конференции в Думбарто-Оксе в 1944 г. представителями СССР, США, Великобритании и Китая и подписан 26 июня 1945 г. государствами-участниками учредительной Сан-Францисской конференции. Вопрос об официальных и рабочих языках этой организации отдельно не оговаривался, но само соглашение между многочисленными странами-учредительницами (общей численностью вместе с Польшей, присоединившейся позднее, 51 государство) привело к тому, что Устав был выработан и подписан на пяти равноправных языках: английском, испанском, китайском, русском, французском, но в рабочем порядке ограничивались, по образцу Лиги Наций, лишь двумя языками: английским и французским. Постепенно, в 40-х–60-х–70-х гг., рабочими языками стали испанский, русский и китайский, а в 1973 г. шестым официальным языком Генеральной Ассамблеи и ее главных комитетов стал арабский язык. По понятным причинам немецкий язык не мог получить какого-либо статуса при ООН и лишь после вступления в эту организацию обоих германских государств (в 1973 г.) по их инициативе, поддержанной и Австрией, и на основании Резолюции № 3355 от 18.12.1974 г., начиная с июля 1975 г. все резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета

Безопасности, а также ежегодные доклады всех основных комитетов и подкомитетов ООН переводятся в официальном порядке на немецкий язык. Поскольку устный перевод официально не осуществлялся ни на немецкий, ни с немецкого, то он становится языком документов (*Dokumentsprache*), но так как письменный перевод осуществляется в отношении не всех, а лишь определенных документов, то немецкий язык в ООН можно определить как "полудокументальный язык" ("*Semi-Dokumentsprache*").

В рамках Европейского Экономического Сообщества ФРГ занимает одно из ведущих мест, являясь одним из его членов с момента создания (1957 г.). Одним из официальных языков ЕЭС в его учреждениях в Брюсселе и Люксембурге является немецкий язык, хотя и здесь практически рабочими языками оказываются английский и французский языки, однако, судя по всему, вопрос о реализации статуса немецкого языка в ЕЭС привлекает пристальное внимание немецкой стороны. По мере практической реализации планов создания единой (Западной) Европы, о чем свидетельствуют принятые соглашения в Маастрихте, с новой силой разгораются споры и дискуссии об языковом устройстве общения в рамках полигосударственного пространства нового супрагосударственного (супранационального) единства. В этом смысле в Европе обсуждаются вопросы будущей роли таких развитых национальных языков, как английский, французский и немецкий. При этом новейшие демократические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы, провозгласивших своей целью участие в строительстве новой объединенной Европы, приносят новые импульсы в идеологию языковой политики для Европы будущего, так как во многих странах посткоммунистической Восточной Европы живы традиции интереса к немецкому языку, что вполне объяснимо историей прошлого многих этих стран (Венгрия, Словакия, Чехия, Словения и др.). Одним словом, так или иначе, по мнению многих специалистов в области международных отношений и социальной лингвистики, в настоящее время в Европе и в мире создалась принципиально новая общественно-политическая ситуация, которая требует новых подходов и в решении вопросов статуса национальных языков, в том числе и немецкого. Об этом, в частности, свидетельствует состоявшаяся в марте 1992 г. в рамках Годичной сессии Института немецкого языка в Маннгейме Международная конференция "Немецкий язык как язык общения в Европе", на которой с докладами выступили, в частности, как автор этих строк, так и автор рецензируемой здесь книги. Все доклады и материалы конференции были опубликованы в 1993 г. в книге [Deutsch 1993].

Автор рецензируемой книги, известный немецкий германист и социолингвист У. Аммон, опубликовав свой капитальный труд накануне упомянутой научной конференции, как бы определил ее основное содержание и проблематику, хотя по сути охватываемых книгой вопросов она оказывается намного шире и информативнее, чем доклады на конференции.

Книга У. Аммона состоит из 14 основных разделов, обширной библиографии (900 названий книг, сборников, статей, справочных материалов), а также 88 таблиц, карт и схем. В упомянутых 14 разделах книги рассматриваются: понятие международного языка; система немецкого языка и характеристика коллектива его носителей; функционирование немецкого языка в качестве официального государственного языка; регионы наибольшего распространения немецкого языка; использование немецкого языка во внешних экономических связях в мире; немецкий язык как средство научного общения; немецкий язык и дипломатическая деятельность; немецкий язык и туризм; немецкий язык и средства массовой информации; немецкий язык и его изучение в средней и высшей школе в различных странах мира; политика распространения немецкого языка в современном мире; прогнозы и предложения по улучшению ситуации немецкого языка в Европе и в мире.

Говоря о книге У. Аммона в целом, следует подчеркнуть, что ее отличает научная строгость и абсолютное отсутствие какой-либо "установочной предвзятости", т.е. национальной или идеологической ангажированности автора. Зная, как трудно бывает

иному исследователю устоять перед искушением стилизовать комментарий фактов, так сказать, в свою пользу, У. Аммон уже во вступительном слове (с. V–VII) намеренно обращает внимание читателя на то обстоятельство, что любая книга на подобную тему в наши дни всегда может вызвать подозрение, что она "плывет на национальной волне", однако, каждый, кто "даст себе труд" дочитать эту книгу до конца, поймет, что подобное предположение о данной книге является необоснованным. Он подчеркивает, что работа над этой книгой была начата уже давно, задолго до того времени, когда стало очевидным предстоящее объединение Германии, и, во всяком случае, далека от цели, в той или иной степени искусственно способствовать укреплению международного статуса немецкого языка. Главной своей целью автор считал дать возможно исчерпывающее описание ситуации немецкого языка в современном мире, т.е. на фоне распространения других языков, хотя специального и последовательного сопоставительного анализа в книге не проводится. Помимо такого беспристрастного описания автор, как он подчеркивает, стремился дать, насколько это возможно, объяснение актуальной ситуации немецкого языка в мире. Такая цель представлялась автору тем более необходимой, если напомнить, что во многих публикациях имеется значительное количество достаточно "спекулятивных" оценок, которые не могут способствовать правильному пониманию роли и места немецкого языка в настоящее время.

Зная достаточно хорошо историю данной темы, занимаясь на протяжении ряда лет вопросами распространения немецкого языка в мире и всей проблематикой его социофункционального статуса, можно считать, что автор успешно справился с поставленной задачей и представил в распоряжение заинтересованных специалистов многосторонний исчерпывающий анализ, богатейший справочный материал по всем вопросам избранной темы. Можно даже утверждать, что со времени появления в Германии книги Ф. Тирфельдера [Thierfelder 1938] рецензируемая книга является первым капитальным исследовательским трудом, посвященным данной проблематике. Однако между обеими книгами пропасть не только во времени, но и (и это – самое главное) в идеологической позиции обоих авторов при разработке в сущности одной и той же темы, соотносенной с разными историческими периодами функционирования немецкого языка. Если Ф. Тирфельдер, в полном соответствии с идеологической доктриной гитлеровского рейха, говорит о новом этапе международной роли немецкого языка, наступившем, по его мнению, в 1933 г., когда с победой "национал-социалистической революции" "духовное изменение" немцев вступило "в решающую стадию" (с. 44), то У. Аммон, отвергая притязания истеблишмента, в соответствии с чем науку иногда пытаются низвести до роли угодливой служанки политики, в самом начале своей книги заявляет, что целью его исследования явилось изучение и систематизация собранного фактического материала. На этой основе вывод о роли и месте немецкого языка в современном мире может сделать каждый читатель вполне независимо и самостоятельно. При этом свою аксиологическую строгость автор проявляет настолько последовательно, что избегает даже упоминания тех несколько эйфористических оценок относительно нарастающего "бума", новой "эпохи Возрождения", "нового открытия" немецкого языка, в особенности в Европе после распада системы стран социализма, которые высказываются не только различными специалистами в Германии, но и в других европейских государствах (Венгрии, Чехии, Словакии). Между тем, никто не смог бы упрекнуть У. Аммона в необъективности или пристрастном отношении, если бы он подчеркнул, что в последние годы и в самом деле наблюдается определенное укрепление роли немецкого языка как одного из региональных языков Европы и общее повышение интереса к нему (при изучении в школе, преподавании в высшей школе, в торговле, экономике и туризме) в таких странах мира, как Япония, Корея, где ранее он практически не был известен, не говоря уже о тех государствах, которые в прошлом имели традиционные связи со странами немецкой речи, в том числе и с Германией, что в целом позволяет высказывать вполне обоснованные предположения, что по мере развития всех стран

Европы и остального мира в направлении к большему единству, немецкий язык займет свое прочное место среди других мировых языков. Лишь в самом конце своей книги (с. 567) У. Аммон высказывает тезис о том, что среди всех языков мира, общее количество которых составляет около 2500, немецкий язык занимает "относительно высокое ранговое место" и относится к 10 или даже к 5 наиболее распространенным языкам мира, однако структура его функций в международном общении не соответствует понятию мирового языка, как это характерно для английского языка, который он признает в качестве единственного "мирового языка современности" (*die derzeitige Weltsprache*).

Книга У. Аммона является, безусловно, большим вкладом в развитие германистической социальной лингвистики и служит надежным справочником для всех заинтересованных специалистов, а также преподавателей и студентов-германистов.

Важно также подчеркнуть, что труд У. Аммона был опубликован известным берлинским и международным (Berlin-New York) издательством "Walter de Gruyter", снискавшим себе славу одного из солиднейших издательств, в котором увидели свет такие уникальные энциклопедические и теоретические справочники по языкознанию, как "Немецкая диалектология", "Немецкая грамматика", "Социолингвистика", различного рода словари немецкого языка, монографии и сборники трудов, посвященные исследованию строя и системы немецкого языка.

Что касается дискуссий вокруг проблем языкового обустройства объединенной Европы с учетом возможного расширения ее состава за счет новых демократических государств посткоммунистической Европы и, в особенности, в связи с тем, что в последнее время все чаще выдвигается идея об английском языке как едином средстве языкового общения всех европейцев, то следует отметить, что в настоящее время У. Аммон возглавил авторский коллектив социолингвистов из Германии, США, России, Франции, Бельгии, Швейцарии, Дании, завершивший основную работу над коллективной монографией под несколько экстравагантным названием "English only? in Europa / in Europe / en Europe", издание которой планируется в Германии в рамках специального тома ежегодника "Sociolinguistica".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Deutsch 1993 – Deutsch als Verkehrssprache in Europa / Hrsg. von J. Born, G. Stichel. B.; N.Y., 1993.

Thierfelder F. 1938 – Deutsch als Weltsprache. Bd I: Die Grundlagen der deutschen Sprachgeltung in Europa. B., 1938.

© 1995 г. Л.С. ЕРМОЛАЕВА

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНАНТЕ ЯЗЫКОВ НОМИНАТИВНОГО СТРОЯ

1. К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Согласно широкораспространенной точке зрения, в основе контенсивно-типологической характеристики языка лежат способы передачи в нем субъектно-объектных отношений действительности. Вместе с тем нельзя не согласиться со справедливым замечанием Г.А. Климова относительно неравномерной представленности субъектно-объектной ориентации компонентов языковой структуры в языках различных контенсивных типов: последовательность процессов формирования активного строя (из классного), эргативного (из активного) и номинативного (из эргативного или активного) трактуется "в грубом приближении как единый процесс последовательного возрастания субъектно-объектной ориентации компонентов языковой структуры, особенно ощутимой в рамках номинативной системы" [Климов 1983: 176–177]. Соответственно, активность ("одушевленность")/инактивность ("неодушевленность"), агентивность/фактитивность¹, субъектность/объектность рассматриваются как семантически близкие противопоставления, выступающие в качестве детерминант различных контенсивных типов [Климов 1983: 177].

Трудности, связанные с разграничением указанных семантических противопоставлений, становятся тем более понятными, если учесть неоднозначность терминов "субъектность" и "объектность" и многоплановость обозначаемых ими явлений² даже в отношении различных языков одного и того же контенсивного типа. Последняя возникает в результате переплетения в семантике номинативной структуры ситуационного, коммуникативного, дейктического [Кибрик 1994: 17–18] и, видимо, референциального компонентов, поскольку типичные носители референциальных значений – артикли, число, интонация и др. – значимы и в плане актуального членения предложения (ср. [Кибрик 1992: 185]). Вообще же в репертуаре семантических компонентов высказывания ситуационный компонент является не только главным [Кибрик 1992: 184], но, видимо, и базовым в процессах семантического развития, т.е. на основе ситуационного компонента путем его постепенного переосмысления могут развиваться новые значения коммуникативного или референциального, а также дейктического характера. В качестве примеров можно назвать преобразование видовых форм во временные (т.е. дейктические), преобразование "внутренней" (объективной) модальности во внешнюю (субъективную), числительного "один" в неопределенный артикль (референциальное значение) и др. Уже в силу таких преобразований, но даже и в условиях относительной стабильности различные по своему характеру компоненты семантического представления могут сочетаться, совмещаться (или быть сопряженными) в одной форме (конструкции), причем в рамках этой формы (конструкции) ведущим может оказаться уже не ситуационный компонент, а тот, который является

¹ Об агентивности/фактитивности см. [Кибрик 1976: 34–35].

² См., например, одну из недавно вышедших монографий, посвященных этому вопросу [Теория 1992].

исторически производным от него (ср., например, видовые оттенки временных форм, хотя исторически временные формы развиваются на базе видовых).

Сказанное имеет прямое отношение к проблеме эволюции контенсивных типов и постепенной смене одной семантической детерминанты другой. Под семантической детерминантой языков различной типологии в настоящей статье понимается тот "внутренний стимул", который определяет специфику содержательных характеристик составляющих языковой тип структурных признаков [Климов 1983: 84]. Как таковая она формулируется в плане ориентированности парадигматики различных уровней на передачу тех или иных отношений. При таком подходе проблема подлежащего оказывается лишь частью проблемы выявления семантической детерминанты контенсивного типа.

Обращение к проблеме содержания подлежащего вызвано недостаточностью дефиниции номинативного строя на основе универсальности формы подлежащего в отличие от его разнооформленности в языках эргативного и активного строя. Кроме того, эта дефиниция базируется на допущении об универсальности самого понятия подлежащего, обязательного для языков различных контенсивных типов, которое также подвергается критике [Кибрик 1994]. Поэтому уточнение содержания подлежащего в номинативных структурах могло бы способствовать также решению вопроса о генезисе синтаксического членения предложения.

Если в основу характеристики номинативного типа положить тенденции его развития, то, думается, будет гораздо легче выделить одну ведущую тенденцию, которая и будет основной характеристикой данного типа. До настоящего времени остается необъясненным тот парадоксальный факт, что в ряде языков, характеризующихся вполне сложившимися импликациями номинативности и устранившими неноминативные структуры (ср., например, ранний ср.-англ.: *me liketh* > поздний ср.-англ. *I like* "мне нравится"), наблюдается тенденция к свертыванию оппозиции номинатив/аккузатив (современный английский, как и многие другие новые индоевропейские языки, не знает этого противопоставления в сфере существительного). Иными словами, здесь наблюдается такая тенденция развития номинативной конструкции, которая приводит к устранению номинатива, что представляется весьма симптоматичным.

Нельзя сказать, что указанный парадокс остался незамеченным, так, например, Н.С. Трубецкой, характеризуя номинативную структуру предложения, свойственную индоевропейским языкам, разграничивает падежные и беспадежные языки, отмечая, что в последних различие между подлежащим и прямым дополнением переходных глаголов выражается порядком слов в предложении [Трубецкой 1987: 52]. Однако, как правило, данное явление объясняется в рамках так называемой формальной типологии как результат развития анализизма или элементов изоляции, поскольку функции флексии переходят к чисто синтаксическим средствам. Нисколько не сомневаясь в убедительности этого положения, вместе с тем нельзя не отметить, что структурно-типологическая характеристика этого факта не исключает необходимости его контенсивно-типологической интерпретации, а, на наш взгляд, скорее всего открывает возможности такой интерпретации, иными словами, структурно-типологическая интерпретация – не самоцель, а часто лишь способ проникновения в контенсивно-типологическую характеристику явления (о соотношении контенсивной и структурной типологии в этом плане см. [Кибрик 1976; Ермолаева 1991]).

2. О ТРАДИЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОМИНАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Как известно, Н.С. Трубецкой сформулировал в свое время шесть обязательных структурных признаков индоевропейских языков, из которых большинство носят "отрицательный характер" [Трубецкой 1987: 50–52]. То, что Н.С. Трубецкой сознательно прибегает к отрицательным характеристикам индоевропейских языков, свидетельствует не только об определенных исходных общетеоретических позициях ученого с характерным для него интересом к явлению нейтрализации в его различных

проявлениях, но и о том, что установленные им шесть обязательных структурных признаков индоевропейских языков (или по крайней мере большинство из них) выявлены как бы через призму неиндоевропейских языков, причем индоевропейские языки характеризуются в плане их сходства/несходства с языками иных семей. Разумеется, без учета сходств и различий никакая характеристика не может быть более или менее информативной. Но все дело в том, что за той или иной отрицательной характеристикой, как правило, онтологически скрывается некий положительный признак, именно и составляющий подлинную характеристику описываемого явления. Иными словами, недостаточно сказать, что в индоевропейских языках чего-то нет, гораздо важнее установить то, что в них есть в отличие от языков других семей, что могло бы составить их положительную характеристику. Исходя же из системного характера языка, было бы целесообразным поставить вопрос о неслучайности отсутствия того или иного признака у индоевропейских языков, иными словами, во имя чего утрачивается (либо не развивается) тот или иной признак.

Обратимся непосредственно к формулировке шестого структурного признака индоевропейских языков у Н.С. Трубецкого: "Подлежащее непереходного глагола трактуется совершенно так же, как подлежащее глагола переходного" [Трубецкой 1987: 52].

В основе этой формулировки лежит признание того факта, что в ряде языков, а, как явствует из дальнейшего изложения [Трубецкой 1987: 57], и в индоевропейских языках в наиболее древний период их развития наличествует различная трактовка подлежащего непереходного и переходного глаголов. Таким образом, номинативная конструкция индоевропейских языков характеризуется сквозь призму эргативной конструкции.

Такая трактовка номинативного строя оказала большое влияние на развитие сравнительного языкознания, не только индоевропейистики, но и типологии в целом. Утвердилось мнение, что номинативный строй предложения как один из способов выражения субъектно-объектных отношений отличается наличием номинатива т.е. "универсального падежа подлежащего, независимого от класса сказуемого" [Гухман 1967: 58]. Однако универсальность подлежащего – это его признак, отграничивающий номинативный строй от эргативного и активного, но не определяющий его с какой-либо положительной стороны. При таком подходе остается "за кадром" весьма существенный процесс, оказывающий влияние на целый ряд исторических изменений в системе индоевропейских языков, – процесс исторической топикилизации подлежащего.

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОГО И СИНТАКСИЧЕСКОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В самых общих чертах и весьма предварительно о нашем понимании основного содержания номинативной конструкции как основы тема-рематического членения предложения и об истоках этой теории говорилось в [Ермолаева 1991]. В соответствии с постановкой вопроса о семантической детерминанте языков номинативного типа в настоящей статье представляется необходимым уточнить некоторые понятия и несколько расширить подход к данной проблеме, что, однако, не означает ни ее исчерпывающего изложения, ни тем более окончательного решения.

Первое, что хотелось бы уточнить, – то, что при определении основного содержания номинативной конструкции речь не идет об обязательном охвате в данном определении всех случаев функционирования этой конструкции в различных языках, но лишь о ведущей тенденции развития данной конструкции, которая является причиной как расширения сферы функционирования этой конструкции, так и изменений, происходящих на морфологическом уровне в связи с утверждением номинативного строя.

Эта основная тенденция, как нам представляется, заключается в том, что тема (топик) высказывания (по крайней мере там, где она выражена именем) все более стремится обрести форму подлежащего. Ср.: "В сущности, подлежащие – это грамматикализованные топики" [Ли, Томпсон 1982: 228], где синхроническое содержание подлежащего характеризуется под углом зрения *результата* произошедших исторических изменений. Говоря же об исторической топикализации подлежащего, мы имеем в виду *процесс* наполнения подлежащего новым содержанием в ходе исторического развития и утверждения номинативного строя. О том, что процесс этот по меньшей мере в известных нам языках не завершен, говорит не только необходимость разграничивать в целом ряде случаев тему и подлежащее предложения – например: *На собрании* (тема) *выступал директор* (подлежащее) –, но и наличие в ряде языков неноминативных (*У него нет родственников*) и псевдономинативных (*У него есть родственники*)³ структур.

В связи с этим становятся понятными объективные трудности адекватного определения подлежащего для различных языков номинативного строя. Ср., например, перевод следующих неноминативной и псевдономинативной конструкций русского языка на немецкий: *Er hat keine Verwandten* и *Er hat Verwandte*, где личное местоимение *er* в обоих предложениях является подлежащим-топиком. В связи с этим необходимо отметить, что привлечение материала различных языков хотя и усложняет процедуру синхронического определения подлежащего, но значительно облегчает процедуру установления основной тенденции развития подлежащего, поскольку сопоставление материала современных языков и материала одного и того же языка в разные периоды его истории позволяют говорить об определенной "ступенчатости" (термин В.М. Солнцева [Солнцев 1993: 9]) осуществления тенденции к топикализации подлежащего в различных языках. Сравнивая латинские конструкции с *mihi est* "у меня есть" и с *habeo* "я имею", из которых первая обладает большей хронологической глубиной, можно сделать вывод и о большей хронологической глубине русских неноминативных и псевдономинативных конструкций с глаголом *быть* по сравнению с немецкой номинативной конструкцией с *haben* "иметь".

Сказанное не означает, что при синхроническом подходе основное содержание подлежащего вообще не может быть установлено. Даже если отвлечься от историко-типологического аспекта проблемы, путем синхронического анализа разноструктурных, но функционально близких образований в рамках одного отдельно взятого языка, можно отличить типичную конструкцию предложения от конструкций, обусловленных какими-либо дополнительными факторами, о чем уже неоднократно говорилось в исследованиях, посвященных проблеме субъектно-объектных отношений. Так, А.В. Бондарко, строго разграничивая терминологически субъект действия (противопоставляемый его объекту) и субъект пропозиции (суждения), справедливо отмечает сопоставимость оснований, на которых определяются данные понятия: "Предпосылкой анализа, направленного на изучение взаимосвязей субъектно-объектных функций, определяемых на разных основаниях, является тот факт, что эти основания при всех различиях между ними сопоставимы. Как известно, существует широкий круг предложений (типа *Туристы разжигали костер*), в которых подлежащее *туристы* с любой точки зрения определяется как С, а дополнение *костер* – с любой точки зрения, допускающей понятие О⁴, будет определено как О. Этот факт лишний раз подтверждает существование взаимных связей между теми аспектами субъектно-предикатно-объектных отношений, которые рассматриваются как основания для определения функций С и О" [Бондарко 1992: 45].

Именно существование этих взаимных связей и наличие таких типичных структур,

³ По мнению С.Д. Кацнельсона, у *него* является в данном случае подлежащим [Кацнельсон 1972: 65]. См. об этом ниже.

⁴ С означает здесь "субъект", О означает "объект" (примеч. автора).

как *Туристы разжигали костер*, способствовали тому, что уже Аристотель определил подлежащее как то, о чем говорится в предложении. В этом определении была точно схвачена тенденция развития индоевропейских языков, нашедшая свое отражение в существовании типичных конструкций с подлежащим-топиком, однако не было отражено все многообразие напластований пройденного типологического состояния в этих языках. Аналогично определяет подлежащее Л.П. Якубинский, исходя из характеристики акта познания: "Всякий акт познания подразумевает раскрытие функций и опосредствований некоторого предмета (объекта) познания. Слово, обозначающее этот объект познания, является главным словом в предложении – подлежащим. Всякое слово может быть подлежащим" [Якубинский 1986: 84]. Далее Л.П. Якубинский касается проблемы преодоления абстрактности подлежащего [Якубинский 1986: 85], по сути дела предвосхищая в основных ее чертах теорию референции и освещая с этих позиций явление определенности подлежащего-топика⁵. Именно этот подход лежит и в основе определения предложения: "Мы определяем предложение – на нашем этапе развития языка и познания – как преодоление абстрактности подлежащего..., данное в органической и организованной связи его, в диалектическом единстве с другими словами – конкретизаторами, вскрывающими его функции и опосредствования, в первую очередь, со сказуемым [Якубинский 1986: 85].

Пожалуй, единственное, в чем нельзя согласиться с Л.П. Якубинским в этом вопросе, – это утверждение, что всякое слово может быть подлежащим, ибо в этом случае подлежащее полностью отождествляется с топиком и острота проблемы оборачивается простой терминологической тавтологией. Более убедительной представляется в этом плане точка зрения С.Д. Кацнельсона, отмечающего, что хотя в современной науке тема больше не отождествляется с субъектом, т.к. возможна "тематизация" и других членов предложения, "...в нейтральном, не деформированном особыми факторами высказывании субъект и есть тема. Если все же эти понятия приходится различать, то потому лишь, что в некоторых условиях форма субъекта либо "детематизируется" полностью, либо получает значение второстепенной темы" [Кацнельсон 1972: 189].

Отмечаемая С.Д. Кацнельсоном возможность "детематизации" формы субъекта, естественно, говорит о том, что в ходе исторического развития языка произошла ее тематизация, или топиализация, т.е. случаи типа *Вчера была хорошая погода* (ср.: *Погода вчера была хорошая*) рассматриваются как вторичные в синхронном плане образования, отклоняющиеся от основной структуры.

В этой связи полезным оказывается обращение к понятию прототипической конструкции, т.к. именно в таких конструкциях подлежащее и тема в языках номинативного строя совпадают [Касевич 1992: 15–17]⁶. С позиций прототипичности подлежащего подходит к его сопоставительному анализу в современных немецком и финском языках М. Йервентауста [Järventausta 1991]. Рассматривая две прототипических характеристики подлежащего (формальное совпадение с номинативом и референциально-семантический признак определенности), автор в результате анализа текстов устанавливает процент определенных номинативных подлежащих в немецком (70,6%) и финском (53,3%) языках и подвергает сомнению тезис о правомерности применения понятия прототипического подлежащего к немецкому и тем более финскому языку ввиду невысокой количественной представленности таких подлежащих в текстах [Järventausta 1991: 141–143]. Отметим, однако, что в обоих языках процент прототипических подлежащих, согласно подсчетам М. Йервентауста, преобладает над процентом непрототипических подлежащих, а количественные различия между немецким и финским наглядно показывают "ступенчатость" в процессе исторической топиализации подлежащего, протекающем в языках номинативного строя независимо от их родства.

⁵ Современное состояние изучения этой проблемы отражено в [Шмелев 1992].

⁶ В отличие от В.Б. Касевича мы не считаем такое совпадение формальным.

Таким образом, данные синхронического анализа особенно показательны, если рассматривать их на фоне исторического процесса топикализации подлежащего. Прототипическая конструкция является не только первичной (непроизводной) в синхроническом аспекте, не только преобладающей в количественном отношении структурой, но и свидетельством, результатом произошедших семантических сдвигов в грамматическом строе языка, ибо за формой каждой прототипической конструкции стоит определенное содержание, столь же прототипическое, детерминантное для каждого конкретного языка на данном этапе его развития. Иными словами, прототипичность той или иной конструкции должна быть верифицирована и в синхроническом и в диахроническом аспектах. Объясняя семантику и происхождение основного типа двусоставного предложения индоевропейских языков (именительный падеж подлежащего, глагольное или именное сказуемое), лежащего в основе всех остальных его типов, В.Г. Адмони писал: "Именно в силу своей необходимости для речевой коммуникации, которая приобретает реальный смысл для человека только тогда, когда сообщается что-то о чем-то, это связывание двух компонентов отлилось здесь в устойчивые, постоянные формы, которые, кстати, в обобщенном виде воплощают наиболее важные, жизненно необходимые и общезначимые, постоянно повторяющиеся отношения объективной действительности (производитель действия и действие, отдельное и общее и т.д.)" [Адмони 1960: 38].

Учитывая необходимость разграничения логики и грамматики, суждения и предложения, субъекта пропозиции и подлежащего предложения, нельзя забывать и о тесной связи между ними, их единстве, хотя и не тождественности. Именно в силу такой связи субъект пропозиции стремится обрести форму подлежащего. Ср.: "Если подойти к рассматриваемой проблеме с типологической и диахронической точек зрения, то становится ясным, что изначально в языках имела место тема-рематическая структура, которая, возможно, была достаточно жестко связана с логико-предикатной структурой суждения, передаваемого прочим членам коллектива. Развитие социальных и экономических отношений, а также углубляющееся познание окружающего мира создавали предпосылки усложнения коммуникативных структур. Для ряда языков такое усложнение обростало морфологическими показателями, в результате чего обособлялась подлежащно-сказуемая структура, как бы (выделено мною. — Л.Е.) заслонившая тема-рематические отношения" [Слюсарева 1986: 10].

Процесс, обозначенный выше как историческая топикализация подлежащего, мог бы быть назван и иначе — процессом исторической субъективации топика, ибо топик первичен, его же субъектная форма вторична. Однако между этими характеристиками процесса существует и определенное отличие: первая подчеркивает историческое изменение содержания подлежащего, вторая — ст а н д а р т и з а ц и ю формы топика. Иными словами, речь идет об едином, но двустороннем процессе, касающемся как плана содержания, так и плана выражения. Соответственно, отправная точка этого процесса должна, по-видимому, характеризоваться наличием двух или более форм подлежащего, различающихся не в плане коммуникативного членения предложения, но в ином содержательном плане, а также отсутствием особой маркированности подлежащего-топика, хотя топик имел в предложении то или иное оформление независимо от оформления соответствующего члена предложения и его морфологического выражения. Возвращаясь к определению подлежащего как грамматикализованного топика [Ли, Томпсон 1982: 228], отметим его неточность, т.к. топик, по нашему мнению, грамматикализован в любом языке уже постольку, поскольку он оформлен синтаксически (порядком слов и интонацией). Вышеприведенная формулировка означает, по-видимому, конкретную грамматическую форму топика — подлежащее, выраженное именительным падежом.

Для более точного определения характеризуемого процесса необходимо более четкое определение содержания подлежащего неноминативного типа. Трудность же заключается прежде всего в том, что в неноминативных типах нет, в отличие от но-

минативного, единой формы подлежащего, а следовательно, и его единого значения. В таком случае значение темы, топика должно проявляться в качестве синтагматического, вторичного у разных подлежащих, объединяя их и постепенно оттесняя их первичные значения на периферию.

Если принять точку зрения об активном строе раннего протоиндоевропейского, становится очевидным, что подлежащие активной и пассивной конструкций соответственно имели значение актива или пассива, т.е. производителя активного действия или носителя состояния. Среди последних может быть выделено в качестве частного случая значение носителя такого состояния, которое явилось результатом произведенного активного действия. Ср. деривационные связи ряда стативных и активных глаголов в некоторых неиндоевропейских языках, например, в языке гуарани: *éra* "называться" ~ *mo-héra* "называть", *poí* "быть чистым" ~ *mo-poí* "чистить" [Климов 1977: 87], а также образование каузативных глаголов от "непереходных" типа: *gweyi* "падать" ~ *mo-gweyi* "валить", где "непереходный глагол не является стативным" [Gregores, Suarez 1967: 207, 224]. Особого внимания заслуживает факт наличия класса аффективных глаголов, например, в языке ассинибойн, где в этот класс входят и такие, которые, "хотя и не маркируют адресата действия, являются нейтральными относительно оппозиции активного действия и состояния" [Климов 1977: 96–97], при этом источник действия может не совпадать или совпадать с носителем состояния. Ср.: *yaká* "сидеть", "лежать", "быть оставленным" и *iuyksa* "думаться", "догадываться" [Levin 1964: 42–43]. Интересно отметить, что во втором случае этот класс обнаруживает семантическую близость с претерито-презентными глаголами германских языков (ср. древнеисландские глаголы *tinna* "вспоминать", *eiga* "иметь" и др., обозначающие состояние субъекта, возникшее в результате совершенного им же действия, то есть, подлежащее совмещает в этом случае и значение производителя действия и значение носителя состояния).

На возможность совмещения функций объекта действия и субъекта состояния в одном и том же члене предложения обращает внимание А.В. Бондарко, рассматривая предложения типа *Этот вопрос никем еще не решен*, где "функция Одействия, выполняемая компонентом *этот вопрос*, не просто сосуществует с функциями Состояния, С пропозиции и С как темы при актуальном членении высказывания, но и определенным образом взаимодействует со всеми этими аспектами субъектных функций. Функция С состояния явно связана с функциями С пропозиции и С темы, поскольку состояние как сигнификативный предикативный признак приписывается субъекту как денотируемой и называемой субстанции, выступающей как "предмет мысли" и как тема высказывания" [Бондарко 1992: 46].

Думается, что доминирующий тип порядка слов в языках активного строя S(O)V [Климсв 1977: 123] с начальной позицией подлежащего в предложении свидетельствует об определенной коммуникативной нагрузке подлежащего, независимой от его активного или пассивного значения (наличие объекта в этой модели необязательно): именно топик, а не подлежащее, по справедливому замечанию Ч.Н. Ли и С.А. Томпсон, должен помещаться в начальную позицию в предложении, поскольку в потоке речи неизбежно происходит эшелонирование (serialization) сообщаемой информации, "подлежащее же, как понятие, в большей степени ориентированное на предложение, не должно иметь никакого превосходства в этом процессе эшелонирования информации [Ли, Томпсон 1982: 203]. Если в отношении номинативного строя необходимы доказательства причины постановки подлежащего-топика на первое место, то для языков активного или эргативного строя ввиду наличия в них подлежащих, различных по форме и содержанию, причиной такого явления может быть лишь то, что объединяет обе разновидности подлежащего, т.е. их функционально-коммуникативная нагрузка. По-видимому, на определенном этапе развития изменилось соотношение между парадигматическим и синтагматическим значением подлежащих активной и пассивной конструкций, в силу чего формальная маркирован-

ность актива и иактива уступила место единой маркированности подлежащего-топика.

Не исключено, что необходимость усиления формального маркирования топика особым падежом была вызвана расширением сферы письменного общения, так как при этом ограничивалась функциональная значимость интонации, а порядок слов не представлял собой универсальной модели. Вполне возможно, что именно в силу этих обстоятельств индоевропейские языки миновали эргативную стадию развития. Однако этот вопрос требует тщательного исследования на материале большого количества языков. Во всяком случае мы не склонны сводить многообразие возможных причин зарождения номинативного строя к какой-либо одной, что означало бы непозволительное упрощение проблемы.

4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЭТАПЫ НОМИНАТИВИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процесс исторической топикализации подлежащего частично соприкасается с процессом развития от топика к подлежащему, описанным В. Леманом [Lehmann 1976]. Но эти процессы не накладываются друг на друга полностью, поскольку, во-первых, вряд ли совпадают их хронологические рамки, во-вторых, различны исходные, отправные модели этих двух процессов развития. Дело в том, что в основе данной теории В. Лемана лежит понятийный аппарат "новой типологии языков", как он был охарактеризован Ч.Н. Ли и С.А. Томпсон [Ли, Томпсон 1982]. Эта новая типология различает языки с выдвижением подлежащего (индоевропейские, финно-угорские и др.) и языки с выдвижением топика (китайский, лаху, лису), а также языки с выдвижением как подлежащего, так и топика (японский, корейский) и языки, в которых нет ни выдвижения подлежащего, ни выдвижения топика (тагальский, иллокано) [Ли, Томпсон 1982: 195]. Опираясь на понятия новой типологии языков, авторы не обращаются к понятиям контенсивной типологии (активный, эргативный, номинативный типы), в связи с чем вопрос о семантической детерминанте номинативного строя не ставится. Более того, языки, принадлежащие по классификации Ч.Н. Ли и С.А. Томпсон к разным типам (индоевропейские, китайский, японский), относятся к одному контенсивному типу – номинативному.

Согласно теории В. Лемана, описываемый им сдвиг от топика к подлежащему произошёл в индоевропейских языках в "доисторическую" эпоху и, соответственно, остался незафиксированным в письменных памятниках [Lehman 1976: 454]. Вместе с тем В. Леман принимает положение Г.А. Климова об активном строе раннего протоиндоевропейского, в связи с чем отмечает ряд признаков активного и номинативного типов, не упоминая при этом исторического сдвига от топика к подлежащему [Lehman 1989]. Ч.Н. Ли и С.А. Томпсон, описывая характеристические свойства языков с выдвижением топика, отмечают: "В языках типа вТ⁷ должно иметься поверхностное кодирование для топика, но необязательно должно быть таковое для подлежащего" [Ли, Томпсон 1982: 205]. Все это даёт некоторые основания предположить, что: 1) сдвиг от топика к подлежащему протекает в рамках номинативного типа, не совпадая ни в своем начале, ни в своем конце с границами его существования, включая полное оформление номинативного строя; 2) процесс перехода формального маркирования с топика на подлежащее (сдвиг от топика к подлежащему) иерархически подчинен процессу исторической топикализации подлежащего; 3) процесс исторической топикализации подлежащего, по-видимому, является ведущим при оформлении номинативного строя.

Иными словами, можно предположить следующие основные этапы развития номинативного типа: 1) разрушение маркеров оппозиции актив/инактив в сфере подлежащего на фоне сохранения при подлежащем маркера топика; формальное неразли-

⁷ Так обозначаются языки с выдвижением топика.

чение маркеров топики у подлежащего и неподлежащего – зарождение номинативного строя; 2) закрепление за подлежащим показателя, входящего к показателю топики; единое оформление подлежащего (топики и нетопики); нераспространение показателя подлежащего на топики, выраженные иными членами предложения – становление языкового типа с выдвижением подлежащего; 3) полное исчезновение неноминативных и псевдономинативных структур – завершение процесса оформления номинативного строя. Первый этап не засвидетельствован в письменных памятниках индоевропейских языков, второй может частично прослеживаться в индоевропейских языках, третий наблюдается лишь в некоторых из индоевропейских языков.

Последний, третий из предполагаемых этапов, не мыслится как исключаящий возможность тематичности сказуемого или второстепенных членов предложения. Речь идет лишь о структурах, топики которых имеют предрасположенность к приобретению показателя номинатива (причем параллельно протекает процесс свертывания категории падежа). Поэтому представляется необходимым разграничить внутри непрототипических конструкций продуктивные и непродуктивные. Так, конструкции типа англ. *Yesterday he was ill* "Вчера он был болен" представляются продуктивными и для русского и для английского языков, поскольку не обнаруживают в процессе исторического развития индоевропейских языков тенденции к субъективации топики типа *yesterday*. Иное дело – конструкции типа *У меня болит голова, У меня есть брат, Е го здесь не было, Светает* (ср. нем. перевод: *I c h habe Kopfschmerzen, I c h habe einen Bruder, E r war hier nicht, E s dämmert*, однако нем.: *M i c h friert: М е н я знобит* и под.), где косвенный падеж имени (с предлогом или без него), выступающего в роли топики, выглядит как архаизм на фоне общей тенденции развития и как бы являет собой прообраз будущего подлежащего (особого внимания заслуживают в этом плане безличные глаголы). Во избежание отождествления подобных элементов конструкции с подлежащим А.В. Бондарко вводит понятие "носитель предикативного признака". Носитель предикативного признака может быть представлен подлежащим (*О н филолог*) или его заместителями, аналогами (см. примеры выше), а также может быть не выражен дискретно ("значащее отсутствие подлежащего": *Люблю тебя, Звонят* и под.). Выделенный класс синтаксических элементов трактуется как полевая структура, центром которой является подлежащее [Бондарко 1992: 55].

Из предполагаемых трех этапов процесса исторической топикизации подлежащего наиболее трудным для описания представляется первый. Закономерен вопрос: Если это уже номинативный строй с "универсальным" подлежащим, но структура предложения еще не является структурой с выдвижением подлежащего, то каково же в этом случае содержание подлежащего на данном этапе? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к анализу коммуникативной нагрузки подлежащего в языках с выдвижением топики. К сожалению, Ч.Н. Ли и С.А. Томпсон оставляют этот вопрос совершенно без внимания. Однако большинство из проводимых ими многочисленных примеров наглядно иллюстрируют наличие партитивных или посессивных отношений между топиком и подлежащим. Например:

лаху:	hə	ʒ	na – qhɔ̃	ɣɪ	ve	yó.
	слон	топик	нос	длинный	частица	показ. повест.
	"Слоны (топик), нос длинный" [Ли, Томпсон 1982: 207]					
китайск.:	Tāmen	shéi	dōu	bù	lái.	
	они	кто-либо	все	не	приходить	
	"Они (топик), никто из них не пришел" [Ли, Томпсон 1982: 224].					

В подобных конструкциях тематичность подлежащих очевидна, в специальном выражении ее нет необходимости, поскольку она логически вытекает из наличия посессивных или партитивных отношений между топиком и подлежащим. Что же касается других приведенных авторами примеров, где подлежащее оказывается ре-

мой, то здесь формальной маркированности подлежащего, по утверждению авторов, не требуется ввиду однозначности смысла предложения:

лису: Làthuy пуа ànà khù- а
 Люди (топик) собака кусать показатель повествоват.
 "Люди (топик), {они кусают собак". (Люди обычно не
 {собаки кусают их". кусают собак)

[Ли, Томпсон 1982: 212–213].

5. ЭТАЛОН НОМИНАТИВНОГО ТИПА

Если историческая топиализация подлежащего действительно является ведущей тенденцией развития номинативного строя, то, видимо, при определении семантической детерминанты этого строя можно рассмотреть следующие синхронические характеристики как составляющие эталон данного контенсивного типа:

1. Лексика: а) существительное: собственные, уписа/остальные нарицательные; исчисляемые/неисчисляемые; б) глагол: переходные/непереходные и/или пассивоспособные/непассивоспособные;

2. Синтаксис: а) конструкции предложения: активная/пассивная; б) дополнения: пациенс/агенс; порядок слов S(O)V > SV(O);

3. Морфология: а) существительное: категория числа; им./вин. пад. и/или определенная/неопределенная формы; глагол: актив/пассив (инактив). (Характеристики номинативного строя даны здесь по модели, предложенной Г.А. Климовым для всех контенсивных типов [Климов 1983: 87], поэтому сопоставимы с характеристиками иных, неноминативных типов.)

Совершенно очевидно, что предлагаемые (естественно, в дискуссионном порядке) характеристики ориентированы в содержательном плане на выражение тема-рема-тических отношений, что и представляется семантической детерминантой номинативного строя, которая в общем вписывается в семантику субъектно-объектных отношений в широком понимании данного термина. Разумеется, каждая из выделенных нами характеристик нуждается в подробном анализе на материале разных языков. Целиком признавая вслед за Г.А. Климовым ведущую роль категориальной лексики в оформлении контенсивного типа, остановимся несколько подробнее на разделении глаголов на пассивоспособные и непассивоспособные, так как здесь имеется несколько подразрядов (см. схему):



Среди аффективных глаголов выделяются переходные глаголы, не образующие пассива. Таковы, например, в немецком языке: *haben, besitzen* "иметь", *bekommen* "получать", *kennen, wissen* "знать", *kennenlernen* "знакомиться", *erfahren* "узнавать", *betreffen* "касаться", *kosten* "стоить", *interessieren* "интересовать", *enthalten* "содержать", *brauchen* "нуждаться". Сюда же следует отнести безличные переходные глаголы типа "меня знобит". Среди непереходных аффективных глаголов выделяются глаголы типа связочных "быть", "становиться" нем.: *sein, werden*) и модальных (нем.: *können* "мочь", *dürfen* "сметь", *sollen* "долженствовать" и др.). Отметим архаичность непереходных аффективных глаголов, выражающуюся в их нерегулярном словоизменении (неправильные, претерито-презентные глаголы) и их способность к полной потере лексического значения и переходе в класс вспомогательных глаголов (связочные, модальные и вспомогательные глаголы являются инновациями номинативного строя [Климов 1973: 444]). Строго говоря, связочные, модальные и тем более вспомогательные глаголы нельзя квалифицировать ни как непереходные, ни как переходные именно в связи с ослабленностью их лексической семантики вплоть до полного ее исчезновения. Непереходные глаголы, обозначающие действия человека, выделяются в связи с их способностью в ряде языков образовывать так называемый безличный пассив, например, нем.: *Es wird hier getanzt* "Здесь танцуют"; *Hier wird nicht geraucht* "Здесь не курят"; *Gestern wurde viel gestritten* "Вчера много спорили" (о неопределенно-личных предложениях в языках различных типов см. [Ермолаева 1994]).

В порядке пояснения предложенных характеристик коснемся еще некоторых вопросов. Разграничение существительных на собственные и *unica VS.* остальные нарицательные теснейшим образом связано с их отношением к категории определенности/неопределенности, которая в свою очередь связана с тема-рематическим членением (существительные собственные и *unica*, как правило, являются определенными, остальные могут быть не только определенными, но и в той или иной мере неопределенными). Что касается синтаксиса и морфологии, следует отметить, что в последнее время преобладает точка зрения относительно пассивной конструкции как способа рематизации обозначения действия или же агенса [Козинцева 1978; Leiss 1992 и др.]. (В исследовании [Leiss 1992] приводится материал различных языков.) Соответственно, и второй синтаксический признак – содержание дополнения в активной и пассивной конструкциях – соотносен с ремой- пациенсом или ремой-агентом. (Относительно зарождения пассивной конструкции на основе субъектно-объектного спряжения см. [Ермолаева 1994]).

Отдавая себе отчет в наибольшей дискуссионности тезиса о тема-рематической ориентации именительного и винительного падежей, рассмотрим этот вопрос несколько подробнее. Уже в отношении эргативных языков М.А. Кумаховым было отмечено, что многие формы, рассматриваемые как эргатив, далеко не всегда выражают синтаксические отношения между словами в предложении или в синтагме, а часто выступают как члены оппозиции определенность/неопределенность [Кумахов 1967]. М.А. Кумахов приводит в качестве примеров адыг.: *Лы-м-рэ шъуызы-м-рэ къэк/уагъэх* "Мужчина и женщина пришли"; *Лы-м-рэ шъуызы-м-рэ атхыгъ* "Мужчина и женщина написали что-то", где снимается противопоставление между эргативом и абсолютивом по признаку переходности/непереходности глагола. В обоих случаях имя действующего лица принимает морфему -м, которая в данном окружении представляет собой, по мнению М.А. Кумахова, свободный, вставочный элемент, выступающий в качестве определенного члена. Морфема -м в конструкциях типа "союзная форма имени + непереходный глагол" последовательно чередуется с нулевой морфемой, являющейся показателем неопределенности: *Лы-рэ шъуыз-рэ къэк/уагъэх* [Кумахов 1967: 168–169, 171]. В результате анализа этих и многих других конструкций с эргативом М.А. Кумахов приходит к следующему выводу: "Эргатив (да и вообще вся система склонения в рассматриваемых языках) переплетается не только с категориями определенности-неопределенности, но и с категориями числа и притя-

жательности. Выяснение соотношения взаимосвязанных именных категорий – падежа, числа, определенности-неопределенности и притяжательности – позволит глубже разобраться также в природе эргативной конструкции предложения в этих языках" [Кумахов 1967: 173].

В грамматиках адыгейского языка обычно отмечается наличие определенных и неопределенных имен (см., например, [Рогава, Керашева 1966: 60–63]), что подтверждается и текстами. Ср.: *Ащмэз цыккы жьыеу, ятэ Лъэгущаклэр ылоу зы пелуан горэм кьыуклыгъагъ. Пелуаныр чыжьэ хьэзэрэу щалагъ апэчыжьэу.* "Ашемез малым маленьким когда был, его отца Тлегуцжаче называющийся оди и богатырь какой-то убил, Богатырь далеко довольно жил от них вдалеке" ("Ащмэз", из адыгейского нартовского эпоса) [Яковлев, Ашхамаф 1941: 446], где формы *пелуан/пелуаныр* противопоставлены по признаку неопределенность/определенность.

Интересно, что типологически сходные явления наблюдаются и в чукотско-камчатских языках [Жукова 1967]. Так, например, в языке паланских коряков для существительных, обозначающих одушевленные предметы, в косвенных падежах различаются определенные и неопределенные формы [Жукова 1980: 56]. Ср. *Эньпичу* (абсолютный падеж) *йунатылқэлэт эв'инэк* "Родители жили на устье"; *В'эньэпың эньпичинэк* (творительный падеж) *энапыңлой гыммэ* "По дороге отец спросил меня" (Гымнинэв' тумгу "Мои друзья" [Жукова 1980: 142–143]), где в форме *эньпичинэк -нэ-* означает определенность, *-к-* – падеж.

Показатели определенности, включенные в словоформу существительного, необходимо отличать от показателей топики, которые могут присоединяться к любому слову, как, например, в русск.: *Придти-т о он пришел, да помочь-т о не смог* (ср. аналогичную функцию частицы *и* в языке ория [Зограф 1976: 66]). Наличие таких частиц, по-видимому, обеспечивает переход языков из типа с выдвижением топики к типу с выдвижением подлежащего. Размежевание же ситуационного (семантические роли) и референциального (определенность/неопределенность) компонентов семантического представления в парадигме существительного – более позднее явление, когда функции выражения семантических ролей все более переходят к порядку слов, а определенность/неопределенность получает новое, более последовательное выражение.

Упомянутые выше адыгейские и чукотско-камчатские модели существенно отличаются от некоторых встречающихся в номинативных языках случаев сочетания в одной синтетической словоформе показателей определенности и семантических ролей. Ср. исланд.: *hesturinn* "(определенная) лошадь", где *-ur-* показатель именит.п. ед.ч. существительного, *-inn* определенный артикль именит. пад.ед.ч. Регулярность обозначения определенности в языках с постпозитивным артиклем дает основания говорить о наличии в них определенного и неопределенного типов склонения. Ср. им.ед.: *hesturinn/hestur*, род.ед.: *hestins/hests* и т.д. В других языках (например, русском, эстонском), где подобные различия отсутствуют, может наблюдаться влияние определенности/неопределенности на выбор падежа. Ср. русск.: *выпей молоко* (определенность); *выпей молока* (неопределенность); эстонск.: *Joo oma piim ära* "Выпей свое молоко" (абсолютный падеж), но: *Ma ostsin võid* "Я купил масла" (парциальный падеж) [Эстонский язык 1993: 128].

Следует согласиться с реконструкцией по крайней мере для отдельных ареалов праиндоевропейского наряду с противопоставлением по признаку "активный (одушевленный) субъект/неактивный (немаркированный по одушевленности/неодушевленности) объект" зарождающегося противопоставления референциального характера [Степанов 1989: 123–124]. В дальнейшем необходимо также уточнить, какая из упомянутых выше моделей словоформ, сочетающих ситуационный компонент смысла с референциальным, могла быть исходной при формировании именного склонения, засвидетельствованного в первых письменных памятниках.

Помимо категории определенности/неопределенности можно назвать целый ряд других явлений инновационного характера, которые могут быть интерпретированы именно в плане возрастания ориентированности парадигматики различных уровней на передачу тема-рематических отношений. К таким явлениям относятся, например, развитие *verba habendi*, вытеснение конструкций *mihi est* конструкцией с *habeo* [Ермолаева 1991], наличие переходных неpassивоспособных глаголов, развитие "безличного" пассива от непереходных глаголов, пассивных конструкций типа англ.: *I was given a book* "Мне дали книгу", наряду с *The book was given to me* "Книгу дали мне", сокращение числа безличных глаголов с устранением безличных конструкций с косвенным падежом имени. Данные конструкции сохраняются лишь в языках с устойчивой падежной системой и слабооформленными либо отсутствующими морфологическими показателями определенности/неопределенности. Примером может служить исландский язык с хорошо сохранившейся четырехпадежной системой и минимальной представленностью артикля (определенный/нулевой), где количество таких конструкций, согласно нашим подсчетам по "Исландско-русскому словарю" [Исландско-русский словарь 1962], достигает 360, среди них такие "необычные", как *degi hallar* "день кончается", *mjólkina ystir* "молоко свертывается", *tók af höndina* "руку оторвало", *honum stórfötti* "он очень обиделся", *mér seinkaði* "я опоздал" и под. Заслуживает серьезного внимания и высказанная Э. Косериу мысль о системной соотнесенности подобных безличных конструкций с пассивными и взаимоисключенности в языке конструкций типа **Es schlägt den Hans* и *Hans wird geschlagen* "Ганса бьют" [Coseriu 1987: 22–23].

6. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Процесс исторической топиализации подлежащего как ведущая тенденция развития языков номинативного строя заключается в нарастании в семантике подлежащего коммуникативного, референциального и дейктического компонентов, наплаивающихся на ситуационные компоненты. Этот процесс выражается формально в становлении языкового типа с синтаксическим членением, где выделяются подлежащее, прямое и косвенное дополнения. Признавая активные и эргативные языки чистыми ролевыми (лакота, большинство дагестанских) или коммуникативно-ролевыми (ачинский, эскимосский), а номинативные, как правило, коммуникативно-ролевыми [Кибрик 1994: 20–23, 17], видимо, можно предположить и закономерность развития от активного или эргативного типов к номинативному, заключающегося в нарастании коммуникативного компонента в семантике всего предложения, что и порождает необходимость поэтапной перестройки парадигматики различных уровней языковой системы, в частности, переход ролевых функций от падежа к синтаксису и залогу. Процесс исторической топиализации подлежащего, видимо, начинается в позднеактивном или позднеэргативном периоде и приводит к становлению номинативного строя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адмони В.Г. 1960 – Двучленные фразы в трактовке Л.В. Щербы и проблема предикативности // ФН. 1960. № 1.
- Бондарко А.В. 1992 – Субъектно-предикатно-объектные ситуации / Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
- Гухман М.М. 1967 – Конструкции с дательным/винительным лица и проблема эргативного прошлого индоевропейских языков // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
- Ермолаева Л.С. 1991 – Место и роль типологического метода в сравнительно-исторических исследованиях // Типология языков и межуровневые связи / Сб. науч. трудов Моск. гос. лингвистического ун-та. Вып. 382. М., 1991.

- Ермолаева Л.С. 1994 – Неопределенно-личные предложения и номинативный строй языка // *Acta universitatis scientiarum socialium et artis educandi Tallinnendi. Pedagoogica Ülikooli u toimetised humaniora adra*, 1994.
- Жукова А.Н. 1967 – Выражение подлежащего в эргативной конструкции предложения чукотско-камчатских языков // *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов*. Л., 1967.
- Жукова А.Н. 1980 – Язык паланских коряков. Л., 1980.
- Зограф Г.А. 1976 – Морфологический строй новых индоарийских языков (опыт структурно-типологического анализа). М., 1976.
- Исландско-русский словарь 1962 – Исландско-русский словарь / Сост. В.П. Берковым при участии А. Бедварссона. М., 1962.
- Касевич В.Б. 1992 – Субъектность и объектность: проблемы семантики // *Теория...* 1992.
- Кацнельсон С.Д. 1972 – Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
- Кириков А.Е. 1976 – Структурное описание арчинского языка методами полевой лингвистики: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 1976.
- Кириков А.Е. 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). М., 1992.
- Кириков А.Е. 1994 – Стратегии организации базовой структуры предложения и интегральная типология языков // *Вестник МГУ. Филология*. 1994. № 3.
- Климов Г.А. 1973 – Типология языков активного строя и реконструкция протоиндоевропейского // *ИАН СЛЯ*. 1973. Вып. 5.
- Климов Г.А. 1977 – Типология языков активного строя. М., 1977.
- Климов Г.А. 1983 – Принципы континентальной типологии. М., 1983.
- Козинцева Н.А. 1978 – Коммуникативная нагрузка членов предложения в активных, пассивных и неопределенно-личных предложениях (на материале армянского языка) // *Проблемы теории грамматического залога*. Л., 1978.
- Кумахов М.А. 1967 – К проблеме эргатива в адыгейском, кабардинском и убыхском языках // *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов*. Л., 1967.
- Ли Ч.Н., Томпсон С.А. 1982 – Подлежащее и топик: новая типология языков // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XI. Современные синтаксические теории в американской лингвистике. М., 1982.
- Рогова Г.В., Керашева З.И. 1966 – Грамматика адыгейского языка. Краснодар-Майкоп, 1966.
- Слюсарева Н.А. 1986 – Категориальная основа тема-рематической организации высказывания-предложения // *ВЯ*. 1986. № 4.
- Солнцев В.М. 1993 – Общее языкознание и изолирующие языки // *ИАН СЛЯ*. Т. 52. 1993. № 6.
- Степанов Ю.С. 1989 – Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Теория 1992 – Теория функциональной грамматики. Субъектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
- Трубецкой Н.С. 1987 – Мысли об индоевропейской проблеме // *Избранные труды по филологии*. М., 1987.
- Шмелев А.Д. 1992 – Определенность/неопределенность в аспекте теории референции // *Теория...* 1992.
- Эстонский язык 1993 – Эстонский язык // *Языки мира*. Уральские языки. М., 1993.
- Яковлев Н., Аишамаф Д. 1941 – Грамматика адыгейского литературного языка. М.–Л., 1941.
- Якубинский Л.П. 1986 – Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986.
- Coseriu E. 1987 – Bedeutung, Bezeichnung und sprachliche Kategorien // *Sprachwissenschaft*. Bd 12 (1987), Hft. 1.
- Gregores E., Suarez J.A. 1967 – Description of Colloquial Guarani. The Hague-Paris, 1967.
- Järventausta M. 1991 – Das Subjekt im Deutschen und im Finnischen. Seine Formen und semantischen Rollen. Frankfurt-am-Main; Bern; N.Y.; P., 1991.
- Lehmann W.P. 1976 – From Topic to Subject in Indo-European // *Subject and Topic* / Ed. by Ch.N.Li. N.Y., San Francisco; L., 1976.
- Lehmann W.P. 1989 – Earlier stages of Proto-Indo-European // *Indogermanica Europaea / Grazer linguistische Monographien*, 1989, 4.
- Leiss E. 1992 – Die Verbalkategorien des Deutschen. Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung. B.; N.Y., 1992.
- Levin N.B. 1964 – The Assiniboine language. The Hague, 1964.

© 1995 г. Б.Я. ОСТРОВСКИЙ

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ФОРМАХ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА ДАРИ

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Современный язык дари (Афганистан), как и близкородственные ему персидский и таджикский, характеризуются развитой системой модально-видо-временных форм глаголов, причем выбор необходимой формы регулируется достаточно сложными правилами. Семантика модально-видо-временных форм глаголов дари и двух других упомянутых языков изучается уже давно, и в литературе по иранскому языкознанию можно найти целый ряд ее описаний¹.

Данная статья содержит краткое описание способов выражения видо-временных значений в личных формах глагола дари, относимых к изъявительному наклонению. При этом к рассмотрению привлекаются не все значения, передаваемые этими формами, а лишь те, которые касаются событий, представляемых как реальные (т.е. не допускаемые, не предполагаемые, не желательные, не ирреальные) и излагаемые объективно (т.е. без ссылок на чужое или даже собственное восприятие)².

В статье предпринимается попытка, оперируя в основном известными фактами, дать им несколько иную по сравнению с общепринятой интерпретацию³. Главное отличие предлагаемого описания от уже имеющихся заключается в его направленности: если в большинстве иранистических работ прослеживается семасиологический подход к фактам языка, т.е. направленность от формы к значениям, то здесь принят противоположный, ономазиологический подход, т.е. направленность от значения к формам (см., например [Даниленко 1988: 108 и сл.; Гак 1985 : 12–15; Храковский 1985 : 65–68]).

Иллюстративный материал для предприняемого описания получен из современной художественной прозы и научных монографий⁴, а также из лингвистических описаний ([Дорофеева 1960; Фархади 1974; Киселева 1985]), из школьных учебников и т.п.

¹ Описание семантики модально-видо-временных форм наиболее подробно выполнено в отношении таджикского глагола – в работе [Расторгуева, Керимова 1964 : 36–136]. По языку дари имеются лишь краткие обзоры (см. [Дорофеева 1960: 49–53; Пахалина 1964 : 56–58; Фархади 1974 : 128–134; Киселева 1985 : 91–99]) и работы, посвященные отдельным формам (см. [Николайчик 1974; Киселева 1976]). Имеется также сводное описание по всем трем языкам [Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982 : 173–189].

² Несколько схематизируя факты, можно утверждать, что, в частности, словоформа *zad* рассматривается здесь в значении "(он) побил", но не "(если) побьет"; словоформа *mēzad* – в значении "(он) бил", но не "(он) бил бы" и не "(ему) следовало бить"; словоформа *x(w)āhad zad* – в значении "будет бить", "побьет"; но не "вероятно, побьет" и не "вероятно, бьет"; словоформа *zada (ast)* – в значении "(он) уже побил", но не "(он) якобы побил" и не "следовательно, (он) побил" и т.п.

³ Здесь развиваются и уточняются некоторые мысли, высказанные ранее в работах: [Островский 1989; 1990: 1991а; 1991б; 1992].

⁴ При таких примерах в скобках указывается автор соответствующего произведения: А. – Babrak Aryand, В. – 'Abdolyafur Berešnā, F. – Mir Mohammadseddiq Farhang, H. – Asadollāh Habib, Hi. – 'Abdollahy Habibi, K. – Kōzagar (Akram 'Osmān), M. – Karim Misāq, N. – Jalāl Nurāni, Q. – Torpēkay Qayum, X. – Xalilollāh Xalili, Z. – Mohammada'zam Rahnaward Zaryāb, Г. – Mir Gollāmmohammad Gōbār.

2. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Исходным пунктом для предпринимаемого описания служит то соображение, что формы, с одной стороны, и их значения, с другой, образуют две автономные системы, каждая – со своим набором членов и дифференциальных признаков⁵.

2.1. Члены системы форм именуются здесь, естественно, *формами*, а их дифференциальные признаки – *граммами* (ед. число – грамм). Форма представляет собой совокупность (пучок) грамм.

Каждая форма в конкретных текстах репрезентируется словоформами тех или иных глаголов. Например, форма настоящего-будущего времени репрезентируется словоформами *mēzani* "бьешь", "побьешь", *namēbāšēm* "не бываем", "не будем", *mēbardārānd* || *barmēdārānd* "поднимают", "поднимут", *dida mēšawad* "(он) виден", "будет виден" и т.п.

Каждая грамм репрезентируется в словоформах либо наличием определенной морфемы (или основы), либо ее отсутствием, либо наличием морфемы (основы) определенного класса. Например, граммы, образующие вышеупомянутую форму настоящего-будущего времени, репрезентируются наличием формообразующего префикса *mē-*, наличием основы 1-го класса и отсутствием основ вспомогательных глаголов *x(w)āstan* и *budan* (см. п. 3).

Однородные граммы, т.е. граммы, имеющие отношение к морфемам (основам) одного и того же разряда, образуют *граммическую категорию*, причем каждая форма содержит по одной грамме каждой категории.

Одна из грамм каждой граммической категории выбирается в качестве немаркированной: обычно это грамм, репрезентируемая либо отсутствием данной морфемы (основы), либо наличием морфемы (основы) того класса, который является наиболее простым или встречается чаще других. В принятой здесь системе символического обозначения форм немаркированные граммы никак не отражаются.

Прочие граммы данной категории считаются маркированными и далее именуются *маркерами*. Каждый маркер при символическом обозначении форм передается здесь специальным условным знаком, чаще всего – одной из строчных графем латинского алфавита; например: маркер *t* (т.е. наличие префикса *mē-*).

2.2. Члены системы значений форм именуются здесь *формемами*, а их дифференциальные признаки – *граммемами*. Формема представляет собой совокупность (пучок) грамм.

Каждая формема репрезентируется одной или несколькими формами. Например, событие как процесс, совпадающий по времени с действием (состоянием), но предшествующий упоминанию о нем (см. п. 4), у глагола *zadan* "бить" передается формой имперфекта, а у глагола *budan* "быть" – формой претерита; ср.: *mēzad* "(он) бил" и *bud* "(он) был".

Граммема чаще всего репрезентируется одной или несколькими разными граммами. Например, граммема процессности в одних случаях передается маркером, репрезентируемым префиксом *mē-*, а в других – немаркированной граммой, репрезентируемой отсутствием формообразующего префикса, или, что то же самое, внешнего выражения не получает (см. пример из предыдущего абзаца).

Однородные граммемы, т.е. граммемы, имеющие отношение к одной и той же семантической характеристике, образуют *грамматическую категорию*, причем каждая формема содержит по одной граммеме каждой категории.

Одна из граммем каждой грамматической категории выбирается в качестве немаркированной: обычно это граммема, наиболее элементарная или исходная по

⁵ Из этого, в частности, следует, что формы не должны носить семантических наименований (таких, например, как "форма настоящего-будущего времени", "форма множественного числа"). Если в данной статье (в пп. 2 и 3 и далее в сносках) подобные традиционные наименования все же используются, то лишь условно и в силу необходимости.

содержанию. В принятой здесь системе символического обозначения формем немаркированные грамме́мы никак не отражаются.

Прочие грамме́мы данной категории считаются маркированными и далее именуются *м а р к е м а м и*. Каждая маркема при символическом обозначении формем передается здесь ее наименованием, сокращенным до трех–четырех первых букв; например: маркема *Проц* (т.е. событие-процесс).

2.3. Система форм и система формем, сохраняя относительную самостоятельность, в то же время тесно связаны друг с другом: выбор между граммами одной и той же категории хотя бы в одном случае обеспечивает внешнее выражение различий между грамме́мами той или иной категории, а внешнее выражение различий между грамме́мами одной и той же категории хотя бы в одном случае обеспечивается выбором между граммами той или иной категории. При этом в большинстве случаев немаркированная грамме́ма передается немаркированной граммой, т.е. не получает никакого выражения, а маркированная грамме́ма, или маркема, передается маркированной же граммой, или маркером.

3. ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ

Рассматриваемые в данной статье личные формы глаголов дари различаются между собой по четырем граммическим категориям, которые имеют отношение, во-первых, к классам основ в составе спрягаемых частей словоформ, во-вторых, к формообразующим префиксам, в-третьих, к основе вспомогательного глагола *x(w)āstan*, в-четвертых, к основе вспомогательного глагола *budan*.

3.1. В составе спрягаемой части глагольной словоформы появляется одна из следующих трех основ:

основа 1-го класса: например, у глагола *zadan* "бить" – *-zan-*, у глагола *budan* "быть" – *-bāš-*, у глагола *dāštan* "иметь" – *-dāštabāš-*;

основа 2-го класса: у глагола *budan* – *((h)a)st-* или *-Ø-* (т.е. нулевая), у глагола *dāštan* – *-dār-*;

основа 3-го класса: например, у глагола *zadan* – *-zad-*, у глагола *budan* – *-bud-*, у глагола *dāštan* – *-dāšt-*⁶.

Подавляющее большинство глаголов, включая глагол *zadan* "бить" (по традиции используемый в качестве эталона), располагает только основами 1-го и 3-го классов; они именуются здесь *с л а б ы м и г л а г о л а м и*. Всеми тремя основами располагают из числа полнозначных глаголов только два: *budan* "быть" и *dāštan* "иметь"; они именуются далее *с и л ь н ы м и г л а г о л а м и*⁷.

Наличие основы 1-го класса в указанной позиции выбирается в качестве репрезентанта немаркированной граммы, а наличие основ двух других классов – в качестве репрезентантов маркеров. Маркер, репрезентируемый основой 2-го класса, обозначается далее графемой *a*, а маркер, репрезентируемый основой 3-го класса – графемой *d*.

3.2. Глагольная словоформа либо содержит в своем составе один из трех формообразующих префиксов – *mē-*, *be-* или *Ø-* (т.е. нулевой), либо не содержит никакого.

⁶ Основа 1-го класса в имеющихся описаниях именуется основой настоящего времени, или презентной основой, а основа 3-го класса – основой прошедшего времени, или претеритальной основой (см., например [Киселева 1985 : 79; Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982 : 128]). Основу 2-го класса (под каким бы то ни было наименованием) выделять не принято.

⁷ Следует оговориться, что сильный глагол *dāštan* "иметь" не тождествен своему частичному омониму – слабому глаголу *dāštan₂* (основа 1-го класса – *-dār-*, основа 3-го класса – *-dāšt-*), который употребляется почти исключительно в составе глагольных фразеологизмов; например: *negah dāštan₂* "хранить", *taqdim dāštan₂* "вручать" и т.п. (Впрочем, имеются и такие фразеологизмы, в состав которых входит сильный глагол *dāštan*; например: *qarār dāštan* "находиться", *wojud dāštan* "существовать"; ср. также: *dōst dāštan* и *dōst dāštan₂* "любить".)

Отсутствие формообразующего префикса, свободно чередующееся при определенных условиях с наличием префикса *be-* (ср.: *zanad* или *bezanad* "пусть бьет", *zad* или *bezad*⁸ "(он) побил"), выбирается в качестве репрезентанта немаркированной граммы, а наличие префиксов *mē-* и $\emptyset$ ⁹ – в качестве репрезентантов маркеров. Маркер, репрезентируемый префиксом *mē-*, обозначается далее графемой *m*, а маркер, репрезентируемый префиксом $\emptyset$ – значком * ("звездочкой").

3.3. Глагольная словоформа либо содержит основу 1-го класса *-x(w)āh-* вспомогательного глагола *x(w)āstan*, либо не содержит.

Отсутствие указанной основы выбирается в качестве репрезентанта немаркированной граммы, а ее наличие – в качестве репрезентанта маркера. Этот маркер обозначается далее графемой *x*.

3.4. Глагольная словоформа либо содержит одну из основ вспомогательного глагола *budan*, либо не содержит ни одной из них. Этот вспомогательный глагол, подобно полнозначному глаголу *budan* "быть", является сильным и располагает тремя основами: 1-го класса – *-bāš-*, 2-го класса – $\emptyset$ - или *ast*, 3-го класса – *-bud-*.

Отсутствие основы (любого класса) вспомогательного глагола *budan* выбирается в качестве репрезентанта немаркированной граммы, а ее наличие – в качестве репрезентанта маркера. Этот маркер обозначается далее графемой *b*.

3.5. Таким образом, в состав видо-временных форм изъявительного наклонения глаголов дари способны входить следующие шесть маркеров:

m, *, *x*, *b*, *a*, *d*

В дальнейшем изложении форма обозначается заключенной в косые скобки цепочкой символов входящих в нее маркеров, причем символы маркеров располагаются в символе формы в том порядке, в котором они только что перечислены; например: форма */a/*, форма */mbd/*.

В данной статье рассматриваются формы, содержащие любые логически возможные комбинации из шести вышеперечисленных маркеров при следующих ограничениях: во-первых, в составе формы недопустимо появление двух маркеров одной и той же категории (*m* и *, *a* и *d*); во-вторых, один и тот же маркер может входить в состав формы не более чем единожды; в-третьих, исключаются сочетания маркера * с маркером *a* или *d*, а маркера *m* – с маркером *a*; в-четвертых, исключаются безмаркерная форма, форма, состоящая из одного лишь маркера *b*, форма, состоящая из маркеров * и *b*, и формы, содержащие маркер *x*, но не содержащие маркера *¹⁰.

Форм, удовлетворяющих всем этим условиям, насчитывается одиннадцать. Они перечисляются ниже в сопровождении репрезентирующих их словоформ глаголов *zadan* "бить" (как эталона слабых глаголов), *budan* "быть" и *dāštan* "иметь" (если один или два из этих глаголов не образуют той или иной формы, на месте соответствующих словоформ ставятся прочерки):

/m/: *mēzanad*, *mēbāšad*, *mēdāštabāšad* || *dāštamēbāšad*;

//*: *zanad*, *bāšad*, –;

/a/: –, ((*h*)*a*)*st*, *dārad*;

⁸ Префикс *be-* перед основой 3-го класса встречается только в архаизованных текстах.

⁹ Нулевой формообразующий префикс $\emptyset$ -, способный появляться только перед основой 1-го класса, отличается от отсутствия формообразующего префикса тем, что никогда не вступает в свободное чередование с префиксом *be-* (*zanad* "бить", но не *bezanad*).

¹⁰ Следует оговориться, что формы, не подчиняющиеся некоторым из указанных ограничений, все же возможны: */bba/* (*zada buda (ast)*), */mba/* (*mēzada (ast)*), */-/* ((*be*)*zanad*), */b/* (*zada bāšad*). Однако эти формы принято относить не к изъявительному, а к другим наклонениям: аудитивному (неочевидному), сослагательному или повелительному.

/d/: *zad, bud, dāšt*;
/mḅ/: *zada mēbāšad, —, —*;
/md/: *mēzad, mēbud, mēdāšt*;
*/*x/*: *x(w)āhad zad, x(w)āhad bud, x(w)āhad dāšt*;
/ba/: *zada (ast), buda (ast), dāšta (ast)*;
/bd/: *zada bud, —, —*;
/mbd/: *zada mēbud, —, —*;
*/*xb/*: *zada x(w)āhad bud, —, —*¹¹.

Каждая из перечисленных форм проиллюстрирована здесь словоформой, репрезентирующей утвердительную форму 3-го лица ед. числа действительного залога актуального действия (например: *mēzad* "(он) бил"), но для иллюстраций могла бы быть использована и словоформа, репрезентирующая отрицательную форму (*namēzad* "(он) не бил"), и форму 1-го лица (*mēzadam* "(я) бил"), и 2-го лица (*mēzadi* "(ты) бил"), и мн. числа (*mēzadand* "(они) били"), и страдательного залога (*zada mēšod* "(он подвергался битью)", и продолжаемого действия (*zada mēraft* "(он) продолжал бить", "(он) бил и бил"), и потенциального действия (*zada mētawānest* "(он) мог бить"¹²).

4. ФОРМЕНЫ РЕАЛЬНОГО СОБЫТИЯ

В перечисленных выше (см. 3.5) видо-временных формах изъявительного наклонения получают отражение следующие четыре сущности:

упоминаемое событие;

упоминание данного события;

ситуация, в рамках описания которой упоминается данное событие;

действие (в широком смысле, включая состояние, превращение и т.п.), выражаемое глагольной лексемой и непосредственно связанное с упоминаемым событием¹³.

Грамматические категории, охватываемые формами реального события, отражают, во-первых, свойства некоторых из этих сущностей (видовые значения) и, во-

¹¹ Форма */m/* традиционно именуется настоящим-будущим временем, */d/* – претеритом, или простым прошедшим, */md/* – имперфектом, или длительным прошедшим, */*x/* – будущим (категорическим), */ba/* – перфектом (I), */bd/* – плюсквамперфектом, или преждепрошедшим, */mbd/* – длительным преждепрошедшим, */*xb/* – будущим совершенным (см., например [Киселева 1985 : 92–94; Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982 : 174–184]). Правда, словоформы *mēdāštabāšad* и *dāštamēbāšad* к репрезентантам формы настоящего-будущего времени обычно не причисляются, и первую из них Л.Н. Киселева ошибочно (вероятно, по аналогии с таджикским языком) относит не к изъявительному, а к сослагательному наклонению (см. [Киселева 1985 : 95]). Форма */mb/* в работе [Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982] не упоминается, а в работе [Киселева 1985 : 94] именуется перфектом II. Форма */*/* иногда упоминается под названием "формы настоящего времени без префикса *mē-*" [Киселева 1985 : 92]. Форму */a/* (с репрезентантами типа *((h)a)st* и типа *dārad*) в работах по иранскому языкознанию выделять не принято. При этом, если в данной статье словоформы типа *((h)a)st* включены в парадигму глагола *budan* на правах супплетивов, то в других работах они трактуются в качестве словоформ особого глагола-связки (см., например [Киселева 1985 : 90]). Что же касается словоформ типа *dārad*, то они обычно трактуются как репрезентанты формы настоящего-будущего времени (см., например [Расторгуева, Керимова 1964 : 65]). Обоснование выделения формы */a/* здесь невозможно, так как заняло бы слишком много места; однако из дальнейшего изложения будет видно, что оперирование этой формой значительно облегчает описание.

¹² Следует заметить, что в иранистике не принято трактовать конструкции типа *zada mētawānest* в качестве личных словоформ (см. [Расторгуева, Керимова 1964 : 155–156]). Впрочем, этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения, а в дальнейшем изложении указанные конструкции просто не учитываются.

¹³ Первые две сущности выделяются Р.О. Якобсоном под названиями "сообщаемый факт" и "факт сообщения" (см. [Якобсон 1972 : 99 и сл.]); две другие сущности специально выделять не принято.

вторых, взаимное расположение этих сущностей на оси времени (временные значения).

4.1. Сущности, названные здесь "событием" и "упоминанием", обладают некоторыми важными для форм реального события свойствами, в связи с чем выделяются перечисляемые ниже грамматические категории и граммы.

Категории *и д а*, или качественной характеристики события: немаркированная грамма – событие, представляемое как целостный факт; маркама *Проц* – событие, представляемое как процесс; маркама *Атр* – событие, представляемое как атрибут упомянутого в предложении лица или предмета.

Категория *к р а т н о с т и*, или количественной характеристики события: немаркированная грамма – единичное событие; маркама *Повт* – повторяющееся (неоднократное) событие.

Категория *т о н а л ь н о с т и* упоминания события: немаркированная грамма – нейтральная тональность; маркама *Кат* – категорическая тональность (тональность объявления о событии); маркама *Дид* – дидактическая (поясняющая, назидательная) тональность.

4.2. Перечисленные выше четыре сущности выстраиваются в такую цепочку:

действие – событие – ситуация – упоминание

Каждая сущность, кроме крайней справа ("упоминание"), находится в определенном временном отношении к сущности, стоящей в этой цепочке справа от нее. Различаются три временных отношения: одновременность, следование и предшествование. В связи с этим выделяются перечисляемые ниже грамматические категории и граммы.

Категория *в р е м е н и*, или временного отношения ситуации к упоминанию: немаркированная грамма – событие, ориентированное на настоящее; маркама *Буд* – событие, ориентированное на будущее; маркама *Прош* – событие, ориентированное на прошлое.

Категория *т а к с и с а*, или временного отношения события к ситуации: немаркированная грамма – событие, совпадающее по времени с ситуацией; маркама *След* – событие, следующее за ситуацией; маркама *Пред* – событие, предшествующее ситуации.

Категория *п о р я д к а*, или временного отношения действия к событию: немаркированная грамма – событие, с которым связано одновременное ему или следующее за ним действие; маркама *Рез* – событие как результат предыдущего действия.

4.3. Таким образом, в состав форм реального события способны входить в общей сложности 16 грамм (по шесть в каждой форме), десять из которых являются маркированными граммами, или марками, а именно:

Кат, Дид, Повт, Проц, Атр, Буд, Прош, След, Пред, Рез

В дальнейшем изложении форма обозначается заключенной в косые скобки цепочкой символов входящих в нее марку, причем символы марку располагаются в символе формы в том порядке, в котором они только что перечислены; например: форма */Проц/*, форма */ПовтПрошРез/*.

В данной статье рассматриваются формы, содержащие разные комбинации из десяти вышеперечисленных марку при следующих ограничениях: во-первых, в составе формы недопустимо появление двух марку одной и той же категории (*Кат* и *Дид*, *Проц* и *Атр*, *Буд* и *Прош*, *След* и *Пред*); во-вторых, одна и та же маркама может входить в состав формы не более чем единожды.

Форм, удовлетворяющих этим условиям, теоретически насчитывается более трехсот, однако они весьма неодинаковы по степени употребительности, а некоторые из них фактически в речи вообще не встречаются.

5. ИСХОДНАЯ ФОРМЕМА РЕАЛЬНОГО СОБЫТИЯ

5.1. Исходная формаема реального события является безмаркемной (т.е. состоит из одних лишь немаркированных грамем) и символически обозначается здесь как /-/.

У слабых глаголов исходная формаема репрезентируется формой /m/, а у сильных – формой /a/; ср.: /-/ *mēzanad* /m/ "бьет", ((h)a)st /a/ "(он) есть". Например: /-/ *Doxtar xāreḡ mēšawad* /m/ *wa mādar rā tanhā mēgozārad* /m/ (N.) "Девочка выходит и оставляет мать одну" (авторская ремарка в пьесе), *Čun hakimbāši dar ejrā-ye farmān mo'attali rawā dāšta ast amr mēkonam* /m/ *čahārdastopā wāred šawad* (H.) "Поскольку главный лекарь допустил промедление в выполнении приказа, повелеваю ему войти на четвереньках", *Wahid, āuā az 'amal-at pešaymān nēsti* /a/? (N.) "Вахид, разве ты не раскаиваешься (букв.: не еси ли раскаивающийся) в своем поступке?"

Маркеры *m* и *a*, входящие в рассмотренные формы, передают маркему наклонения *Реал*, т.е. событие, представляемое как реальное. Эта маркема не входит в приведенный выше список (см. 4.3) только потому, что характеризует все формыемы реального события, и они, следовательно, не различаются между собой ее наличием и отсутствием.

5.2. Все прочие формыемы реального события считаются производными от исходной.

Маркер *a* содержится не только в форме, репрезентирующей исходную формуему, но и во всех прочих рассматриваемых здесь формах сильных глаголов и во всех формах, содержащих маркер *b*, но лишь в тех случаях, когда эти формы не содержат одновременно маркера *, *m* или *d* (см. 3.5).

Что же касается маркера *m*, то в формах, репрезентирующих неисходные формыемы реального события, он либо отсутствует, либо передает одну из видо-временных маркем. Если формаема содержит две или более маркем, передаваемых маркером *m*, то наличие каждой из них в отдельности внешне не проявляется, ибо форма не может содержать более одного маркера *m* (см. 3.5). Если одна из маркем передается маркером *, то наличие любой маркемы, способной передаваться маркером *m*, также внешне не проявляется, так как маркер *, будучи не совместим с маркером *m* (см. 3.5), "вытесняет" последний из состава форм.

В последующих шести пунктах данной статьи (пп. 6–11) в рассмотрение вводятся одна за другой все маркемы перечисленных выше (см. п. 4) грамматических категорий и описываются способы внешнего выражения каждой маркемы. Порядок введения маркем определяется соображениями удобства описания. Маркемы, не введенные в рассмотрение в предыдущих пунктах, считаются как бы временно несуществующими.

6. МАРКЕМЫ ВРЕМЕНИ: Буд и Прош

6.1. Маркема *Буд* как у слабых, так и у сильных глаголов передается маркером *m* либо сочетанием маркеров * и *x*; ср.: /-/ *mēzanad* /m/ "бьет" – /Буд/ *mēzanad* /m/ || *x(w)āhad zad* /*x/ "побьет", /-/ ((h)a)st /a/ "(он) есть" – /Буд/ *mēbāšad* /m/ || *x(w)āhad bud* /*x/ "будет". Например: /Буд/ *Pasāntar man hamrāh-e tu ba bāzār mērawam* /m/, *harā-yut but, korti-wo patlun mēxaram* /m/ (N.) "Потом я пойду с тобой в магазин и куплю тебе башмаки, пиджак и брюки", *Dar ān waqt az markaz ba šomā dastur-e digar xwāhad rasid* /*x/ (B.) "Тогда из центра вам поступит другое указание", *Haminjā mēbāšēm* /m/, *dar kenār-e hamin sanglākhā* (M.) "Мы побудем здесь, среди этих камней".

6.2. Маркема *Прош* как у слабых, так и у сильных глаголов передается маркером *d*; ср.: /-/ *mēzanad* /m/ "бьет" – /Прош/ *zad* /d/ "(он) побил", /-/ ((h)a)st /a/ "(он) есть" – /Прош/ *bud* /d/ "(он) (по)был". Например: /Прош/ *Pesarak bā šonidan-e in sadā istād* /d/ *wa ba 'aqeb negāh kard* /d/ (N.) "Мальчик, услышав этот оклик, остановился и огля-

нулся назад", *In xabar-e nābahangām čonān jān-o del-aš rā besōxt* /d/ ke bēdarang bar mazār-e ō šetāft /d/ wa čandān dar ānjā begerist /d/ ke xāk-e yār rā yarq-e ašk-e xunbār kard /d/ "Эта неожиданная весть настолько *опалила* его душу и сердце, что он тотчас же *поспешил* на ее могилу и *рыдал* там так долго, что *оросил* прах возлюбленной кровавыми слезами", *Digar padar-am ba xāna-ye Feraydun naraft* /d/ (N.) "Больше мой отец не *ходил* в дом Феридуна", *Šamšād lahza-yē sāket bud* /d/, ba'd čašmhā-yaš rā ba āsmān dōxt /d/ (M.) "Шамшад немного помолчал (букв.: мгновение *побыл* молчащим), а затем *устремил* свой взор к небу".

7. МАРКЕМЫ ВИДА: *Проц* и *Амр*

7.1. Маркема *Проц* у слабых глаголов передается маркером *m*. Внешне ее наличие находит проявление при одновременном наличии меркемы *Прош*; ср.: */Прош/ zad* /d/ "(он) побил" – */ПроцПрош/ mēzad* /md/ "(он) бил". Например: */ПроцПрош/ Oīāq dawr-e sar-aš mēčarxid* /md/ wa gōšhā-yaš beng-beng mēkard /md/ (K.) "Комната *кружилась* вокруг него (букв.: вокруг его головы), а в ушах *звенело*", *Nasim-e molāyey-e bahār rawān-e ādam rā tāza mēkard* /md/ "Легкий весенний ветерок *освежал* душу"¹⁴. В прочих случаях наличие маркемы *Проц* никак не проявляется (см. 5.2); например: */Проц/ Laylā rō-ye bestar oftāda ast-o majalla mēxānad* /m/ (N.) "Лейла *лежит* на постели и *читает* журнал", *Bāz ham xanda, bas kon digar, āxer man bā tu jēddi sohbat mēkonam* /m/ (M.) "Опять *смеешься*, *перестань*, ведь я *говорю* с тобой серьезно"; */ПрошБуд/ Injā čōchāhā xāhand gašt* /*x/ (Z.) "Цыплята *здесь будут гулять*".

У сильных глаголов маркема *Проц* внешнего выражения не получает; например: */Проц/ Pesar lebāshā-ye kohna ba tan dārad* /a/ (N.) "Мальчик *одет* в лохмотья" (букв.: "Мальчик *имеет* на теле старые одежды"); */ПроцБуд/ Agarče rofaqā-ye mā ham motawājjeh-etān mēbāšand* /m/ (H.) "Правда, наши товарищи тоже *будут наблюдать* (букв.: *будут наблюдающими*) за вами"; */ПроцПрош/ Az čiz-ē mobham-o nāgoftani nārāhat bud* /d/ wa 'ellat rā namēdānest (K.) "Он *был* обеспокоен чем-то неясным и невыразимым и не *знал* причины". Впрочем, у глагола *budan* "быть" формама */Проц/* может репрезентироваться (вероятно, по аналогии со слабыми глаголами) и формой /m/; например: *Āxer dar xāna entezār-am mēbāšand* /m/ (M.) "Ведь меня *ждут* (букв.: *пребывают* в ожидании меня) дома".

¹⁴ В иранистической литературе семантические различия между формами /d/ и /md/ (простого прошедшего, или претерита, и длительного прошедшего, или имперфекта) усматриваются обычно в не-выраженности/выраженности значения длительности. Принято считать, что в форме простого прошедшего времени "видовая характеристика действия... совсем не отражена: она лишь констатирует тот факт, что действие совершилось в прошлом. Какого характера было это действие, как оно протекало, было ли оно длительным или кратким, однократным или многократным, совершенным или несовершенным, в этой форме не отражено. Все это может быть выявлено только из контекста" [Расторгуева, Керимова 1964 : 41]. Что же касается формы длительного прошедшего времени, то ей, как принято считать, "в противоположность простому прошедшему времени свойственно отчетливо выраженное видовое значение. Она служит для указания на известную протяженность, длительность прошедшего действия" [Расторгуева, Керимова 1964 : 48]. Если бы вышесказанное было верно, то при выражении длительного события эти формы могли бы свободно заменяться одна другой без изменения смысла. В действительности, однако, это не так, и, следовательно, семантические различия между формами /d/ и /md/ лежат в иной плоскости: они, по-видимому, сходны с различиями между формами претерита (аориста) и имперфекта в некоторых романских языках. Так, о французском языке сказано: "...претерит представляет действие как глобальное, целостное, а имперфект обозначает расчлененное действие в прошлом, действие, одна часть которого уже совершилась, а другая еще совершалась" [Реферовская 1984 : 97]. А о латыни сказано: "Аорист продвигает повествование вперед, он говорит о том, что случилось потом, тогда как имперфект задерживается на условиях, существовавших в этот период, и описывает их более или менее обстоятельно" [Есперсен 1958 : 322].

7.2. Маркема *Amp* по внешнему выражению совпадает с маркемой *Проц* (см. 7.1)¹⁵; например: /*Amp*/ *Adabeuyāt ensān rā kamāl mēbaxšad /m/* (N.) "Литература совершенствует человека (букв.: *дарум* совершенство)", *Xōrdan-e sabziyāt-e tāza besyār jāyeda dārad /a/* "Есть свежие овощи очень полезно (букв.: *имеет* пользу)"; /*Amp*Буд/ *Marḡalari gāw-e mā šir-e farāwān xāhad dād /*x/* (B.) "Наша корова Маргалаги будет давать много молока"; /*Amp*Прош/ *Qabila-ye Qorayš az hama bēštar lozum-e markazeuyat-o nazm-e edāri rā ehsās mēkard /md/* (Г.) "Племя курейшитов более других ощущало необходимость в централизации и упорядочении управления".

Правда, у глагола *budan* "быть" формама /*Amp*/ (как и /*Проц*/ – см. 7.1) может репрезентироваться не только формой /*a*/, но и формой /*m*/; например: /*Amp*/ *Taryāk az mawādd-e toxaddera mēbāšad /m/ wa az buta-ye kōknār ba dast mēāyad* (B.) "Опиум (*есть*) один из наркотиков и добывается из мака". Часто обе формы из стилистических соображений употребляются попеременно; например: /*Amp*/ *Mahtāb yā qamar-e Zamin yaḡāna jesm-ē-st /a/ ke ba korra-ye Zamin nazdik mēbāšad /m/* "Луна, или спутник Земли, – (*есть*) единственное небесное тело, близкое (букв.: которое *есть* близко) к земному шару".

8. МАРКЕМА ПОРЯДКА: *Рез*

8.1. Маркема *Рез* способна входить только в состав формем слабых глаголов (да и то не всех) и получает внешнее выражение лишь при наличии маркемы *Проц*, передаваясь в этом случае маркером *b*; ср.¹⁶: /*Проц*/ *mēnešinad /m/* "садится" – /*ПроцРез*/ *nešasta (ast) /ba/* "сидит" (т.е. "(он) *есть* севший"). Например: /*ПроцРез*/ *Čerā šomā čahār nafar dar injā istāda-yēd /ba/?* "Почему вы четверо здесь стоите (букв.: *есть* вставшие)?", *Dar ān waqt hāl-aš xēlē bad bud, šokr-e Xodāwand ke hālā xub šoda ast /ba/* (M.) "Тогда ему было очень плохо, слава Богу, что теперь он выздоровел (букв.: *есть* сделавшийся здоровым)"; /*ПроцБудРез*/ *Agar in hama šawq-e 'elm rā zāda-ye tājassos-e zehni-ye ō begōyēm xatā karda xwāhēm bud /*xb/* "Если мы весь этот его интерес к науке признаем следствием пытливости ума, то впадем в ошибку (букв.: *будем* совершившими ошибку)"; /*ПроцПрошРез*/ *Hāfezhā dast ba dast-e ham dāda budand /bd/* (F.) "Чтецы Корана (т.е. слепцы) держались за руки (букв.: *были* давшими друг другу руки)".

При отсутствии маркемы вида маркема *Рез* внешнего выражения не получает; например: /*БудРез*/ *Tā nāwaqthā mēnešinēm /m/* "Мы посидим (т.е. побудем севшими; букв.: *сядем*) допоздна"; /*ПрошРез*/ *Mahmud Tarzi ba Kābol āmad-o noh mātāh sokunat gozid /d/* (Hi.) "Махмуд Тарзи приехал в Кабул и прожил там (т.е. пробыл поселившимся; букв.: *поселился*) девять месяцев". Не получает маркема *Рез* внешнего выражения и при наличии маркемы *Amp*; например: /*AmpРез*/ *In mory ham bā mā-st, dar saff-e mā mēistad /m/* (Z.) "Этот петух тоже с нами, стоит (т.е. является вставшим; букв.: *встает*) в наших рядах", *Daryā-ye Jāyhun dar šamāl in kešwar rā az Āsyā-ye Markazi Jodā mēkonad /m/* (Г.) "Река Джейхун (Амударья) на севере *отделяет* (т.е. является отделившей) эту страну (Афганистан) от Средней Азии"; /*AmpПрошРез*/ *Az 'omr-e ān qal'a bēš az dosad sāl mēgozašt /md/* "Той крепости было уже (букв.: с возраста

¹⁵ Различие между маркемами *Amp* и *Проц*, как будет показано далее (см. 8.1), внешне проявляется лишь при наличии маркемы *Рез*.

¹⁶ Здесь и далее для иллюстрации особенностей внешнего выражения маркемы *Рез* ради наглядности используется не эталонный глагол *zadan*, а глагол *nešastan* "садиться" – один из трех, традиционно относимых к глаголам состояния (см., например [Расторгуева, Керимова 1964 : 61]). Следует, впрочем, оговориться, что в действительности число глаголов (в том числе и входящих в состав глагольных фразеологизмов), формы которых способны включать маркему *Рез*, в дари и близкородственных ему языках значительно превышает три (см. [Фуругиян 1971]), и эти глаголы в основном укладываются в перечень семантических групп, приводимых в работе [Недялков, Яхонтов 1983 : 17].

той крепости *проходило*) более двухсот лет", A'zā-ye xānawāda-ye Golām ba dah nafar mērasidand /md/ (A.) "Семья Гуляма насчитывала десять человек" (т.е. "Члены семьи Гуляма были дошедшими (букв.: *доходили*) до десяти человек")¹⁷.

8.2. Отсутствие маркемы *Рез* может означать не только одновременность действия упоминаемому событию, но и следование действия за событием, т.е. событие как готовность к последующему действию; например: /Проц/ Ma-rā mēkoši /m/? (Z.) "Ты намерен убить меня?"; /Буд/ Dar in čand māh-ē ke 'arōsi mēkonam /m/ kār-o ʔaribi mēkonam, pul paydā mēkonam "В течение этих нескольких месяцев, которые останутся до моей женитьбы (т.е. которые я *проведу* в намерении *жениться*), я буду трудиться и зарабатывать деньги"; /ПроцПрош/ Ō noxost darwāza rā namēgošud /md/ (H.) "Сначала он *не хотел открывать* дверь".

9. МАРКЕМА КРАТНОСТИ: Повт

Маркема *Повт* передается маркером *т*: у слабых глаголов – обязательно, а у сильных – факультативно.

У слабых глаголов наличие маркемы *Повт* внешне проявляется, во-первых, при наличии маркемы *Прош* и отсутствии маркем вида (*Проц* и *Амп*), а во-вторых, при одновременном наличии маркем *Проц* и *Рез* и отсутствии маркемы *Буд*; ср.: /Прош/ zad /d/ "(он) побил" – /ПовтПрош/ mēzad /md/ "(он) иногда бил", "(он) бивал"¹⁸; /ПроцРез/ nešasta (ast) /ba/ "сидит" (т.е. "(он) есть севший") – /ПовтПроцРез/ nešasta mēbāšad /mb/ "(иногда) сидит" (т.е. "бывает севшим"). Например: /ПовтПрош/ Āwāz-e yaknawāxt-e bārān rā gāh-gāh sadā-ye ra'd mēborid /md/ (Z.) "Монотонный шум дождя то и дело *прерывали* раскаты грома"; /ПовтПроцРез/ Rōdxānahā-ye sēlābi 'alal'otum xoškida mēbāšad /mb/ "Паводковые речушки обычно *пересыхают* (букв.: *бывают высохшими*)"; /ПовтПроцПрошРез/ Dar hāl-ē ke čārzānu nešasta mēbud /mbd/ čašmān-aš rā mēbast (H.) "Сидя по-турецки (букв.: в том состоянии, что она *бывала* севшей, скрестив ноги), она *закрывала* глаза". В других случаях наличие маркемы *Повт* внешнего проявления не находит (см. 5.2); например: /Повт/ Sobh sar-e kār-at nāwaqt mēāy /m/ (N.) "По утрам ты *опоздываешь* на работу"; /ПовтБуд/ Ya'ni man māhāna ranjsad afʔāni ba dast mēāwaram /m/? (N.) "Значит, я каждый месяц *буду* получать пятьсот афгани?"; /ПовтАмпРез/ Man ham gōsfandān-e bādār-e hod rā iā šāmhā ba čarā mēbaram /m/ (H.) "А я до вечера пасу (т.е. *бываю* угнавшим на пастбище; букв.: *угоняю* на пастбище) овец своего хозяина".

У сильных глаголов наличие маркемы *Повт* внешне проявляется (хотя и не обязательно) при отсутствии маркемы *Буд*; ср.: /–/ ((h)a)st /a/ "(он) есть" – /Повт/ mēbāšad /m/ || ((h)a)st /a/ "бывает". Например: /ПовтПроц/ Dar in waqt hawā na besyār garm wa na bešyār sard mēbāšad /m/ "В это время *бывает* не слишком жарко и не слишком холодно"; /ПовтАмп/ Sabzihā-ye nāpoxta rā bāyad awwal šosta ba'd sarf konēm čerā ke dar bayn-e pōst-e ānhā mākrobbhā wōjud mēdāštabāšad /m/ "Сырые овощи мы должны сначала мыть, а потом есть, так как в их кожуре имеются (букв.: *обычно имеют* существование) микробы"; /ПовтПрош/ Mā ta'mulan sā'athā-ye awwal yā

¹⁷ Наличие маркемы *Рез* – единственный случай, когда находит внешнее проявление различие между маркемами *Проц* и *Амп*; ср.: /ПроцРез/ Az kojā āmada ast /ba/? "Откуда он пришел (букв.: *есть* пришедший)?" – /АмпРез/ Az kojā mēāyad /m/? "Откуда он родом (букв.: *приходит*)?" – /ПроцПрошРез/ Man ānjā nešasta budam /bd/ "Я сидел (букв.: *был севшим*) там" – /АмпПрошРез/ Man ānjā mēnešastam /md/ "Я проживал (букв.: *садился*) там".

¹⁸ Следует подчеркнуть, что речь идет о многократности события, но не действия. Многократность действия в отличие от многократности события морфологического выражения в глаголе *дари* не получает, ср.: yak bār zad "(он) ударил один раз" и čandin bār zad "(он) ударил (ударял) несколько раз" (но: har bār mēzad "(он) ударял каждый раз").

dowwom reyāzi mēdāštēm /md/ (N.) "Обычно первый или второй урок у нас бывал уроком математики (букв.: мы *обычно имели* математику)". Примеры на невыраженность маркемы *Повт*: */Повт/ Āšnā, māhhā man dar safar astam /a/, zan-am dar xāna tanhā-st /a/* (H.) "Приятель, я месяцами *бываю* в разъездах, а моя жена дома (*бывает*) одна"; */ПовтПров/ Gezā sard mēšod wali kas-ē hāzer nabud /d/ az kenār-e taxtaye šatranj boland šawad* (N.) "Еда остывала, но никто не хотел (букв.: *не бывал* готов) отрываться от шахматной доски". При наличии маркемы *Буд* маркема *Повт* внешнего проявления не находит никогда (см. 5.2); например: */ПовтБуд/ Sar az fardā man har rōz ba'd az čāšt dar daftar mēbāšam /m/* "Начиная с завтрашнего дня, я каждый день после обеда *буду* (т.е. буду *бывать*) в конторе".

10. МАРКЕМЫ ТАКСИСА: *След* и *Пред*

10.1. Маркема *След* как у слабых, так и у сильных глаголов передается маркером *т* или (при отсутствии маркера *d*) сочетанием маркеров *** и *х*.

У слабых глаголов наличие маркемы *След* внешне проявляется, во-первых, при отсутствии всех других маркем (в этом случае внешнее проявление маркемы *След* необязательно), а во-вторых, при наличии маркемы *Пров* и отсутствии маркем *Проц*, *Атр* и *Повт*; ср.: */-/ mēzanad /m/* "бьет" – */След/ mēzanad /m/ || x(w)āhad zad /*x/* "побьет (после этого)", "(он) должен побить"; */Пров/ zad /d/* "(он) побил" – */ПровСлед/ mēzad /md/* "(он) бил (после этого)", "(он) должен был побить". Например: */След/ In hamān kas-ē-st ke šomā rā rahnamāyi xāhad namud /*x/* "Это – тот самый человек, который вас *проводит*"; */ПровСлед/ Negāh-aš bā xeyāl-e āšofta-aš ba gōr-e tārik-ē ke mādar-aš rā lahzahā yē ba'd forōmēbord /md/ rafta bud* (Q.) "Он в смятении *смотрел* на темную могилу, которая через несколько мгновений должна была поглотить (букв.: *поглощала*) его мать". В других случаях наличие маркемы *След* внешнего проявления не находит (см. 5.2); например: */ПовтПровСлед/ Ba'd az ān har sobh edmān mēkardēm /md/* "После этого мы каждое утро должны были *делать* (букв.: *делали*) зарядку".

У сильных глаголов наличие маркемы *След* внешне проявляется при отсутствии маркем *Буд* и *Повт*; ср.: */Пров/ bud /d/* "(он) был" – */ПровСлед/ mēbud /md/* "(он) был (после этого)", "(он) должен был быть". Например: */ПровСлед/ Yak bist afyāni barā-yaš dāda budand. Bā hist afyāni d-wo mādar-e pir-aš sē-čahār rōz nān-o čāy mēdāstand /md/* (H.) "Ему дали примерно двадцать афгани. При двадцати афгани он и его старая мать на три-четыре дня были обеспечены хлебом и чаем (букв.: *должны были иметь* хлеб и чай)".

10.2. Маркема *Пред* при отсутствии других маркем как у слабых, так и у сильных глаголов передается маркером *b*; ср.: */-/ mēzanad /m/* "бьет" – */Пред/ zada (ast) /ba/* "(он) уже побил (к настоящему времени)", */-/ ((h)a)st /a/* "(он) есть" – */Пред/ buda (ast) /ba/* "(он) уже побыл (к настоящему времени)". Например: */Пред/ Man Mahmud Tarzi rā dar 'omr-e xod yak bār dida-am /ba/* (Hi.) "Я за свою жизнь *видел* Махмуда Тарзи один раз", *Haftād sāl ast ke bā in mardom ba sar borda-am /ba/, dar talx-o širin-e rōzgār bā ānhā šarik buda-am /ba/* "Я *прожил* с этими людьми уже семьдесят лет, делил с ними все превратности судьбы (букв.: *побыл* с ними партнером в горечи и сладости рока)", *Az ān zamān tā hālā in korra-ye xāki hazār dafā madār-aš rā dawr zada ast /ba/* (Z.) "С того времени до сего дня земной шар *совершил* тысячу оборотов по своей орбите".

При наличии маркемы времени (*Буд* или *Пров*) маркема *Пред* у слабых глаголов также передается маркером *b*; ср.: */Буд/ mēzanad /m/ || x(w)āhad zad /*x/* "побьет" – */БудПред/ zada mēbāšad /mb/ || zada x(w)āhad bud /*xb/* "уже побьет", */Пров/ zad /d/* "(он) побил" – */ПровПред/ zada bud /bd/* "(он) уже побил (до определенного момента в прошлом)". Например: */БудПред/ Tā ān waqt barghā zard šoda mēbāšad /mb/* "К тому

времени листья уже пожелтеют", *Tā tu beyāyi ketābhā rā āwarda xāhand bud* /*xb/ "Пока ты приедешь, они уже принесут книги"; /ПрошПред/ *Šab-e gozašta sēl sarāzēr šoda bud* /bd/ *wā dar sahn-e āsyā gel-e zaxim-ē rā xābānda bud* /bd/ (Н.) "Накануне ночью сошел сель и покрыл двор мельницы толстым слоем глины (букв.: уложил во дворе мельницы толстый слой глины)", *Sepas az tamām-e gaphā-yē ke gofta bud* /bd/ *satimāna pōzeš xāst* (К.) "Затем он попросил прощения за все то, что (ранее) сказал". У сильных глаголов в этих случаях маркема Пред внешнего выражения не получает, так как эти глаголы не образуют форм /mb/, /*xb/ и /bd/ (см. 3.5); например: /ПрошПред/ *Mā qabl az ān do sāl xāreḡ budēm* /d/ "Мы еще раньше два года *пробыли* за границей".

При наличии маркемы вида (Проц или Амр) и отсутствии маркемы времени маркема Пред у всех глаголов передается маркером *d*; ср.: /Проц/ *mēzanad* /m/ "бьет" – /ПроцПред/ *mēzad* /md/ "(он) бил (до настоящего времени)". Например: /ПроцПред/ *Man ān ādam-ē rā ke pēštar bā way sohbat mēkardi* /md/ *ba-xubi mēšenāsam* "Я хорошо знаю человека, с которым ты только что *разговаривал*"; /АмрПрош/ *Tā hāl kōjā zendagi mēkardand* /md/? (Н.) "Где они жили до сих пор?" Однако при одновременном наличии маркемы вида и маркемы времени маркема Пред внешнего выражения не получает; например: /ПроцБудПред/ *Tā digar šawad hamīnjā kār mēkonam* /m/ "Я до вечера (букв.: пока не наступит вечер) *буду работать* здесь"; /АмрПрошПред/ *Padar-o pesar dānestand ānče rā namēfahmidand* /md/, *didand ānče dar warā-ye parda-ye pendār-ešān mastur bud* /d/ (Х.) "Отец и сын поняли то, чего (ранее) не понимали, и увидели то, что (ранее) было скрыто пеленой от их сознания"; /ПроцПрошПред/ *Dar bāḡča-ye Hāji bā digar doxtarān mašḡul-e tamāšā bud* /d/ *ke yak bār nōkarhā-ye Hāji bā čōb bar ānhā hojūm āwarda budand* (Ф.) "Она с другими девочками в палисаднике Хаджи смотрела (еще раньше) на происходящее (букв.: была занята созерцанием), как вдруг слуги Хаджи с палками набросились на них".

При наличии маркемы Пред маркема Повт внешнего выражения не получает; например: /ПовтПрошПред/ *Wa man fawran dāstān-ē rā ke naql karda budam* /bd/ *mēxāndam* (Н.) "И я (каждый раз) тотчас же читал рассказ, который (до того) *непенукал*", *Hamēša bar košta-ye āhowān mēgerist, bar na'š-e gōsfand-ē ke gorg ān rā darrida bud* /bd/ *derēḡ mēxōrd* (Х.) "Он всегда плакал над убитыми косулями и горевал над трупом овцы, которую *растерзал* волк".

11. МАРКЕМЫ ТОНАЛЬНОСТИ: Кат и Дид

11.1. Маркема Кат при отсутствии других маркем у слабых глаголов передается маркером *d*; ср.: /–/ *mēzanad* /m/ "бьет" – /Кат/ *zad* /d/ "бьет!" (букв.: "ударил!"). Например: /Кат/ *Ba Xodā qasam, bāwar konēd!* – *Dorost ast, dorost ast, bāwar kardam* /d/, *bāwar kardam* /d/! (М.) "Заклинаю вас Богом, поверьте! – Хорошо, хорошо, верю, верю (букв.: (я) *поверил!*)", *Čand bār faryād-aš barāmad: Āx! Mordam* /d/! (З.) "Несколько раз он воскликнул: 'Ой! Умираю!' (букв.: (я) *умер!*)", *Xu, borō, az xāter-e gol-e rō-yat har do xarita-at rā ba čehel afḡāni xaridam* /d/! (В.) "Ну, ладно, ради твоего прекрасного лица покупаю (букв.: (я) *купил*) оба твоих мешочка за сорок афгани!" У сильных глаголов маркема Кат в этом случае внешнего выражения не получает; например: /Кат/ *Mā taslim asēm* /a/! (А.) "Мы сдаемся (букв.: *есмы* сдавшиеся!)", *Qabul dāram* /a/! "Согласен (букв.: *имею* согласие!)"

При наличии маркемы Прош наличие маркемы Кат внешне никак не проявляется, однако маркема Повт в этом случае не получает выражения; например: /КатПовтПрош/ *Har jā ke ketāb-ē rā ba dast āward* /d/ *az nazar gozaštānd* /d/ "Везде, где он доставал (букв.: *достал*) книгу, он просматривал (букв.: *просмотрел*) ее".

11.2. Маркема *Дид* в сопровождении одной лишь маркемы *Амр* либо при отсутствии всех других маркем как у слабых, так и у сильных глаголов передается маркером *; ср.: */Амр/ mēzanad /m/* "бьет" (констатация) – */ДидАмр/ zanad */* "бьет" (разъяснение); */–/ ((h)a)st /a/* "(он) есть" (констатация) – */Дид/ bāšad */* "(он) есть" (разъяснение). Например: */ДидАмр/ Mardom-e Parwān tofang rā kamān nāmand */* (X.) "Жители Парвана называют ружье луком" (пояснение к основному повествованию), *Xar či dānad */ qadr-e halwā-wo nabāt?* (K.) "Что понимает осел в достоинствах халвы и леденцов?" (крылатое выражение, соответствующее русскому фразеологизму *метать бисер перед свиньями*); */Дид/ Mostahaqqin ba šakl-e helāl-ē ke dēg setāra-ye ān bāšad */ sē metr durtar az ān saff kašida budand* (F.) "Бедняки (пришедшие за бесплатным пловом) стояли полукругом, центром которого был котел (букв.: в форме полумесяца, звезда которого *есть* котел), на расстоянии трех метров от него".

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Как видно из изложенных фактов, десять маркем, способных входить в формемы реального события, в тех случаях, когда они получают внешнее выражение, передаются всего шестью маркерами: маркемы, характеризующие событие (*Проц*, *Амр* и *Повт*), – маркером *m*, маркемы, указывающие на следование (*Буд* и *След*) – маркером *t* или сочетанием маркеров * и *x*, маркемы, указывающие на предшествование (*Прош*, *Пред* и *Рез*), – маркером *d* или *b*, а маркемы, характеризующие тональность упоминания (*Кам* и *Дид*), – маркером *d* или *.

Столь нечеткая дифференциация внешнего выражения разных маркем приводит к многозначности практически всех видо-временных форм изъявительного наклонения. Например, форма */d/* у слабых глаголов репрезентирует такие формемы реального события, как */Прош/*, */ПрошРез/*, */Кам/*, */КамПовтПрош/* и др., а у сильных – */Прош/*, */ПроцПрош/*, */АмрПрош/*, */ПовтПрош/* и др. Количество формем, репрезентируемых некоторыми другими формами (такими, как */m/*, */md/*), по-видимому, еще больше, причем значения этих форм чаще всего не сводимы к единому "инварианту".

Рассмотренный материал показывает, что соответствия между формами и их значениями в общем случае не являются взаимоднозначными: одна и та же форма передает несколько разных значений, а одно и то же значение зачастую передается несколькими разными формами. В связи с этим возникает вопрос о предпочтительности семасиологической либо ономасиологической направленности при описании форм и их значений. В иранистике, как уже говорилось выше (п. 1), господствует семасиологический подход. Спрашивается, оправданно ли допущенное в данной работе нарушение сложившейся традиции?

На этот вопрос должен быть дан, как представляется, положительный ответ, так как ономасиологическое описание морфологической системы имеет ряд преимуществ перед семасиологическим (см., например [Кибрик 1992: 123 и далее]). В частности, ономасиологический подход в отличие от семасиологического предполагает вскрытие не только системы форм, но и системы их значений – системы в подлинном смысле этого слова, с конечным числом членов и дифференциальных признаков.

Что еще важнее, ономасиологический подход в отличие от семасиологического позволяет удерживать морфологическое описание в рамках собственно морфологии. Действительно, семасиологическое описание, сколь бы детально оно ни было выполнено, не дает возможности построить такую модель перехода от форм к значениям, которая давала бы однозначный результат без обращения к иным уровням и аспектам языка. Например, обнаружив в тексте на дари форму */ba/* одного из "глаголов состояния" (например: *nešasta (ast)*), невозможно установить, не обращаясь к контексту,

репрезентирует ли она формулу /Пред/, /ПроцРез/ или /ПроцПредРез/¹⁹ В то же время, построение модели перехода от значений к формам, не выходящей за пределы собственно морфологии, вполне возможно. Например, по этой модели можно, не обращаясь к контексту, установить, что формула /Пред/ репрезентируется формой /ba/. Таким образом, ономазиологическое описание, на основе которого возможно построение такой модели, является более полным и логически более стройным, нежели описание семасиологическое (см [Островский 1995])

Тот метод изложения фактов языка, который реализован в данной статье, позволяет описать способы выражения грамматических значений не только в формах изъявительного наклонения глаголов дари, но и в прочих их модально-видо-временных формах, и во всех их личных формах в целом (для этого необходимо добавить к рассмотренным здесь шести маркерам еще не менее восьми, а к десяти маркерам – еще не менее шестнадцати)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гак В Г 1985 – К типологии функциональных подходов к изучению языка // Проблемы функциональной грамматики М, 1985
- Даниленко В П 1988 – Ономазиологическое направление в истории грамматики // ВЯ 1988 № 3
- Дорофеева Л Н 1960 – Язык фарси кабули М, 1960
- Есперсен О 1958 – Философия грамматики / Перев с англ М, 1958
- Ефимов В А Расторгуева В С Шарова Е Н 1982 – Персидский, таджикский, дари // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Западная группа, прикаспийские языки М, 1982
- Кибрик А Е 1992 – Соотношение формы и значения в грамматическом описании // Кибрик А Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания М, 1992
- Киселева Л Н 1976 – О так называемых формах дубитатива в языке дари // Индийская и иранская филология. Вопросы грамматики М 1976
- Киселева Л Н 1985 – Язык дари Афганистана М, 1985
- Маслов Ю С 1987 – Перфектность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис Л, 1987
- Миколаичик В Н 1974 – Имперфект и претерит в системе глагольных форм прошедшего времени современного языка дари / Дис. канд. филол. наук М, 1974
- Недьялков В П Яхонтов С Е 1985 – Типология результативных конструкций // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) Л, 1983
- Островский Б Я 1989 – О грамматических значениях модальных и видо-временных форм глагола дари // Вестн. МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 1989 № 1
- Островский Б Я 1990 – Глагол языка дари. Дифференциальные признаки личных форм // Вестн. МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 1990 № 3
- Островский Б Я 1991а – Грамматические значения личных форм глагола дари М 1991
- Островский Б Я 1991б – К описанию значений личных форм глаголов дари. Ст. 1. Граммы и их соотношения с маркерами // Вестн. МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 1991 № 2
- Островский Б Я 1992 – К описанию значений личных форм глаголов дари. Ст. 2. Формы и их соотношения с формами // Вестн. МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 1992 № 1
- Островский Б Я 1995 – О структурно ономазиологической морфологии // Лингвистика на исходе XX века. Итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. Т. II М 1995
- Пахалина Т Н 1964 – К характеристике кабульского просторечия // Индийская и иранская филология М 1964
- Расторгуева В С Керимова А А 1964 – Система таджикского глагола М, 1964
- Реферовская Е А 1984 – Аспектуальные значения французского глагола // Теория грамматического значения и аспектологические исследования Л, 1984
- Фархад Р 1974 – Разговорный фарси в Афганистане / Перев с франц М 1974
- Фуругиян Г А 1971 – Некоторые соображения по поводу персидских глаголов состояния // Иранская филология М 1971
- Храковский В С 1985 – Типы грамматических описаний и некоторые особенности функциональной грамматики // Проблемы функциональной грамматики М 1985
- Якобсон Р О 1972 – Шифтеры, глагольные категории и русский глагол / Перев с англ // Принципы типологического анализа языков различного строя М 1972

¹⁹ См [Фуругиян 1971: 75–76] ср. также различие акционального перфекта, статального перфекта и промежуточных случаев в работе [Маслов 1987: 196]

© 1995 г.

С.И. ИОРДАНИДИ, В.Б. КРЫСЬКО

ДРЕВНЕРУССКИЕ ИННОВАЦИИ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ. II*

После того как мы критически рассмотрели фигурирующие в научной литературе примеры унификации косвенных падежей множественного числа и дополнили имеющиеся списки новыми материалами, перед нами встает задача теоретического осмысления этих данных. Представляется целесообразным исследовать историю распространения инновационных форм в трех аспектах – в зависимости от падежа и типа склонения, от рода и семантики существительных и от жанра и географической приуроченности соответствующих текстов.

1. Как явствует из материала, приведенного в первой части настоящей статьи, наиболее ранние и наиболее многочисленные примеры инновационных окончаний приходится на ДП: 6 фиксаций из 7 в XIII в. и 45 из 68 в XIV в. Даже если учесть естественную частотность датива как падежа косвенного объекта [Молчанова 1969б: 114–115], нельзя не признать, что относительная употребительность флексии *-ам* едва ли обусловлена только нередким использованием указанной формы. Обращает на себя внимание, в частности, тот факт, что в Прологе 1313 г. ДП *гробницамъ* 5б представлен рядом с двумя локативными формами *въ гробницехъ* 5б, 5г, а в Нибуровом мире 1392 г. семь новых форм ДП противостоят лишь трем старым, тогда как ТП *велневицами* фигурирует на фоне четырех примеров с окончанием *-и* (ср. также [Ягич 1889: 117]). Заслуживает упоминания и то обстоятельство, что среди 17 примеров с МП на *-ах* десять приходится на имена **jo*-основы типа *сборищахъ*, *распутьяхъ*, *мъртвяхъ*, *Гремича(х)*. В ДП подобного предпочтения какого-либо словоизменительного типа не наблюдается (ср. [Молчанова 1969б: 112–113]); уже с XIII в. практически параллельно фиксируются инновационные формы **o*-основ (*жидамъ*, *мѣстамъ*, *смердамъ*, *книжникамъ* и др. – всего 20 примеров), исконного согласного склонения, унифицировавшегося к этому времени в косвенных падежах с **o*-склонением (*жгоуптѣнамъ*, *бережанамъ*, *лубцанамъ* и т.п. – 10 примеров), и **jo*-основ (*матигорьцамъ*, *безаконитамъ*, *людгоицичамъ*, *стоуденцамъ* и т.д. – 21 пример). Отсутствие сколько-нибудь заметного преобладания образований на *-ане* над прочими существительными служит дополнительным аргументом против тезиса о преимущественном развитии новых окончаний именно в этой группе имен [Марков 1974 : 104] (ср. [Молчанова 1969б : 117]).

Думается, что разгадку предпочтительного употребления флексии *-ам* в ДП следует искать в морфонологии. Из трех косвенных падежей, подвергшихся в позднедревнерусский период междеклинационному выравниванию, лишь в ДП флексии разных склонений и разновидностей склонения различались только и исключительно гласными ⟨а⟩ и ⟨о⟩, ср.: *женѣм* – *плодомъ* – *конемъ* (фонологически ⟨н'о⟩) – *сыномъ* – *гостемъ*; в МП сохранялось различие *-ах/-ѣх/-их/-ох* (*-ех*) (ср. в ЛН формы *въ домѣхъ*, *людехъ*, *въ ботарехъ*, *на городищанохъ* [Дыбо 1988 : 83–95]); в ТП флексии **ā-* и **o-*

* Первую часть статьи см.: ВЯ. 1995. № 4.

склонений вообще не совпадали (женами – плоды, кони)¹. Кроме того, по отдельным падежам существенно варьировался конечный согласный основы: если в ДП он был твердым как в **ā*-, так и в **o*-склонениях, то в МП **o*-основы, в противоположность **ā*-склонению, имели палатализованный согласный (женах – но плодѣх, ср. [Молчанова 1965; 1969а : 140]).

В свете сказанного неудивительно, что наиболее активно в письменности XIII–XIV вв. старая флексия вытеснялась в формах ДП: очевидно, для пишущих замена -ом на -ам, укладывающаяся в рамки обычного чередования ⟨а⟩/⟨о⟩, представлялась более допустимой, чем замена, например, -ѣх на -ах или, тем более, -ы на -ами (ср. высказывание И.В. Ягича: "...переход из *o* в *a* вообще самый близкий" [Ягич 1889 : 116]).

Этому выводу едва ли противоречит древнейший пример инновационной формы МП – на *церевахъ* (вместо *черевѣхъ*), засвидетельствованный одновременно с новообразованиями на -ам. Реализуя общий импульс к унификации форм, объединенных одинаковыми финалями (-м и -х), МП, однако, усваивал флексию -ах гораздо медленнее, чем ДП – флексию -ам: в то время как новгородские берестяные грамоты XIV в. демонстрируют для ДП только новое окончание (ка~~м~~нецамо, ко дес~~а~~сца~~м~~о, к новгородцамо), в МП форма *церевахъ* в течение всего рассматриваемого периода остается изолированной (ср.: на м~~а~~с[ѣх]о ГрБ № 575, втор. пол. XIII в.; на жѣлезехо 750, нач. XIV в.; во проторѣхо 366, втор. пол. XIV в.; в недоборехъ (bis) 463, XIV/XV вв.; [т]орокехъ 521, XIV/XV вв.². Но если даже в диалектной речи Новгорода замена исконного **o*-основного окончания -ѣх **ā*-основным -ах встречала столь значительное сопротивление, то в книжном языке, и особенно в памятниках традиционного содержания, более или менее активное отражение данного процесса, первоначально даже в виде lapsus calami, случайных обмолвок, должно было максимально зависеть от степени противопоставленности новых форм традиционным. Именно поэтому подавляющее большинство примеров МП на -ах в церковно-книжных текстах встречается после исконно мягких согласных – иначе говоря, в тех позициях, где проникновение нового окончания не приводило к изменению облика основы: *сборищихъ* → *сборищахъ*, *распутыхъ* → *распутяхъ*, *мрътвѣщихъ* → *мрътвѣцахъ*. В то же время появление форм *гѣлахъ*, *верпахъ*, *смердахъ* и т.п. дает основание заключить, что ко второй половине XIV в. процесс зашел в народно-разговорном языке уже слишком далеко, чтобы оставаться исключительным достоянием речевой практики и деловых текстов. От том же свидетельствует и повторение формы *гробищахъ* на соседних листах Пролога 1356 г.: если для одного случая можно допустить недосмотр писца, то повторение той же ошибки через несколько строк (как, впрочем, и на протяжении нескольких листов – ср. *сборищахъ* и *сонмищахъ* в Сийском евангелии) с несомненностью указывает, с одной стороны, на глубокую укорененность нового окончания в речи книжника, а с другой – на такую степень аномальности старой флексии с точки зрения его языкового сознания, какая уже не могла не привести к хотя бы спорадическим попыткам приблизить мертвую букву протографа к живому духу языка.

Иная ситуация складывалась в ТП, где, по словам Б. Унбегауна, "... переход от -ы к -ами был более радикальным и требовал более долгой адаптации..." [Unbegaun 1935 : 203]. Весьма показателен в данном отношении материал берестяных грамот, наиболее адекватно передающих состояние обиходной речи. Если в ДП и МП инновационные окончания появляются уже с конца XIII в. (более поздняя фиксация -ам

¹ Попытка Х. Андерсена усмотреть в ТП общий для всех склонений показатель -(и) [Andersen 1969 : 25] представляется весьма искусственной и формалистической; так как при этом остается неясным статус -м-, который едва ли может интерпретироваться как альтернант -ѣ-: плод(ѣ-и) – жена(м-и).

² Ср. также данные Н.Ф. Молчановой, отметившей в новгородских пергаменных грамотах XIV в. только новые формы ДП и только старые формы МП и ТП [Молчанова 1971 : 30–31].

объясняется, скорее всего, отсутствием дативных форм в грамотах XIII – первой половины XIV в., см. [Янин, Зализняк 1986 : 140]: *хотынѧмо* ГрБ № 600, XII/XIII вв. – и далее только *каѧнецамо* 286, сер. XIV в.), то для ТП тексты демонстрируют с рубежа XII/XIII вв. до конца XIV в. только исконные флексии: *бебры* 600, *со изросты* 483 (втор. пол. XIII в.), *со намы* 57 (перв. пол. XIV в.). Таким образом, констатируя столетний интервал между распространением *-ам*, *-ах*, с одной стороны, и *-ами* – с другой, мы не можем не применить к истории ТП формулу: *post hoc et propter hoc*.

Важнейшей дополнительной причиной вытеснения старой формы ТП традиционно считается совпадение ее с вновь возникшей формой И–ВП (*плоды*); однако, как было показано в нашей статье [Иорданиди, Крысько 1993 : 20], омонимизация номинатива и аккузатива в живой восточнославянской речи осуществлялась в XII в. – что, тем не менее, никак не отразилось в этот период на форме ТП. В древненовгородском диалекте данный фактор в **о*-склонении вообще не действовал, так как по крайней мере в XII в. здесь утвердились новые общие формы И–ВП, отличные от ТП, – *конѣ*, *столѣ* vs. *кони*, *столы*. О нерелевантности совпадения или несовпадения указанных трех форм для развития ТП на *-ами* говорит и то обстоятельство, что в склонении имен на *-ане* возникновение И–ВП на *-е* (вместо прежних форм ИП на *-е*, ВП на *-ы* при ТП на *-ы*), прекрасно иллюстрируемое фразой *а рушанъ скорбу про городищане* Ст. Р. 10, повлекло за собой развитие аналогического ТП на *-е*, засвидетельствованного формой *со вхи[ми] за[лѣ]шн(ѧ)не* в ГрБ № 492 (втор. пол. XIV в., см. [Янин, Зализняк 1993 : 172]). Отражением новой омонимии И–В–ТП служат, по-видимому, и гиперкорректные формы ТП на *-ци*, воспроизводящие чуждый новгородской речи номинатив с эффектом второй палатализации и соответствующие диалектной форме И–ВП на *-ки* (*-кѣ*): *сѣ мытари* и *грѣшници* Евангелие XIV в., 84; *сѣ книжници* 167; ср. там же: *сѣ мыtare* и *грѣшники* 137 [Бандуров 1905 : 293].

Впрочем, стремление к обобщению форм И–ВП и ТП по образцу **о*-склонения характеризовало, вероятно, не только древненовгородский диалект – оно представлено и в тверском Троицком списке ГА: *сѣ инѣми црѣвнымѣ оучители* 398. С имен муж. рода эта тенденция распространилась на парадигму морфологических *feminina*: *оградивъ бо юго тремя стѣны* ГА, 142; с плавающими *братѣи* ГБ XIV, 128г; с своими *болары*, и *слуги* ЛЛ 1377, 150 об; с своими *слуги*, и с Половцы 151. Распространенность *-ы*-форм ТП как в **о*-склонении, так и (правда, в меньшей степени) в **ѣ*-склонении, наблюдающаяся в деловой письменности вплоть до XVII в. [Шахматов 1957 : 282; Unbegaun 1935 : 201; Иорданиди 1991 : 52–53; Крысько 1994б: 120], позволяет рассматривать их не как факт гиперкоррекции, а как результат внутрипарадигмального обобщения падежных форм, не имеющего отношения к "*-а*-экспансии", но связанного с формальной и функциональной близостью прямых падежей, с одной стороны, и ТП – с другой (ср. ИП и ТП субъекта, ВП и ТП объекта).

Необходимо подчеркнуть, что, говоря – в соответствии с традицией – о замене окончаний **о*-склонения флексиями **ѣ*-склонения и, тем самым, изображая процесс устранения родовых различий во мн.ч. как однонаправленную унификацию, мы явно упрощаем ситуацию. В действительности дело обстояло сложнее. Уже с XI в. у существительных разных склонений изредка отмечаются флексии, исконно им не свойственные: *въ стр(с)тѣхъ... на ратѣхъ* Мин., 0163 (вместо обычного **і*-основного *-ѣхъ*); *наоучена... таиномъ* 61 (по др. спискам – *таинамъ*); *слоужителя таиномъ* *държавнамъ* *Хвамъ* 126; *въ въртъныхъ* 148 (правда, здесь *ѣ* вместо *ѣ* мог быть написан под влиянием двух предшествующих редуцированных); *иде къ старѣишиномъ* *жрьчьскамъ* *ЕвМилят* 1215, 1366 (РНБ, Ф. п. 1.7) [Шепелева 1972 : 8]; *причащатисѣ стѣныхъ твоихъ* *Служ* XIII, 19 (РНБ, Соф. 519); *на виселицѣхъ* *повѣшають(с)* КР 1284, 302в. В XIV в. подобные формы также встречаются, однако в условиях утверждения

окончаний *-ам, -ах* их трудно истолковать иначе, как гиперкоррекцию: лусиискамъ *поланомъ* "Елисейским полям" ГБ XIV, 152г; въ *дверицѣхъ* Пр 1383, 111г³. Впечатление ошибочной производит "одиноко стоящая" форма на *горохъ* ЛЛ 1377, 6 [Шахматов 1957 : 282]; впрочем, на фоне немногочисленных аналогичных образований в других славянских языках (ср.-болг. *въ водохъ* [Лавров 1893 : 181], словен. *personoh*, польск. *rekoch* [Orzechowska 1966 : 42, 47] она может быть интерпретирована по крайней мере как окказионализм.

С самого начала славянской письменной истории в памятниках наблюдается "неправильное" употребление родовых флексий во мн. ч. именных прилагательных и причастий: в формах, согласующихся с существительными мужского и среднего родов, спорадически появляются окончания **ā*-склонения, а в определениях, относящихся к *feminina*, – окончания **o*-склонения. Первые примеры таких "странных согласований" [Вайан 1952 : 196] предоставляет старославянский язык: в Супрасльской рукописи отмечены два сочетания – *оустомъ христосовамъ* Супр. 381, 26 [Вайан 1952 : 196], как будто не вызывающее сомнений, а также *исоусовами гвозденими* 400, 28 – написание, которое, по мнению П. Дильса, "едва ли объяснимо и, очевидно, искажено" [Diels 1932 : 160]. Дело, однако, обстоит, на наш взгляд, не столь безнадежно. На неслучайность, неосшибочность последней конструкции с точки зрения позднейших переписчиков указывает ее сохранение в Успенском сборнике XII–XIII вв.: *имѣаше сии корабль. и котѣкы желѣзны. нѣ ѿсовами гвоздиими изгорѣша* УСб, 199г. Прежде всего достаточно ясна форма *гвозденими/гвоздиими*: это ТП существительного муж. рода *гвоздени/гвоздиш* (см. [ССС : 168]); инновационная флексия *-ми* для ТП мн.ч. муж. рода **jo*-склонения в старославянском засвидетельствована и другими примерами: *оукроними* Ио. 11, 44 Асс., *зълодѣими* Супр. 92, 24 [Вайан 1952 : 112]. Вариант *гвоздиш* встречается в древнерусских текстах, хотя, к сожалению, в [СДРЯ. II : 316–317] он по ошибке дан в статье *гвоздь* вместе со словами *гвоздь* и *гвоздие*, ср.: *створи гвоздишъ железны* ПрЛ XIII, 85г; *носѣще ч(с)тныа гвоздишъ* Пр 1383, 66а; *златыми же гво(з)ды пригвоздиша* ЗЦ к. XIV, 54г и др. Тот факт, что в контексте из Супр. и УСб рядом с формой ТП на *-ми* от **jo*-основного *masculinum* употреблена не исконная **o*-основная форма ТП именного прилагательного – *исоусовы* а образование на *-ами*, объясняется, как мы полагаем, стремлением к формальному сближению согласующихся имен: коль скоро существительное приобрело флексию *-ми*, распространявшуюся в качестве "общего признака твор. п. мн.ч." [Вайан 1952 : 125–126]⁴, прилагательное тоже получило финаль *-ми*. Но поскольку в именном склонении прилагательных эта финаль имела только у форм жен. рода, закономерно, что источником инновационного окончания послужило **ā*-склонение.

Если в старославянском языке проанализированные примеры остались окказиональными⁵, то в древнерусском данное явление оказалось более продуктивным. Нам

³ Форма МП *краицѣхъ* КН 1280, 511б относится скорее не к *femininum* *краица* [СДРЯ. IV : 283], а к *masculinum* *краиць* (т.е. "краёк").

⁴ С учетом раннего, еще праславянского взаимодействия **o*- и **и*-склонений это окончание логично трактовать как генетически **и*-основное; по-видимому, первоначально оно распространилось на односложные **o*-*masculina*, затем – неодносложные, а потом и на прочие существительные **o*-склонения, включая его мягкий вариант как мужского, так и среднего родов, ср. в Мин.: *грѣхъми* 0123, 332, *цвѣтъми* 51, *ликъми* 344 – *образъми* 373 – *оучениѣми* 027, *оружиими* 061, *страданиями* 0142, *блистаниѣми* 0161, 432, *сѣдѣниими* 0162 и др. Прямое заимствование *-ми* в мягкую разновидность **o*-склонения из **и*-основ [Вайан 1952 : 112] представляется маловероятным ввиду того, что унификация этих парадигм (причем только в муж. роде) является процессом относительно поздним. (Отметим, кстати, интересный пример **и*-основной флексии ДП ед.ч. *-ови* в **jo*-*neutrum*: *самовластиеви* ГБ, 116, XI в.).

⁵ Наличие *-а*-окончаний у прилагательных и причастий, относящихся к **ā*-основным существительным муж. рода (*старѣшнинамъ галилѣискама* Мр. 6, 21 Мар., Зогр. [Вайан 1952 : 158, 195]; *въ вѣдѣхъ*

известны следующие случаи варьирования родовых флексий у родоизменяемых частей речи, начиная с XI в. (помимо упомянутой формы из УСб, 199г, унаследованной из старославянского протографа): въ повелѣннихъ гѣахъ Изб 1076, 140об; тѣмъ же тѣа вѣнци црѣвными оукраси Мин., 016; слава са бжѣствными причасти(и) 022; оупъстрена троуды бжѣствными 54; Бжѣствными свѣтолитии... просвѣщаѣмъ 117; ѡ(т)вѣрзлѣ кси пѣрси съгъбеникъ [ДП мн.ч.], хѣ, змиѣвамъ 374–375; словесемъ Х(с)вамъ ПрЛ XIII, 23в – Пеленамъ покланяѣщемъ ти са Мин., 085 (правда, -мъ в причастной форме ошибочно, его появление инспирировано предшествующим словом); по бжѣемъ стопамъ 0166; Распростираѣмъ моукамъ 491; по правдѣномъ нѣкимъ винамъ КЕ XII, 37а; покмѣмъ пѣсньмъ ЖФСт XII, 145; вѣщемъ тако пролиѣномъ прокоужати хотѣще(м) 161об; зорѣмъ вѣсходѣщемъ УСб, 43б; противѣу дѣаволемъ кѣзньмъ 43г; дѣовьнымъ Хѣомъ водамъ 258б; въ... странахъ паноньстѣхъ 113в⁶ [Носк 1986 : 71–72]; вранамъ летѣщемъ 8а; вѣстѣмъ странамъ пограблѣномъ 65а; мыслѣмъ ѡ(т)вѣтъ даѣщемъ СБЯр XIII, 214об; книгамъ ѡ(т)верженомъ быти КР 1284, 46в; въ бикѣхъ пѣ(с)хъ ПНЧ 1296, 135. Аналогичные феномены представлены и в текстах XIV в.; "возможно, – как справедливо заметил А.А. Шахматов, – что эти образования искусственные, между тем как в живом языке во множественном числе употреблялись в то время только местоименные формы" [Шахматов 1957 : 297], ср.: оу мучнахъ ситохъ трехъ Луцкое евангелие (РГБ, Рум. 112, л. 62) [Соболевский 1884 : 46]; при оустѣ(х) затворенахъ ПНЧ XIV, 154а; на оуглѣхъ гораща(х) ФСт XIV, 164б – блѣгомъ вѣщемъ свѣдѣтели ГА, 60; грамотамъ оубо всюду распущеномъ ЖВИ XIV–XV, 97а.

Особого анализа заслуживают согласуемые конструкции со словом *двѣрь*, неоднократно упоминаемые исследователями в числе неисконных *о-основных определений при существительных жен. рода, ср. уже в старославянском: *двѣремъ затвореномъ* Ио. 20, 19 Мар., Асс., Ио. 20, 26 Асс., *двѣремъ затвореномъ сжштемъ* Супр. 501, 6 [Вайан 1952 : 292]; в русско-церковнославянских текстах: *двѣремъ затвореномъ* Евангелие XIV в., 199 [Бандуров 1905 : 292]; то же Ев 1339, 6а [Шахматов 1957 : 297]; *двѣрьмъ соущемъ* погребенымъ *заключеномъ* УСб, 23б; *двере(м) монастырьска(м) затвореномъ сущемъ* СбЧуд XIV, 59б; *престоѣщемъ* двѣремъ ГА, 121; *дверемъ затворенымъ и завертомъ* 257; *затвореномъ сущемъ* двѣремъ црковнымъ Пр 1383, 73б; *затвореномъ ѡ(т) мене двѣремъ* КТурКан XII сп. XIV, 220об; *затвореномъ оуже сущем(м) двере(м) ЖВИ XIV–XV, 40б; двѣремъ всѣ(м) затворенымъ соущем(м) ПКП 140б, 143–144.* Относительно высокая частотность данных форм на фоне единичных примеров подобного типа с другими существительными наводит на мысль о том, что преимущественное использование слова *двѣрь* во мн.ч. [Вайан 1952 : 198]⁷ привело к обособлению его плюральной парадигмы и развитию в ней родовой вариативности

нюдовахъ Мф. 2, 6 Асс., Сав.; *слоугамъ* ... *жегжштамъ* Супр. 13, 26 и др.), представляет не новообразование, а, напротив, глубокую архаику: по мнению И. Добрева, «...слова типа *старѣшнина*, *владыка*, *слоуга* сохранили что-то от значения древнейших собирательных и абстрактных существительных – *слоуга* употреблялось, скорее всего, в смысле "прислуга", *старѣшнина* – в смысле "старейшинство", а *владыка* – в смысле "господство, владычество"; поскольку же "женский род и собирательная множественность в индоевропейском языке были одно и то же", "множественные формы существительных типа *слоуга* и *старѣшнина* согласуются с прилагательными и, реже, аппозитивно употребленными причастиями (*participia conjuncta*) женского рода" [Добрев 1982 : 129].

⁶ Вероятна, однако, и иная интерпретация этой формы как обусловленной влиянием местоименного склонения (*тѣхъ* – *паноньстѣхъ*).

⁷ Формы ед.ч. неоднократно встречаются, например, в Новгородских служебных минеях, однако исключительно в метафорическом значении: ты бо *двѣрь* ѡви са, (е)уже мѣрови бѣ приближи са Мин., 021; *двѣрь* двѣска бжѣствна 072 и т.п.

(NB параллельное употребление форм *манастирьска(м)* и *затвореномъ* в СбЧуд XIV, 59б), присущей также некоторым pluralia и dualia tantum, ср.: нозѣ ѡковати двѡими ѡковы ЧудН XII, 74г, въ ѡковѣхъ 75а (*o) – въ ѡковахъ СбЯр XIII, 65, расѣдошася... ѡковы ПрЛ XIII, 79в (*ā); прозрьливомѡ очима Мин., 202 – прозрьливама (по списку начала XII в.); оумиленама очима УСб, 13г – не схраненома очима ПНЧ XIV, 36г⁸.

С древнейшего периода в старославянских и восточнославянских памятниках находят отражение и неисконные формы ДП и ТП дв.ч., причем ранее всего подобные примеры отмечаются, как и во мн.ч., в склонении именных прилагательных: къ колѣнома їсвама Лк. 5, 8 Зогр., Мар. (но -ома Асс., Остр.), колѣнома ївама Лк. 22, 30 Зогр. (но -ома Мар.) [Вайан 1952 : 196]; патриархама СП, 25; къ ногама Врукинома УСб, 131г [Носк 1986 : 73]; неч(с)тама роукама рекъше не оумъвенома ЕвПант XII–XIII, 63в; колѣнома їсовама 71б; оучѣнома Иаиновама 75в; по ланитома 101а [Шахматов 1957 : 279, 297]; съгрѣшихъ мозгомъ и съставнымѡ жилома СбЯр XIII, 149об; рукама ихъ распространенома КР 1284, 200в; да два перваѡ братучада. съ двѣма сѣстрѣницема не совокуплетасѡ 335в. Эти образования, фиксируемые, как мы видим, одновременно с инновационными формами мн.ч. прилагательных и существительных, по всей вероятности, обязаны своим возникновением все той же тенденции к устранению родовых различий и отражают тот же начальный этап унификации, что и формы мн.ч., – этап безразличного смешения флексий разных склонений (см. ниже). Правда, уже в конце XIII в., когда dualis как особая категория едва ли был свойствен разговорному узусу, -o-формы дв.ч. должны, очевидно, интерпретироваться как аналогические, искусственные образования en pendant к архаичным формам pluralis *o-склонения; в этом плане особенно симптоматичен параллелизм собственно русских форм с полногласием и исконным -ама и церковнославянских форм с неполногласием и вторичным -ома в одном и том же контексте: между двѣма колодама Стих 115б–1163, 100 об, СкБГ XII, 15б, ЛЛ 1377, 47 – между двѣма кладома Парем 1271, 263об, ПрП XIV–XV (2), 203б, ЛИ ок. 1425, 51г [Шахматов 1957 : 282]; ср. также: до обѣма странама ЛЛ 1377, 72 [Шахматов 1957 : 282] – сторонама (Академический список); двѣма кравома златыма Пал 140б, 79б. В XIV в. отмечен еще целый ряд искусственных написаний с -ома, противоречащих тенденции к закреплению в не-единственном числе окончаний *ā-склонения (ре(ч) отроковицема ПрЮр XIV, 188в; съ двѣма отроковицема 189а; не оумовенома роукама Ев 1339, 53а [Шахматов 1957 : 297]; къ ногама ц(с)рвома ГА, 392; къ своимѡ женома ЛЛ 1377, 49об [Шахматов 1957 : 282]; пришьдѣши к ногома князю Пр 1383, 44а; двѣма доскома покровень ПрП XIV–XV (2), 120б), и несколько образований на -ама в *o-склонении, отражающих определенную модернизацию устарелых форм дв.ч. (к стѣма мчѣкама ЛЛ 1377, 98 [Шахматов 1957 : 279]; по съсцама же и по ребромъ Пр 1383, 74б; нозѣ ѡковати двѣма поутама СбТр к. XIV, 188об.

От явлений, связанных с взаимодействием различных склонений, не следует, по-видимому, отделять взаимозамену флексий твердого и мягкого вариантов *o-склонения, ср.: о еп(с)нихъ и ѡ прозвистерѣхъ КР 1284, 25а; первосѣданѡ на торжищѣхъ. и цѣлованѡ на соборищѣхъ ПНЧ XIV, 158а (другие примеры с -ѣхъ в мягкой разновидности см. [Соболевский 1907 : 179–180]). В более общем плане все рассмотренные изменения вполне могут быть сопоставлены и с такими феноменами, как распространение окончаний РП -овѡ и -и из *и- и *i-основ в склонение на *o/*jo (вождевъ,

⁸ Очевидно, что в морфологическом отношении *i-основной dualis очѣжъ является иной лексемой, нежели *z-основное око_{ср}.

дѣловѣ, пѣнязихи, мужихи и мн. др., см. [Соболевский 1907 : 173, 176; Шахматов 1957 : 263–265, 272; Иорданиди 1988; 1993]), а также использование в *о-склонении флексий ТП -ми из -ѣми (*и-основы) и -ѣми (*і-основы), типа мужьми, грѣхъми [Соболевский 1907 : 176; Шахматов 1957 : 273; Иорданиди 1991 : 50].

Тем самым развитие форм дательного, местного и творительного падежей мн.ч. предстает перед нами не как изолированная, односторонняя эволюция, а как одно из звеньев начавшегося еще в раннедревнерусский период общего процесса унификации парадигм мн. ч., процесса, который охватил все падежные формы во всех склонениях и первоначально не обнаруживал однозначного предпочтения какому-либо определенному словоизменительному классу. Наблюдающаяся в текстах вариативность типа дѣнь – дѣниши – дѣновѣ – дѣневѣ, женамъ – женомъ, мѣстомъ – мѣстамъ, луги – лугами – лугми, торжищихъ – торжищѣхъ – торжищахъ составляет несомненную параллель хорошо известным вариантным формам ед.ч. и свидетельствует о том, что становление относительно единого плюрального склонения, как и формирование трех склонений singularis, происходило путем взаимодействия и конкуренции самых различных морфологических показателей.

В целом проанализированные факты позволяют сделать два важных вывода.

Во-первых, они с очевидностью указывают на то, что *а-склонение не было единственным источником унификации флексий ДП, МП и ТП мн.ч.: в аналогичной функции могли выступать также окончания других склонений и вариантов склонений (ср.: матигорьцамъ – старѣишиномъ – стѣныхъ – еп(с)нихъ).

Во-вторых, приведенный материал показывает, что в склонении родоизменяемых слов утрата родовых различий во мн.ч. (и дв.ч.) началась раньше, чем у имен существительных. Данное обстоятельство никоим образом не противоречит общей закономерности, заключающейся в том, что связь "между развитием субстантивных и адъективных форм... имеет односторонний отсубстантивный характер..." [Шульга 1988 : 33]: в нашем случае представлен, прежде всего, собственно адъективный процесс, отражающий раннюю стадию распада именного склонения прилагательных и причастий⁹ и непосредственно индуцированный, несомненно, отсутствием родовых различий во мн.ч. и дв.ч. местоимений и местоименных прилагательных (ДП тѣмъ, добрымъ женамъ/плодъмъ/гостъмъ; тѣма, добрыма женама/плодома/гостыма). Кроме того, опережающее развитие неисконных флексий у прилагательных может быть поставлено, на наш взгляд, в параллель с другим процессом – закреплением В = Р у прилагательных (геср. причастий) при сохранении старой формы ВП у определяемых ими существительных и местоимений [Крысько 1994б : 133–136], типа: привезоша бо и мрътва смърдаща УСб, 8а; си змиква оубиичю породе ПНЧ XIV, 97в. Форма прилагательного в подобных сочетаниях более чутко реагирует на совершившееся в языке изменение – развитие новой формы ВП одушевленных имен – и синтагматически выражает это грамматическое значение, тогда как существительное, одушевленное "само по себе", сохраняет исконный облик аккумулятива. Сходным образом, по-видимому, оформляется процесс утраты родовых различий во мн.ч.: поскольку прилагательные обладают не самостоятельным, дейктическим, а анафорическим родом [Курилович 1962 : 205] и носителем категории рода в атрибутивном словосочетании является существительное, выражение родового различия прилагательными с помощью особой субстантивной флексии становится в принципе избыточным, а их деклинационная отнесенность – нерелевантной. В результате существительное, для которого род является конститутивным признаком, дольше удерживает старое родовое окончание, в то время как прилагательное, индифферентное к роду, с большей легкостью принимает "неправильную", т.е.,

⁹ Ср. замечание П.С. Кузнецова: "Утрата именного склонения прилагательных осуществлялась не во всех падежах одновременно" [Кузнецов 1959 : 161]; считается, что замена окончаний кратких прилагательных местоименными формами началась именно с косвенных падежей мн.ч. (см. [Andersen 1969 : 26]).

собственно говоря, уже внеродовую флексию. Примечательно, что стирание родовых оппозиций в косвенных падежах именных прилагательных наблюдается в письменности не раньше, чем унификация ИП и ВП (ср.: *три друзи, власы женьскы* в текстах XI–XII вв. [Иорданиди, Крысько 1993 : 19]): тем самым подтверждается вывод Г.А. Махароблидзе, согласно которому прилагательные утратили "родовые различия во множественном числе в связи с унификацией... форм именительного и винительного падежей" [Махароблидзе 1959 : 134].

Итак, для периода с XI до второй половины XIV в. мы можем реконструировать следующие явления, связанные с унификацией косвенных падежей мн.ч. Прежде всего отмирание деклинационных различий происходит в парадигме именных прилагательных, которые не имели собственнoго склонения и рано стали утрачивать словоизменение (XI–XII вв.); затем взаимозамена флексий различных деклинационных типов, связанная с утратой родовых различий, распространяется на склонение существительных, причем особенно активно данный процесс затрагивает формы ДП и, в меньшей степени, МП (XIII–XIV вв.). На протяжении XIV в. развивается процесс обобщения форм ТП по образцу **о*-склонения, приводящий к формированию общеродовой омонимии И–В–ТП (*залѣшняне, стѣны*). В итоге во мн. ч. складывается система, сохранявшаяся во многих русских говорах еще, очевидно, в первой половине XVII в.: ДП – *-ам*, МП – *-ах*, И–В–ТП – *-ы*. Лишь во второй половине XIV в. в некоторых говорах намечается дифференциация ТП и прямых падежей: под влиянием утвердившихся в ДП и МП форм на *-ам* и *-ах* здесь появляется новая флексия *-ами*, т.е. происходит выравнивание косвенных падежей по образцу **а̃*-склонения.

Сам факт заимствования окончаний *-ам*, *-ах*, *-ами* из **а̃*-основ едва ли может теперь подвергаться сомнению: вариативность флексий различных склонений не только во множественном, но и в двойственном числе позволяет с уверенностью утверждать, что первоисточником инноваций было не влияние одних форм парадигмы на другие (в частности, И–ВП ср. рода с флексией *-а* на ДП и МП), а межпарадигмальное взаимодействие. Наличие тенденции к сближению парадигм при вариативности средств этого сближения разительно напоминает нередкое в древнерусских памятниках варьирование новых форм ИП и ВП на *-и*, *-ы*, *-ѣ* [Иорданиди, Крысько 1993 : 24; Соболевский 1907 : 209]. Вначале указанная унификация осуществлялась по отдельным "одноименным" формам, причем наиболее предпочтительные источники унификации в разных падежах различались: критерием здесь служила в первую очередь неизменность консонантного исхода основы, вследствие чего, например, флексия ДП **о*-склонения *-ом* хотя и спорадически, но появлялась в твердом **а̃*-склонении, между тем как локативная флексия *-ѣх* – никогда. Немаловажное значение изначально имело, как можно предположить, наличие флексивно тождественных исходных форм: именно этим объясняется, несомненно, тот факт, что ранее всего, еще в дописьменный период, взаимодействие форм мн.ч. затронуло парадигмы на **о* и **и*, затем – на **jo* и **i* (РП на *-овѣ*, *-ии*, ДП на *-ѣмѣ*, *-ѣми*, ТП на *-ѣми*, *-ѣми*) и лишь позднее охватило склонения на **о* и **а̃*, с одной стороны, и **а̃* и **i* – с другой (ср., например, четкую последовательность в появлении новых форм ТП и МП: *грѣхѣми* раньше, чем *грѣхами*, а на *волѣхѣ* и затем на *волахѣ* – раньше, чем на *полатахѣ*).

Почему же индуктором унификации стали в итоге именно формы **а̃*-склонения? Отвечая на этот вопрос, кажется уместным вспомнить высказывание И.А. Бодуэна де Куртенэ о том, что "окончания на *-ам*, *-ами*, *-ах* отличались большей силой и получили перевес вследствие общности свойственного им всем гласного *а*, тогда как в мужском и среднем роде здесь царило несогласие и несовпадение..." [Бодуэн де Куртенэ 1903 : 5]. Принципиально важно подчеркнуть, вместе с тем, что источником обобщенных флексий служил не женский род, а двуродовая словоизменительная парадигма: в процессе утраты родовых оппозиций во мн.ч. выбор того или иного окончания был, как справедливо заметил Х. Андерсен, "совершенно произвольным,

т.е. независимым от каких-либо семантических категорий", причем предпочтение должно было оказываться максимально унифицированной парадигме, поскольку "единство форм служит оптимальным выражением отсутствия семантической дифференциации" [Andersen 1969 : 27]. В этом плане окончания косвенных падежей **ā*-склонения, объединенные неизменным вокалическим показателем ⟨а⟩, составляли прекрасную параллель другим обобщенным парадигмам мн.ч., характеризующимся единым показателем множественности, – прономинальной (с маркерами ⟨ѣ⟩ и ⟨и⟩), адъективной (с маркером ⟨и⟩) и нумеральной (с маркером ⟨о⟩, ср. *трех-трех-тремя*), и унификация генетически **ā*-основных форм в субстантивном склонении завершала перестройку плюральных парадигм в направлении от родо-деклинационных оппозиций к более общему противопоставлению по частям речи [Andersen 1969 : 28, 32].

Знаменательно, однако, что в **i*-склонении, где, как и в основах на **ā*, косвенные падежи характеризовались единством вокалического элемента (⟨о⟩/⟨ѣ⟩: *костем* – *костех* – *костьми*), распространение *-а*-форм началось и завершилось позже, чем в **o*-склонении: первый известный нам пример такого рода датируется XV веком или, по крайней мере, рубежом XIV–XV вв. (на *полатах* Надпись из церкви Федора Стратилата в Новгороде – уточненное чтение А.А. Медынцевой [письменное сообщение] (ср. первую публикацию [Медынцева 1968 : 446]). Следовательно, определяющей особенностью первого – условно его можно назвать "древнерусским" – этапа унификации косвенных падежей мн.ч. являлось усвоение системы падежного изоморфизма, присущей **ā*-склонению и предполагающей формальную общность флексий ДП, МП и ТП, существительными **o*-склонения. Полная унификация субстантивных парадигм мн.ч. по образцу **ā*-склонения относится уже к истории отдельных восточнославянских языков.

2. Обобщение древнерусского материала, относящегося к распространению инновационных флексий в ДП, МП и ТП, вносит коррективы в представление об "особой активности" существительных ср. рода в исследуемом процессе [Марков 1974 : 103; Молчанова 1971 : 14]. Взамен 12 примеров с *neutra*, противостоящих в списке А.И. Соболевского 8 формам *masculina* (данные XIII–XIV вв., без учета неверных примеров), мы располагаем сейчас 25 *neutra* на фоне 50 *masculina*, причем в обоих родах новообразования отражаются абсолютно одновременно (ср.: *кгоуптамамъ* – *безаконитамъ* Парем 1271, *лоугами* – *полами* Гр 1383), что, разумеется, ставит под сомнение давний, но сохраняющий до сих пор популярность вывод И.В. Ягича, согласно которому "... первые стали переходить в окончание на *амъ* слова среднего рода" [Ягич 1889 : 116] (ср. [Молчанова 1965 : 13, 14]). Данные славянских языков, которые на первый взгляд подкрепляют это положение [Vondrák 1908], нельзя признать показательными: во-первых, они свидетельствуют о разновременном, независимом друг от друга и, следовательно, лишь типологически сходном развитии новых окончаний, а во-вторых – отнюдь не всегда подтверждают устарелые датировки, приведенные В. Вондраком и как будто указывающие на приоритет *neutra*: так, например, в польском языке ТП на *-ami* встречается у имен ср. рода не "на целое столетие раньше", чем в муж. роде [Vondrák 1908 : 29], а практически в то же время – с XV в. [Grappin 1956 : 124, 187; Иорданиди, Крысько 1995 : 98–99].

Тезис об опережающем развитии *-ам*, *-ах*, *-ами* у *neutra* опирается, как известно, на априорное представление об "обобщении флексивного гласного", наличествующего в И–ВП мн.ч. ср. рода [Марков 1974 : 103; Unbegaun 1935 : 199–200]. Очевидно, однако, что в свете рассмотренных нами примеров свободного варьирования разных падежных окончаний существительные ср. рода в принципе не должны были оказаться в особо предпочтительном положении: их формы подвергались такому же синтагматическому (а не парадигматическому) выравниванию, как и формы мужского и, в меньшей степени, женского рода. Яркие примеры варьирования разных окончаний в од-

ном и том же контексте демонстрируют Евангелия 1339 и 1393 гг., ср.: *любаѣ же прежевъзлѣгания на вечерахъ. и прежесъданиа на сонмищахъ. цѣлования на торжищицхъ* Ев 1339, 76б – *люба(т) прежевъзлежаныѣ на вечерахъ. и прежесъданиа на сборищи(х). и цѣлованыѣ на торжища(х)* Ев 1393, 69а. Если бы для усвоения новой флексии достаточно было наличия *-а* в И-ВП, по-видимому, существительные *торжище* в первом случае и *сборище* во втором не сохраняли бы архаичных (и даже гиперархаичных – *-ицхъ*) флексий рядом с новообразованиями на *-ахъ*. Тот факт, что идентичные по образованию *пейга* в одном и том же контексте обнаруживают тенденцию к расподоблению, а не следуют своему "флексивному гласному", происходит, на наш взгляд, из ощущения синтагматической равноценности *-ах*, *-их* и *-ицх*, которые выступали в XIV в. в качестве равноправных членов оппозиции, еще не имеющих каких-либо дополнительных аргументов в пользу более последовательного закрепления. Показательны и словосочетания со старыми формами имен существительных и новыми – определяющих их прилагательных, типа *словесемъ Х(с)вамъ* ПрЛ XIII, 23в: казалось бы, наличие номинативно-аккузативного *-а* как постоянного признака субстантивной парадигмы должно было больше благоприятствовать появлению *-а-* в косвенных падежах имен существительных, нежели в склонении прилагательных, лишенных собственной парадигмы, – тем не менее ситуация складывается прямо противоположным образом.

Нам трудно согласиться и с тезисом о той якобы "особой роли", которую играли в развитии анализируемого процесса существительные муж. рода со значением лица [Марков 1974 : 102, 104–106] (ср. [Unbegaun 1935 : 202–203]). Не говоря уже о том, что ряд форм, привлекаемых для доказательства этого положения, интерпретирован неверно (*жителѣмъ, люагощонамъ, рижанѣмъ* и др. – см. первую часть настоящей работы), некоторые явления, рассматриваемые В.М. Марковым как индукторы *-а*-экспансии, в действительности хронологически несопоставимы с данным процессом. Так, переосмысление собирательных существительных женского рода на *-а* в качестве форм мн.ч., т.е. "развитие отношений типа *господинъ – господамъ*" [Марков 1974 : 105], датируется временем по крайней мере на столетие более поздним, нежели распространение *-а*-форм в косвенных падежах (см. [Соболевский 1907 : 222]). Еще позже появляются образования *бояра, дворяна* [Иорданиди 1985 : 262–263; Крысько 1994б : 106], которые не только не могли провоцировать образование косвенных падежей на *-ам, -ах, -ами*, но, напротив, сами возникли (равно как и номинативы с ударным *-а*) в результате влияния этих новых форм на ИП.

Более вероятно взаимосвязь между развитием *-а*-форм в **о*-склонении и древними атематическими образованиями от имен на *-ане*. Хотя подавляющее большинство консонантных форм типа *вавилонѣмъ* представлено либо в текстах XI–XII вв., либо в списках с протографов этого времени, либо в летописных статьях, относящихся к тому же периоду (ср., помимо примеров, приведенных в [Крысько 1994а : 214]: *в Галелиахъ* ПрЮр XIV, 76; *Макавѣями* ГА, 280 [там же: *Макавѣянинъ* 203, [ω(т)]... *Макавѣянъ* 212]; *въ Полча(х)* ЛИ ок. 1425, 177, под 1159 г. [Шахматов 1957 : 100]), отдельные факты позволяют предположить, что древнее склонение имен на *-ане*, наряду с несравненно более употребительным новым склонением по образцу **о*-основ, сохранялось в речевом обиходе и в существенно более позднюю эпоху. Так, весьма возможна соответствующая трактовка формы на [n]елемчѣхъ ГрБ № 162 (перв. пол. XV в.) – если это не чокающее написание инновационной формы *пелемцах*; чрезвычайно важен пример, любезно сообщенный нам А.Н. Шаламовой: жители г. Котельнич в документе 1649 г. именуются *котельничане*, причем МП от этого слова звучит как *на нихъ котельничѣхъ* ДАИ III, 218–219. Коль скоро образования типа *на погощахъ* ГрБ № 526 – *в городищѣхъ* Ст.Р. 10, *егуптѣми* ГБ XIV, 63а –

егуптаны 16г, Поланомъ ЛЛ 1377, 3 – Вавиланомъ 50б¹⁰ сосуществовали в народно-разговорном языке древнерусского периода, инновационные формы типа *егоуптаномъ, бережаномъ, десццаномо, двораномъ* вполне могли бы быть интерпретированы как результат влияния атематических основ. Примечательно, однако, что ни в XIII, ни в XIV веке подобные новообразования ни разу не встречаются рядом с формами консонантного склонения, и лишь в ЛЛ ок. 1425 наблюдаются и те и другие формы – но вряд ли будет правильно объяснять написания *Галичаномъ* 229об vs. *Галичаномъ* 245об и на *горожанахъ* 306 vs. *горожаномъ* 303 воздействием нигде не зафиксированных **галичахъ* или **горожахъ*. Впрочем, если даже указанные архаические формы и влияли на склонение сравнительно узкого круга существительных с суф. *-ан-*, для большей части новообразований на *-ам, -ах, -ами* данный фактор никак нельзя считать релевантным: показательно, что из 75 известных нам форм с инновационными флексиями в памятниках XIII–XIV вв. на долю ДП *-анамъ* (новообразования МП и ТП от слов на *-ане* не зафиксированы) приходится лишь 12 примеров.

Не отрицая полностью индуцирующей роли личных обозначений, мы не можем не признать, что важным очагом такого влияния являлись **ā-masculina*. Воздействие этих имен наиболее очевидно в тех контекстах, где они находятся рядом с новообразованиями **o-masculina*, ср.: *і се азъ ѡжещю срѣце фараѡново. и слугамъ ѡго. и кгоуптаномъ всѣмъ* Парем 1271, 9б; *г҃ла старѣишинамъ* жречьскимъ. и книжникамъ и *вое(во)дамъ* Ев 1355, 87; *ни твоимъ ботарамъ. ни твоимъ слугамъ* НГ № 8; *ни ботарамъ* твоимъ. *ни слугамъ* твоимъ Там же; *г҃ла старѣишинамъ* жречьскимъ. и книжникамъ. и *воеводамъ* Ев 1393, 114а–б. Однако было бы неверно утверждать, что индукция **ā*-склонения осуществлялась лишь через группу личных существительных и только в направлении личных **o-masculina*: единственный в ГА пример с *-амъ* в **o*-склонении отмечен у неодушевленного существительного, употребленного рядом с **ā-femininum*: *рѣкамъ* и *стоуденцамъ* ГА, 63; ср. также: *зо всими лѣсы и з доубровами и с полами и... з лоугами* Гр 1383 (ю.-р.); в *верпахъ* и *пещерахъ* ЖВИ XIV–XV, 50в. Наши материалы показывают, что имена неодушевленные вообще занимали не столь уж ничтожное место среди новообразований: не говоря уже о словах ср. рода, флексии *-ам, -ах, -ами* встречаются не только в форме *о г҃лахъ* Ев 1358, 202об, которая упоминается В.М. Марковым в качестве единственного примера подобного типа [Марков 1974 : 102], и не только в формах *стоуденцамъ, верпахъ* и *лоугами*, но и в таких случаях, как: *товаромамъ* ЛЛ 1377, 87об; *городамъ* Нибуров мир 1392 г.; *въ Гремича(х)* ДДГ, 34; *чоронами* ГрБ № 167. Разумеется, в количественном отношении эти употребления значительно уступают личным существительным – но только в форме ДП, для которой основной функцией является выражение лица – субъекта или объекта действия (см. [Степанов 1989 : 198]). В местном и творительном падежах ситуация иная: так, в МП муж. рода на два примера с одушевленными существительными (*ѡ смердахъ* РПрМус сп. XIV, 160б; *въ мрътвѣцахъ* Паракл 1369, 9б) приходятся четыре формы имен неодушевленных, а в ТП двум контекстам с неодушевленными существительными муж. рода противостоят две же формы со значением лица – *велневицами* (Нибуров мир) и *братами* (ПрП XIV–XV (1), 26 г).

Итак, инновационные формы косвенных падежей мн.ч. не обнаруживают каких-либо родовых или семантических предпочтений, не объяснимых с синтаксической точки зрения. По всей видимости, процесс унификации родовых флексий по образцу

¹⁰ Уникальный для смоленских грамот пример *волочамъ* Смол. гр., 28 vs. *волочаномъ* 37 [Марков 1974 : 105] нельзя признать надежным, так как в этом списке (В) договора 1229 г. отмечаются неоднократные пропуски слогов: *това(ра) сво(го), въ смоль(нь)сцѣ, передъ (до)брыми судья(ми), се(ре)бра, сво(бо)денъ, плати(ти), ла(ти)ньский, лат(ин)ьский*.

**а*-склонения сразу затронул здесь, как и в И-ВП, все **о*-основные существительные.

3. По своей жанровой отнесенности памятники, в которых отмечены новообразования, делятся на церковно-книжные (35 примеров), деловые (грамоты, уставы – 38 примеров) и летопись (ЛЛ 1377 – 2 примера). Наиболее ранние фиксации представлены в виде единичных отклонений именно в церковных текстах, что, на наш взгляд, является важным показателем употребительности этих форм в живой речи: написания, по отдельности допускающие возможность интерпретации их как случайных описок, в своей совокупности создают картину мощного давления разговорного узуса на традиционную морфологическую и орфографическую систему южнославянских по происхождению источников. Особенно симптоматичны в этом плане данные Паремейника 1271 г., который содержит многочисленные исправления, отражающие постоянную борьбу писцов, стремящихся писать по-книжному, с их собственными речевыми навыками; тем знаменательнее сохранение трех форм: *кѣгоуптанамъ*, *безаконитамъ* и (в приписке) *матигорьцамъ*, оставленных без исправления, вероятно, в силу того, что *-амъ* не воспринималась книжниками как вопиющее отклонение от нормы – в то время как, например, написание флексий *-омъ* и *-ома* в виде *-ѣмъ* и *-ѣма*, с характерной для бытового письма заменой *о* на *ѣ*, признается ненормативным, вследствие чего *братѣма* исправляется на *братома* 102в, 102г, а *кѣгоуптанѣмъ* – на *кѣгоуптаномъ* 200б (установлено по нашей просьбе заведующим Древнерусской группой Отдела рукописей РНБ В.М. Загребиным).

Проникновение инновационных образований в церковно-книжные памятники свидетельствует о том, что в народно-разговорном языке подобные формы возникли несколько раньше. Для хронологизации данного явления большое значение имеет первая часть Синодального списка Новгородской I летописи, завершающаяся записью 1234 года и написанная, по-видимому, во второй половине XIII в. (консультация А.А. Гиппиуса); в этом источнике новообразования мн.ч. **о*-склонения полностью отсутствуют (см. [Dietze 1977: 277–278, 291, 295, 299]). Характерно также устойчивое сохранение исконных форм в смоленских грамотах XIII в. В то же время показания новгородских пергаменных грамот конца XIII – начала XIV в. нельзя считать вполне репрезентативными, так как, являясь в основном записями княжеских договоров, они весьма устойчиво и последовательно воспроизводят формуляр своих образцов более раннего периода. Так, например, обороты типа *держати своими моужи*, *държати моужи новгородьскыми*, *богаромъ твоимъ*, *двораномъ твоимъ*, *при нашихъ послѣхъ* с некоторыми вариациями, не затрагивающими флексий, включаются в состав НГ №№ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, которые датируются значительным временным отрезком – 1264–1327 гг. Однако при первой же фиксации дативной формы, не имеющей прототипа в более древних документах, – *даръ ꙗмати по постотанитамъ* НГ № 10 (1305–1307 гг.) – мы наблюдаем использование инновационного окончания. Тем самым правомерно будет заключить, что во второй половине XIII – начале XIV в. формы на *-ам* и *-ах* являлись достоянием устной речи, в принципе не допускавшимся в официальные тексты. Вместе с тем формы на *церевахъ* ГрБ № 349 (1268–1281 гг.) и *камнецамо* ГрБ № 286 (1313–1369 гг.), подкрепляющие данные книжных текстов, позволяют утверждать, что в описываемую эпоху употребление *-ам*, *-ах* либо *-ом*, *-ѣх* уже являлось одним из дифференциальных признаков, разграничивавших диалектную речь древнего Новгорода и нормализованный (книжно-письменный) язык в обеих его ипостасях – церковнославянской и "стандартной древнерусской".

Ко второй половине XIV в. противоречие между народно-разговорной речью и официально-деловым языком Новгорода в данном аспекте было устранено: после полувекового разрыва, отделяющего позднейшую дошедшую до нас пергаменную грамоту первой половины столетия – НГ № 15 – от следующего сохранившегося документа – НГ № 8 (1371 г.), известные формулы договора с князем уже характеризуют-

ся использованием флексии *-ам*: твоимъ *богарамъ*, *богарамъ* твоимъ, *дворанамъ* твоимъ (дважды).

В целом же среди 51 примера с ДП на *-ам* в источниках XIII–XIV вв. 44 приходится на новгородские и псковские тексты. Иначе обстоит дело с МП и ТП: из 18 локативных новообразований лишь семь отмечены в памятниках Северо-Западной Руси, а из шести статистически малоинформативных форм ТП на *-ами* четыре наблюдаются в источниках ненаовгородского происхождения. Приведенные факты можно было бы расценить как доказательство того, что новообразования ДП развивались в Новгороде гораздо активнее, нежели формы на *-ах* и *-ами*, и что в прочих диалектах усвоение новых окончаний протекало намного медленнее, чем в диалекте древнего Новгорода. Однако если первый вывод трудно оспорить, то второй нельзя не признать односторонним. В действительности, как мы полагаем, древнерусская письменность не дает твердых оснований для утверждений о том, что, например, в московском говоре унификация форм косвенных падежей происходила несколькими десятилетиями или столетием позже, нежели в говорах северо-западных [Молчанова 1965 : 12]. Известно, что самый первый дошедший до нас московский памятник – это Сийское евангелие 1339 г.; между тем в этом евангелии новообразования зафиксированы уже дважды (*на сборищахъ*, *на сонмищахъ*). Следовательно, можно с большой долей уверенности предположить, что ко второй трети XIV в. инновационные флексии были достаточно обычными для московского говора. Правда, московские грамоты XIV в. совершенно не содержат новых окончаний [Маценко 1961 : 72; Иорданиди 1989 : 237], но этот факт следует, очевидно, отнести на счет значительной традиционности языка великокняжеских документов, нарушенной только один раз – в форме *въ Гремича(х)* – от существительного, которое, как местный топоним, просто не могло обладать орфографически закрепленной и освященной традицией парадигмой.

Что касается других областей Северной Руси, то для конца XIII – первой половины XIV в. употребление инновационных форм может быть доказано лишь в отношении тверского диалекта: новообразования *стоуденцамъ*, *надрахъ* (Троицкий список ГА) и *новгородцамо* (тверская берестяная грамота № 2) отражают достаточно продвинутый этап унификации – этап проникновения инновации в письменность. Для северо-восточных говоров, помимо московского, мы, к сожалению, не располагаем соответствующими сведениями и не имеем возможности делать какие бы то ни было выводы о распространении новых форм. Однако во второй половине XIV в. инновации наблюдаются в памятниках не только московского (Ев 1358 – *о глѣхъ*, Ев 1393 – *книжникамъ*, *на торжища(х)*, Троицкий Паремейник № 4 – *требищамъ*), но и ростово-суздальского происхождения (перемыславское Ев 1354 – *на распутьяхъ*, суздальская ЛЛ 1377 – *лица(х)*, *товаровамъ*). Тем самым можно констатировать, что северо-восточные говоры, хотя и не засвидетельствованные столь информативными источниками, как берестяные грамоты, все же едва ли существенно отставали от новгородского диалекта в усвоении новообразований.

Другое дело, что окончательное утверждение инновационных форм в северо-восточной актовой письменности охватывает более длительный период, чем на северо-западе. Несомненно, в частности, что московские деловые тексты XV–XVI вв. фиксируют вытеснение старых флексий в несравненно меньшей степени, нежели новгородские документы. Так, например, "Книга ключей и денежных оброков" Иосифо-Волоколамского монастыря XVI в. демонстрирует весьма последовательное использование датива на *-ом*, хотя вывод В.М. Маркова о "неизменном сохранении" старого окончания [Марков 1974 : 112] является преувеличенным. Во-первых, существительные, характеризующиеся, по мнению исследователя, окончательным ударением, изредка предоставляют примеры флексии *-ам*, ср.: *истобникам* Кн. ключей, л. 39, *мастерам* 40 (заметим, кстати, что форма *мостером*, как будто указывающая на флексийное ударение, представлена не на л. 61об, где имеется *мастером*, а на

л. 90об); ср. также *воловикам* 106, 123 vs. *-ом* 135об; во-вторых, отражение аканья в корне отнюдь не обязательно служит доказательством нафлексивного ударения: так, словно *истобник* (не смешивать с *истопник*!), производное от *истѣба* (ср.: *Истобнику* в порьтную издѣбу 24), вполне могло иметь ударение и на первом слоге; если в написании *такарем* 175 vs. *токарем* 135 предполагается ударение на окончании, то формы *такорю* 18об, *обрак* вместо *оброк* 46об, *рыболовем* 111 vs. *рыболовом* 178 заставляют более настороженно относиться к смешению *а* и *о*; в-третьих, положение о том, что "... собственно орфографическая интерпретация устойчивых архаических флексий... должна быть решительно отведена" [Марков 1974 : 113], само по себе кажется нам излишне решительным: все-таки фреквенция книжных окончаний не должна интерпретироваться как бесспорное свидетельство их существования в живой речи – иначе нам пришлось бы декларировать наличие в московском говоре адъективной флексии РП *-аго*, ср.: *седьмаго* 25, 28, *осмаго* 33, 41, *святаго* 33, 90об, *славнаго* (bis) 33, *осьмаго* 43, *шездесятаго* 76, *перваго* 96, 111, *вьтораго* 100а, *втораго* 103, 104, 109об, 111 (ter), *третьяго* 116об и т.д. Если пишущие были в состоянии усвоить правило написания этого окончания, для них, по-видимому, не составляло особого труда затвердить и орфографическую норму передачи флексии *-омѣ*; иными словами, они писали отнюдь не "без определенных грамматических правил" (Кн. ключей, 11). Показательно, что в явно безударной позиции, когда, кажется, естественным было бы написание *-ам* в соответствии с акающим произношением, писцы весьма последовательно пишут *-ом*: *дворником*, *чюлочником*, *плотником*, *посошником*, *крестечником* и т.п. Следовательно, у нас нет оснований считать, что написания *дворникам* 6, *по селам* 20об, *на сараях* 38об, *детям* 61, *рабятam* 61об, *рыболовам* 122, *воротам* 176 непременно отражают аканье; напротив, мы полагаем, что именно немногочисленные формы с *-а-*, в отличие от орфографически закрепленных форм с *-о-*, обличают реальное состояние морфологической системы московского диалекта на описываемом участке.

Слабым аргументом в пользу длительного употребления старых флексий мн.ч. в северо-восточных говорах служат, на наш взгляд, и данные акцентуированных церковнославянских рукописей (ср. [Зализняк 1985 : 279]). Ориентируясь в своей морфологии на церковнославянские парадигмы, эти тексты, возможно, и отражали реальные изменения ударения – что, однако, вовсе не означает столь же послушного следования живому языку в передаче грамматических форм. Симптоматично, что в современном русском языке реликтами архаичных флексий являются только форма *поделом* – по всей вероятности, церковнославянская [Буслаев 1959 : 220], хотя и отражающая позднюю перетяжку ударения на флексию, а также фольклорные примеры типа *по темным лесом*, "сохранившиеся благодаря традиционности песенного языка" [Обнорский 1931 : 305].

Картину, принципиально отличающуюся от севернорусского состояния, демонстрируют памятники южного и западного происхождения. В галицко-волинских текстах конца XIII – начала XIV в., описанных А.И. Соболевским [Соболевский 1884 : 20–39], новые формы косвенных падежей не отмечены ни разу. Основная инновация в области именной флексии, присущая многим южным и западным рукописям, – распространение в МП мн.ч. окончания *-ох* (*жидохъ* Галицкое евангелие 1266–1301 гг., 17об, *самарянохъ* Холмское евангелие, 16об, *жидохъ* Поликарпово евангелие 1307 г., 15об [Соболевский 1884 : 26, 29, 39]; *на землнхъ*, *на ланохъ* Пешак, № 38 и др. [Шахматов 1957 : 269; Иорданиди 1990: 144–145; Історія 1978: 110; Мова 1988 : 79]), которое отчасти, возможно, восходит к окончанию **и*-склонения *-ѣхъ* (ср. западноукраинские формы типа *на возох*, где [о] < [ѣ] не переходит в [і], см. [Історія 1978 : 111]), но в ряде случаев, с учетом позднейших украинских примеров типа *телятих*, *гостюх* [Соболевский 1884 : 115], должно, скорее всего, интерпретироваться как результат типологически общего для большинства славянских языков

(едва ли праславянского) процесса – сближения окончаний косвенных падежей мн.ч. **о*-склонения по образцу форм, включающих элемент *-о-*: ИП *-ове*, РП *-ов*, ДП *-ом* (ср. [Orzechowska 1966 : 49–50; Мирочник 1973]). Таким образом, западные и южные восточнославянские говоры эволюционировали в XIII–XIV вв. по пути, резко отличному от направления, принятого диалектами северными: они унифицировали формы **о*-склонения не синтагматически (межпарадигмально), а парадигматически. Отсутствие *-а*-форм в ДП, МП и ТП на территории Литовской Руси исследуемого периода с очевидностью следует из обширного материала старобелорусских (Полоцк. гр.) и староукраинских (Пещак) грамот: в окружении многочисленных написаний, передающих живую диалектную речь, десятки примеров на *-ом*, *-ех* и *-ы* едва ли могут быть истолкованы как дань традиции. О том, что эти флексии не просто сохранялись в говорах, но и подвергались фонетическим преобразованиям (которые были бы крайне проблематичны для архаизмов), свидетельствуют такие формы, как *оунукумъ* Пещак, № 16, *глинарюмъ* 38, *дворищюмъ* 51, отражающие известное украинское изменение [δ]; примечательны также локативные флексии *-ех/-их* в обозначениях местных топонимов: *оу Тѣшковичехъ*, *оу Новосѣльце(х)*, *оу Тѣшковичи(х)* 51, *оу Бышковичихъ* 53.

Указанная особенность побуждает нас заключить, что процесс унификации **о*- и **а̃*-склонений в косвенных падежах мн.ч., в отличие от существенно более раннего объединения ИП и ВП и развития *В = Р* у имен одушевленных, не носил общедревнерусского характера, но представлял собой изначально собственно великорусское явление. В южных и западных восточнославянских диалектах, образовавших соответственно староукраинский и старобелорусский языки, утрата родовых различий в ДП, МП и ТП началась – по всей видимости, независимо от русских говоров – не ранее конца XIV в., однако здесь она протекала в качественно иных условиях, нежели в великорусских диалектах конца XIII – начала XIV в. (ср. [Andersen 1969 : 32]). Если в памятниках Северной Руси влияние **а̃*-склонения лишь постепенно охватывало формы ДП, МП и ТП, отличавшиеся друг от друга как начальными гласными флексий, так и конечными согласными основ, то в юго-западных говорах в XIV в. уже сложилась весьма унифицированная парадигма **о*-склонения: ИП *-ове* – РП *-ов* – ДП *-ом* – ТП *-ми* – МП *-ох* (ср.: *панове* – *пановъ* – *паномъ* – *панми* – *панохъ* [Иорданиди 1981 : 172; 1988 : 252; 1989 : 239; 1990 : 144–145; 1991 : 52]). Поскольку формы ДП, МП и ТП в этой парадигме были объединены общим вокалическим элементом (в чередовании [о]/[ø]), неудивительно, что завершающий этап становления внеродового склонения во мн.ч. – унификация форм женского, мужского и среднего родов – затронул здесь все три падежа одновременно, вследствие чего в старобелорусских и староукраинских памятниках XV в. мы наблюдаем и ТП *крилами* [Мова 1988 : 94], *закопами* [Історія 1978 : 109], и МП *в островах* [Мова 1988 : 79], *урочищах* [Orzechowska 1966 : 45]¹¹, и ДП *немцам* (Полоцк. гр., № 35, 1405 г.), *къ закопамъ* [Історія 1978 : 107]. Нельзя, однако, не признать, что распространение *-а*-форм мн.ч. на белорусской и украинской территории в целом выходит за рамки традиционного древнерусского периода, между тем как в великорусских говорах – по крайней мере, на Северо-Западе – единая внеродовая парадигма мн.ч. **а̃*- и **о*-склонений с И–ВП на *-ы/-ѣ*, ДП на *-ам*, МП на *-ах* и, в меньшей степени, ТП на *-ами* к концу XIV в. уже в основном сформировалась.

¹¹ К сожалению, все староукраинские примеры МП на *-ах*, приведенные в книге [Історія 1978 : 111], представлены не в оригинальных текстах, а в списках XVI–XVII вв.

ГБ – Будилевич А. XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рукописи имп. Публичной библиотеки XI века. СПб., 1875.

Кн. ключей – Книга ключей и денежных оброков // Книга ключей и долговая книга Иосифо-Волоколамского монастыря XVI века. М.; Л., 1948.

Ст. Р. – Старая Русса. Грамоты 1–13 // Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962–1976 гг.). М., 1978. С. 143–153.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бандуров Б. 1905 – Евангелие-апракос XIV века И. Публ. библиотеки (F. п. I. 9) как памятник др.-русского языка // РФВ. 1905. Т. 43, № 2.

Бодуэн де Куртене И.А. 1903 – Лингвистические заметки и афоризмы // ЖМНП. 1903. Май.

Буслаев Ф.И. 1959 – Историческая грамматика русского языка. М., 1959.

Вайан А. 1952 – Руководство по старославянскому языку. М., 1952.

Дыбо А.В. 1988 – Деклинационные различия новгородских диалектов XIII–XIV вв. и их локализация // Балто-славянские исследования, 1986. М., 1988.

Зализняк А.А. 1985 – От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Иорданиди С.И. 1981 – К истории функционирования флексии именительного множественного -ов'е в восточнославянских языках // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования, 1979. М., 1981.

Иорданиди С.И. 1988 – Из истории форм родительного падежа множественного числа имен существительных в русском языке. I // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования, 1984. М., 1988.

Иорданиди С.И. 1989 – Унификация форм дательного, местного и творительного падежей множественного числа существительных в истории восточнославянских языков. I // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования, 1985–1987. М., 1989.

Иорданиди С.И. 1990 – Из истории форм местного падежа множественного числа существительных в русском языке // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990.

Иорданиди С.И. 1991 – Из истории форм творительного падежа множественного числа в русском языке // Славянская филология: Имя и глагол в исторической перспективе. Рига, 1991. (Науч. тр. Латв. ун-та. Т. 558).

Иорданиди С.И. 1993 – Из истории форм родительного падежа множественного числа имен существительных в русском языке. II // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования, 1988–1990. М., 1993.

Иорданиди С.И., Крысько В.Б. 1993 – Формирование внеродовой именной парадигмы множественного числа в древнерусском языке. I // ИАН СЛЯ. 1993. № 6.

Иорданиди С.И., Крысько В.Б. 1995 – Формирование внеродовой именной парадигмы множественного числа в истории русского и польского языков // Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. Rzeszów, 1995.

Крысько В.Б. 1994а – Двадцать лет спустя (к переизданию книги В.М. Маркова) // RЛing. 1994. V. 18, № 2.

Крысько В.Б. 1994б – Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.

Кузнецов П.С. 1959 – Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959.

Курилович Е. 1962 – К вопросу о генезисе грамматического рода // Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.

Лавров П.А. 1893 – Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка. М., 1893.

Марков В.М. 1974 – Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974.

Махароблидзе Г.А. 1959 – К вопросу об окончаниях -ам, -ами, -ах // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР. М., 1959. XII.

Маценко И.В. 1961 – К вопросу о грамматической индукции в дательном падеже множественного числа имен существительных мужского рода // Дослідження з літературознавства та мовознавства. Ч. II. Київ, 1961.

Медынцева А.А. 1968 – Древнерусские надписи из церкви Федора Стратилата в Новгороде // Славяне и Русь. М., 1968.

Мирочник Е.Ш. 1973 – Из истории форм -й (-ъ) и -о основ в древнерусском языке // Научн. тр. Ташкент. ун-та. 1973. Вып. 449.

Молчанова Н.Ф. 1965 – Унификация форм имен существительных в дательном, местном и творительном падежах множественного числа: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1965.

- Молчанова Н.Ф. 1969а – О времени и закономерностях распространения флексий *-ам* и *-ах* в формах существительных среднего рода // Вопросы истории и теории русского языка. Вып. 2. Калуга, 1969.
- Молчанова Н.Ф. 1969б – О роли статистического метода при определении закономерностей развития морфологического процесса в народном-разговорном языке по письменным памятникам // Вопросы истории и теории русского языка. Вып. 2. Калуга, 1969.
- Молчанова Н.Ф. 1971 – К вопросу об изучении истории морфологических процессов древнерусского языка в локальном аспекте // Вопросы истории и теории русского языка. Вып. 4. Калуга, 1971.
- Обнорский С.П. 1931 – Именное склонение в современном русском языке. Вып. 2. Множественное число. Л., 1931.
- Соболевский А.И. 1884 – Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
- Соболевский А.И. 1907 – Лекции по истории русского языка. М., 1907.
- Степанов Ю.С. 1989 – Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Успенский Б.А. 1988 – История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Budapest, 1988.
- Шахматов А.А. 1957 – Историческая морфология русского языка. М., 1957.
- Шепелева Р.Д. 1972 – История флексий дательного, творительного и местного падежей множественного числа имен существительных (по материалам письменности XI–XVII вв.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1972.
- Шульга М.В. 1988 – Развитие морфологической системы имени в русском языке: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1988.
- Ягич И.В. 1889 – Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889.
- Янин В.Л., Зализняк А.А. 1986 – Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
- Янин В.Л., Зализняк А.А. 1993 – Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
- Добрен И. 1982 – Старобългарска граматика: Теория на основите. София, 1982.
- Історія 1978 – Історія української мови: Морфологія. Київ, 1978.
- Мова 1988 – Мова беларускай пісьменнасці XIV–XVIII стст. Мінск, 1988.
- Andersen H. 1969 – The peripheral plural desinences in East Slavic // International journal of Slavic linguistics and poetics. 1969. V. XII.
- Diels P. 1932 – Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.
- Dietze J. 1977 – Frequenzwörterbuch zur Synodalhandschrift der Ersten Novgoroder Chronik. Halle (Saale), 1977.
- Grappin H. 1956 – Histoire de la formation du nom en polonais. Wrocław, 1956.
- Hock W. 1986 – Das Nominalsystem im Uspenskij Sbornik. München, 1986.
- Orzechowska H. 1966 – Locativus pluralis na **-охъ* w językach słowiańskich // RS. 1966. T. XXVI, cz. 1.
- Vondrák W. 1908 – Vergleichende slavische Grammatik. Bd II. Formenlehre und Syntax. Göttingen, 1908.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1995 г. Ф. ПАПП

М.В. ЛОМОНОСОВ И ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК

Вскоре после возвращения из Марбурга, за несколько лет до начала работы над "Древней российской историей", где немало внимания уделено чуди., в дискуссии с академиком Г.Ф. Миллером М.В. Ломоносов восклицает (кажется, именно так, по-латыни): "Certus quoque sum Hungaros non alio nomine russos, quam quo ipsi se vocent, adpellare" [Ломоносов 1902:126]¹ ("Я убежден, что венгры именуют русских тем именем, каким они сами себя называют" – 1749–1750 гг.). Позже, видимо, он сам передает эту мысль на русском языке таким образом: "Я довольно удостоверился, что венгерцы называют нас русскими, а (остальных?) славян разами (правильно: рацами, орфографически *rátz-ráz* и т.п. – Ф.П.)" (с. 33). Откуда же это "удостоверение", это раннее убеждение о венгерском названии русских? Откуда, хотя и написанное с ошибкой, венгерское слово *rác*? И еще одно неожиданное заявление о том, что в венгерском много славянских слов (с. 202), – сегодня это уже, правда, никого не удивляет, но, чтобы это сказать, надо было быть уверенным в чудском (терминология Ломоносова) происхождении венгерского языка. И все это почти сразу же после возвращения из Германии?

А дело как раз в этой самой Германии. Елизавета из династии Арпадов (*Árpád-házi [szent] Erzsébet*) вышла замуж за маркграфа Людовика еще в XIII веке, стала святой, пожалуй, единственной венгерской святой в мировой католической церкви (*ecclesia mundi*). С тех пор в Марбурге постоянно обучалось немало венгерских стипендиатов, сначала католической, потом лютеранской веры. (М. Лютер терпел только одну святую – Елизавету из Арпадов). Многие, если временами не все девицы Марбурга в крещении получали имя Елизаветы (так нарекли и будущую жену Ломоносова, дочь старшины марбургских пивоваров Иосифа Цильха – Елизавета-Христина). Венгерские стипендиаты были нередко бедны, даже одежду они получали от господина, поддерживавшего их. Они были и значительно старше своих однокурсников: ведь прежде вместо учебы они работали. Одним из таких студентов был Ш. Детшей (*Détsei Sámuel*) из Трансильвании, будущий тамошний лютеранский пастор. Он вел альбом, где рядом с подписью проф. Вольфа и других отчасти известных нам марбургских и прочих иностранных профессоров вдруг появляется сделанная единственным иностранным студентом запись по-латыни и по-русски: *Michael Lomonosoff /Ruthenus/ Aug. 30 Anne 1737* (день отъезда Детшей из Марбурга) [Папп 1983]. *Ruthenus* – это либо название подкарпатских русских-украинцев (но ясно, что Ломоносов таковым не являлся – таковым будет автор первой венгерской грамматики на родном языке), либо, в нашем случае, эквивалент немецкого названия русских-москвитов (относительно последнего значения см. [Szótára 1976], s.v. *rutén*); иными словами, лат. *Ruthenus* в языке марбургских венгров означало в те времена нечто вроде "наш (венгров) русский" (resp. "как вы, венгры, нас, русских, называете"). *Ruthenus Michael Lomonosoff*, кото-

¹ Все остальные цитаты даются (с указанием страницы в скобках) по 4-му изданию [Ломоносов 1952].

рый проучился в Марбурге вместе с Детшей девять месяцев, конечно, прекрасно знал, что венгерцы называют русских русскими (orosz [oros]). Данный факт представлял особую важность для дискуссии с акад. Миллером по поводу норманнской теории: если предки венгров называли русских русскими тогда, когда варягов на Руси еще и в помине не было, то норманнская теория, очевидно, неверна. Однако как раз в этом месте никакого доказательства (источника) у Ломоносова, так любившего, уважавшего источники (известно, что печатание "Древней российской истории" задержалось из-за того, что автор настаивал на слишком сложной системе подстрочных и полевых сносок), нет; судя по всему, именно в этом кардинальном вопросе он просто не мог сослаться на источник: рядом с классиками мировой и русской историографии трудно было назвать в качестве источника марбургскую улицу с ее венгерскими возгласами – отсюда лаконичное утверждение: "Certus quoque sum... / Я довольно удостоверился...".

Следующая по порядку венгерская "реляция" М.В. Ломоносова датируется летом (июнем–августом) 1756 г. Тогда в Петербурге гостил известный венгерский филолог Г. Кальмар (Kalmár György, см. [Папп 1959: 62 и сл.], а также ряд последующих публикаций автора; к сожалению, в указанной статье допущено много грубых опечаток). Здесь дело не в том, на каком языке они говорили между собой (в основном, очевидно, по-латыни), а в том, что Г. Кальмар был ярким противником "чуждской" теории, сторонником скорее легендарной гипотезы о родстве венгерского языка с языками Библии – греческим, еврейским и т.п. После изучения совершенно уникальной находки – личной библиотеки М.В. Ломоносова (см. [Кукушкина, Лебедева 1978]) – мы уже довольно хорошо знаем, какими русскими словами мог обрушиться на несчастного, хотя и по всей Европе известного венгерского гостя Михаил Васильевич – как свидетельствуют его заметки на полях, это был обиженный и оскорбленный, угрюмый человек (см. [Папп 1984]). Впрочем, главное опять не в этом, а в том, что Ломоносов устоял: несмотря на авторитет Кальмара, он ни на йоту не отошел от своих старых, петербургских, академических, европейских "чуждских" воззрений [Рapp 1987].

И, наконец, последний интересующий нас документ, появившийся при жизни М.В. Ломоносова, относится к 1762 г. или более позднему времени. Это перечень ряда языков, причем против некоторых из них стоит крестик – "очевидно, тех, с которыми Ломоносов был знаком" (П.Н. Берков взял на себя смелость высказать это предположение десятилетия назад [Берков 1953: 110, см. 6]). Среди последних фигурируют "летский" и венгерский. В том, что Ломоносов знал оба языка, сомневаться не приходится: о венгерском речь уже шла выше – по всей видимости, это был для него, наряду с немецким, первый живой иностранный язык; что же касается латышского, то среди вновь найденных личных книг ученого видное место занимает монография Адольфи об этом языке [Кукушкина, Лебедева 1978], которая пестрит внимательными пометами Ломоносова (под конец он даже исправляет опечатки автора, см. [Папп 1984]). Заметим, что упомянутый список языков не публиковался еще ни в одном академическом издании сочинений Ломоносова, включая и последнее; хуже того: один-единственный раз он был издан (не в собрании сочинений), однако с роковой опечаткой: без крестика против "венгерской" (см. [Папп 1959: 58]).

В 1855 г. в Санкт-Петербурге вышла первая венгерская грамматика на русском языке, преследовавшая своей целью показать, что Ломоносов был неправ в чуждом вопросе, что язык гордых венгров, чьи изображения приводятся в книге, не чуждого происхождения (автор грамматики, конечно, венгр – об этом см. [Папп 1959: 65 и сл.]); однако эти утверждения подверглись справедливой критике Н.Г. Чернышевского – а следовательно, Ломоносов был прав.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Берков П Н* 1953 – Рец. на кн.: М.В. Ломоносов. Полное собрание сочинений Т. 7. М.: Л., 1952 // ВЯ. 1953. № 6 –
- Кукушкина М В, Лебедева М Н* 1978 – Книги из библиотеки М.В. Ломоносова (дар Университетской библиотеки в Хельсинки) // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей и редкой книги. Л., 1978
- Ломоносов М В* 1902 – Сочинения. Т. 5. СПб., 1902.
- Ломоносов М В* 1952 – Полн. собр. соч. Т. VI. М., Л., 1952
- Панн Ф* 1959 – М.В. Ломоносов и финноугроведение // ФН 1959. № 1
- Панн Ф* 1983 – Венгерский знакомый М.В. Ломоносова в Марбурге // Russica: In memoriam E. Balczyk. Budapest, 1983.
- Панн Ф* 1984 – На полях личной библиотеки М.В. Ломоносова // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1984. XXX.
- Papp F* 1987 – Einige Episoden aus der Geschichte der Finnougristik des 18. Jahrhunderts // Finnisch-ugrische Mitteilungen. 1987. 11.
- Szótára* 1976 – A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Harmadik kotet. O-Zs Budapest, 1976

© 1995 г. В.М. АЛПАТОВ

КНИГА "МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА" И ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Как известно, книги имеют свою судьбу. Судьба книги, впервые изданной в Ленинграде в начале 1929 г. В.Н. Волошиновым под названием "Марксизм и философия языка" (далее – МФЯ), оказалась особенно сложной во многих отношениях. Поначалу она вызвала явный интерес, что отразилось, в частности, в ее переиздании уже в следующем 1930 году. Однако отклики на нее в основном были резко отрицательными. Появившись на грани двух эпох развития советского языкознания: плодотворных и сравнительно спокойных 20-х гг. и крайне неблагоприятных для развития свободной мысли 30-х гг., книга скоро стала объектом типичной для первой половины 30-х гг. разносторонней критики с разных сторон. В одном и том же 1932 г. правый маррист Ф.П. Филин относил В.Н. Волошинова вместе с "близкой" к нему группой "Языкофронт" к "маскирующейся индоевропейской лингвистике, приспособляющейся к условиям реконструктивного периода", по отношению к которой необходимо проявить "особую бдительность" ([ПБКЯ 1932], предисловие к этой книге не подписано, авторство устанавливается по [Филин 1978]), а идейный лидер враждебного марризму "Языкофронта" Т.П. Ломтев заявлял, что такие, как Волошинов, буржуазными теориями о нейтральности языка "прикрывают собой действительную суть языка как боевого оружия класса" [Ломтев 1932]. Затем о книге просто забыли на несколько десятилетий (хотя В.Н. Волошинов, вопреки распространенному мнению, не был репрессирован и умер в Ленинграде в 1936 г.). Новая известность пришла к ней не у нас, а на Западе, прежде всего благодаря Р. Якобсону, усилиями которого книга была переведена в 60-е гг. на английский язык. Затем началось "триумфальное шествие" книги за рубежом; по данным В.Л. Махлина, она "к настоящему времени доступна зарубежному читателю в переводах на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, корейский, сербохорватский и др. иностранные языки" [Махлин 1993: 176]. Кажется, ни одна из советских лингвистических работ не имела столь счастливую судьбу в этом отношении.

У нас же о книге стали постепенно вспоминать, но несколько странным образом. Хотя книга называется "Марксизм и философия языка", но не только в 30-е гг., но и позже она не вызывала ни интереса, ни понимания у тех языковедов, которые считали себя представителями "марксистского подхода" к проблемам языка. Наибольший же интерес она вызывала у тех интеллигентов, которые даже не просто работали вне рамок марксизма, а относились к марксизму любого рода (сначала тайно, затем открыто) резко негативно, возлагая на него ответственность за "тоталитарное зло". Другой парадокс. Книга посвящена проблемам языка, но интересовались ей (во многом в связи с проблемой ее авторства) больше философы, культурологи, литературоведы и в наименьшей степени "чистые" лингвисты [кроме отчасти социолингвистов]. В целом же лингвисты и в 70–80-е гг. ее либо по-прежнему игнорировали, либо относили к научной классике, которую "хвалят, не читая". В библиотеке Института востоковедения РАН уже много лет находится экземпляр первого издания книги с неразрезанными страницами. Показательно и то, что при многих изданиях за рубежом у нас книгу вплоть до 1993 г. не переиздавали.

Еще одна сложность судьбы книги связана с проблемой ее авторства. Если и критики МФЯ 30-х гг., и издатели первого ее перевода считали ее автором В.Н. Волошинова, то с 60-х гг. стала распространяться версия об участии в ее создании М.М. Бахтина, основанная прежде всего на свидетельствах самого М.М. Бахтина в последние годы жизни. А поскольку имя М.М. Бахтина стало исключительно популярным и у нас, и за рубежом, тогда как В.Н. Волошинов был абсолютно забыт, то постепенно книга стала считаться коллективной, а затем и просто сочинением М.М. Бахтина (как и другая вышедшая под именем В.Н. Волошинова книга "Фрейдизм"). Последняя точка зрения, кажется, окончательно победила в наши дни. В каталоге РГБ [б. библиотека им. Ленина] после карточек с публикациями В.Н. Волошинова вставлена карточка с указанием того, что под этим именем "Публиковал свои работы М.М. Бахтин".

Данная концепция последовательно проведена и в последнем, третьем издании книги в нашей стране (далее ссылки на это издание МФЯ непосредственно в тексте с указанием страниц). Книга издана в издательстве "Лабиринт" в Москве как третий выпуск серии "Бахтин под маской" (в той же серии уже вышла книга "Фрейдизм", дается также анонс книги "Бахтин: маски и лица", куда в частности войдут и статьи В.Н. Волошинова; очевидно, по мнению издателей серии, Волошинов вообще ничего в своей жизни сам не писал). На обложке издания нет не только фамилии Волошинова, но даже названия книги: бросается в глаза лишь выделенное крупным шрифтом "Бахтин" (без инициалов), остальное пространство занято текстом, не имеющим прямого отношения к публикуемой работе. В комментариях В.Л. Махлина вопрос о единоличном авторстве М.М. Бахтина рассматривается как нечто уже известное и несомненное.

Между тем все имеющиеся свидетельства, в том числе самого М.М. Бахтина, говорят лишь об одном: участии М.М. Бахтина в выработке концепции книги и в написании ряда ее разделов. Как видно из найденного недавно Н.А. Паньковым отчета В.В. Волошинова о работе над книгой за 1927–1928 гг., ее написание проходило ряд этапов и трудно сказать, как распределялась работа двух авторов на каждом из них. Из дошедших до нас свидетельств М.М. Бахтина (рано умерший В.Н. Волошинов, кажется, ничего об этом не успел сообщить) самое важное содержится в уже опубликованном письме В.В. Кожинуву от 10.01.1961 [ЛУ 1992], где определенно речь идет о двойном авторстве, но Бахтин берет на себя создание "концепции языка и речевого произведения". За неимением других данных из этого и следует исходить. Правомерно сопоставлять идеи книги с другими работами М.М. Бахтина (что впрочем труднее всего сделать в отношении лингвистического аспекта книги, поскольку у этого автора больше нет ни одной работы, специально посвященной лингвистике, и встречаются лишь отдельные попутные замечания в разных сочинениях), но нет оснований включать ее без оговорок в списки его трудов. Тем более неправомерно выбрасывать из истории нашей науки имя В.Н. Волошинова.

Причины неупоминания имени М.М. Бахтина в книге (не только в качестве соавтора, но и в тексте книги) убедительно не смогли объяснить ни он сам, ни его комментаторы¹. Но сама ситуация в истории лингвистики не уникальна. Самый известный пример такого рода – знаменитый "Курс общей лингвистики" Ф. де Соссюра (кстати, подробно анализируемый в МФЯ). Сейчас уже хорошо известно, что прославившая имя ее автора книга далеко не аутентична лежащему в ее основе курсу лекций Ф. де Соссюра. Как пишет А.А. Холодович, "не боясь вступить в конфликт с истиной, мы могли бы констатировать, что эта книга вышла спустя пять лет после смерти Ф. де Соссюра², но мы не решились бы утверждать, что она вышла спустя пять лет после смерти ее автора" [Соссюр 1977: 9]. Коллеги ученого по Женевскому университету и

¹ Расхожая версия о том, что причиной этого послужил арест Бахтина в конце декабря 1928 г., когда книга была, очевидно, в типографии, не имеет оснований: во-первых, еще в 1927 г. аналогичным образом вышла книга В.Н. Волошинова "Фрейдизм"; во-вторых, упомянутый отчет Волошинова, включающий в себя многие теоретические положения книги, также написан до ареста Бахтина.

² Ошибка А.А. Холодовича: на самом деле через три года.

последователи его идей Ш. Балли и А. Сеше после смерти Соссюра на основании сохранившихся у студентов конспектов его лекций подготовили к печати книгу, где, как впоследствии выяснилось, фрагменты прочитанных в разное время курсов совсем по-иному скомпонованы, многое сильно изменено, а кое-что и написано заново; анализ этих изменений см. [Соссюр 1977: 17–21]. Таким образом, авторов у "Курса" по сути три, причем если соссюровскую часть можно еще на основании анализа студенческих конспектов отделить от несоссюровской, то разграничить роль Ш. Балли и роль А. Сеше в написании последней вообще невозможно. Кстати, если бы книга была издана под тремя фамилиями, то скорее всего имя Ф. де Соссюра не стало бы так знаменито: кроме "Курса" у него была лишь одна изданная за 37 лет до него и уже забытая книга (вновь она привлекла к себе внимание исключительно благодаря "Курсу"), а Ш. Балли и А. Сеше до "Курса" и особенно после него опубликовали немало известных трудов³. Но издатели "Курса" скромно отошли в тень в память о старшем коллеге. И мировая слава досталась посмертно ученому за книгу, хотя и включившую в себя многие его идеи, но не написанную им самим. С книгой МФЯ ситуация оказалась обратной: если значение "Курса" превосходит значение других трудов его авторов, то МФЯ все-таки не столь популярна, как литературоведческие труды М.М. Бахтина, и на ее судьбе сказалась мифологизация личности этого ученого.

Еще один пример несколько иного рода, но близкий к МФЯ по времени издания. Годом позже МФЯ появилась грамматика японского языка [Плетнер, Поливанов 1930], подписанная двумя авторами. Авторство в книге не разграничено, но давно известно на основании свидетельства Н.И. Конрада, какие разделы писал каждый из авторов. Однако по крайней мере в части, написанной, как считается, О.В. Плетнером, ситуация не так проста: там есть и изложение идей Е.Д. Поливанова, и просто раскавыченные цитаты из его работ, но также и расхождения с поливановской частью грамматики (например, по вопросу о служебных словах). Поскольку по многим вопросам японского языка оба автора более никогда не высказывались, доказать авторство в ряде случаев невозможно. Но так как Е.Д. Поливанов широко известен у нас, а его соавтор совсем забыт, то не раз любые идеи книги постоянно приписываются Поливанову, примерно так же, как идеи МФЯ Бахтину.

Но проблема авторства все же не главная. Как и в случае "Курса" Ф. де Соссюра, книга МФЯ существует в том виде, в котором она была издана в 1929 г., и должна рассматриваться как цельное сочинение. Надо выявить идеи книги и ее место в мировой науке о языке.

Необходимо отметить, что приписывание книги М.М. Бахтину помогло известности книги и ее переводу на многие языки, но в чем-то сослужило ей и плохую службу. Как мы уже говорили выше, она стала восприниматься как в первую очередь философско-методологическая, а не лингвистическая (по крайней мере, у нас). Особенно это заметно в последние годы, когда количество публикаций о М.М. Бахтине резко возросло. Лингвистические аспекты МФЯ рассматриваются лишь в немногих публикациях (см., например [Киклевич 1993]). Ярко проявилась господствующая тенденция в комментариях В.Л. Махлина к новому изданию МФЯ. Их автор проявляет большую философскую эрудицию, подробно обсуждает вопрос о том, какое место занимала книга в философском контексте эпохи, сопоставляет ее с различными работами М.М. Бахтина, но почти полностью игнорирует собственно лингвистическую проблематику книги. Игнорирование такого рода иногда просто приводит к искажению смысла книги⁴.

³ В раннем варианте МФЯ, упомянутом выше отчете В.Н. Волошинова, именно Ш. Балли рассматривается как ведущий представитель современной лингвистики, а Ф. де Соссюр упомянут лишь мимоходом.

⁴ Дважды, на стр. 67 и 68, комментатор приводимые в первых изданиях МФЯ по-французски цитаты из "Курса" Ф. де Соссюра заменяет русским переводом А.М. Сухотина по последнему изданию 1977 г., не замечая, что перевод некоторых терминов у А.М. Сухотина и в МФЯ различен, в частности, термином "речь" переводятся разные термины Соссюра. Не прокомментирована даже явная ошибка МФЯ: в книге неоднократно говорится о двух работах "Р. Шора", хотя речь идет о Розалии Осиповне Шор.

Нам бы хотелось прежде всего рассмотреть именно лингвистическую сторону книги, прежде всего сосредоточенную в ее второй (из трех) части, сопоставить ее идеи как с предшествующей ей наукой о языке, так и с последующим развитием лингвистики.

Первая из этих двух задач ставится непосредственно в самой книге, вторая часть которой имеет во многом историографический характер: в ней дается анализ методологии основных лингвистических направлений XIX и начала XX в. Первая глава второй части имеет целиком историографический характер, две последующие дают критический анализ описанных в первой главе идей и лишь последняя из четырех глав, самая короткая, не имеет прямой связи с историческим очерком лингвистики. Позитивные идеи даются в МФЯ в значительной степени как результат полемики с предшественниками.

В книге дается краткая история основных лингвистических направлений в европейской и отечественной науке, выделяются основные направления. Само выделение этих направлений достаточно оригинально.

Можно сопоставить подход МФЯ к подходами других лингвистов той же эпохи. В качестве двух довольно типичных примеров приведем две работы несколько более позднего времени: статьи датского лингвиста В. Брёндаля [AL 1939] и чешского лингвиста В. Матезиуса [Mathesius 1939], включенные в русских переводах в известную хрестоматию [Звегинцев 1960]. Точки зрения обоих авторов достаточно типичны для науки того времени, когда уже было осознано значение новых, структуралистских идей, введенных в науку после появления "Курса общей лингвистики" Ф. де Соссюра.

В. Брёндаль противопоставляет новую, структурную лингвистику прежней, позитивистской, рассматриваемой как единое целое. Два направления, как показано В. Брёндалем, четко различаются по своим методологическим основам и несоместимы друг с другом. Под позитивистской лингвистикой в первую очередь понимается "сравнительная грамматика – детище XIX века" [Звегинцев 1960: 40], в основном в ее более позднем, младограмматическом виде, поскольку именно от младограмматизма отталкивались основатели структурализма.

В. Матезиус в отличие от В. Брёндаля разграничивает и в науке XIX в. два направления и "две различные теоретические и методические точки зрения" [Звегинцев 1960: 87]. "Одним из таких взглядов был исторический и генетический" (там же), идущий от Ф. Боппа через А. Шлейхера к младограмматикам, составляющим "высший этап в развитии этого направления" (там же). Второе, "аналитическое" направление В. Матезиус связывал с именами В. Гумбольдта и его последователей – Г. Штейнтала и Ф.Н. Финка. Главной особенностью подхода В. Гумбольдта, по мнению В. Матезиуса, было то, что "его целью было стремление углубить общие принципы лингвистического исследования. Именно поэтому он мало интересовался историческим развитием языка, а сравнивал различные языки с чисто аналитической точки зрения, не обращая внимания на их генетическое родство" [Звегинцев 1960: 88–89]. Данное направление именно на основе вышеуказанных черт В. Матезиус признавал более близким к современной лингвистике, чем "историческое и генетическое" языкознание. Однако "идеи аналитического направления могли бы стать плодотворными в развитии языкознания, если бы их авторы смогли ясно и чисто лингвистическим способом сформулировать последние и на базе их создать точные исследовательские приемы. Этого не случилось" [Звегинцев 1960: 89]. Науке XIX в. противопоставляется современная лингвистика в целом, ее основателем, в отличие от В. Брёндаля, В. Матезиус наряду с Ф. де Соссюром считал и И.А. Бодуэна де Куртене.

Отметим еще два общих свойства подходов В. Брёндаля и В. Матезиуса. Оба считают началом научной лингвистики начало XIX в., игнорируя все, что существовало до этого. Оба считают, что современная лингвистика, сформированная Соссюром, до начала XX в. не существовала.

Концепция МФЯ, имея некоторые черты сходства с описанными выше, по сути принципиально другая. Здесь выделяется два основных направления в истории науки

о языке, именуемые "индивидуалистическим субъективизмом" и "абстрактным объективизмом" (с. 53). Основателем первого направления признается В. Гумбольдт и в целом по своим рамкам оно близко к "аналитическому" направлению у В. Матезиуса. Однако если для В. Матезиуса это направление уже в прошлом, то МФЯ доводит его до современности, вполне правомерно причисляя к нему К. Фосслера и его школу, в частности, Л. Шпитцера, а также Б. Кроче. Конечно, надо учитывать, что В. Матезиус проводил свой анализ в более поздний по сравнению с временем написания МФЯ период, когда победа структурализма в западноевропейской лингвистике была более явной. "Абстрактный объективизм" прежде всего связывается с Ф. де Соссюром и его последователями Ш. Балли и А. Сеше (из их отечественных приверженцев названы Р.О. Шор и В.В. Виноградов); в числе лингвистов, укладывающихся в рамки "абстрактного объективизма", упомянут и И.А. Бодуэн де Куртене.

Пока все в целом имеет сходство с идеями В. Брэндаля и особенно В. Матезиуса. Однако в МФЯ вообще не выделяется то направление лингвистики XIX в., которое не только два упомянутых автора, но и большинство других считали основным. "Такое крупное явление лингвистики второй половины XIX века, каким было движение младограмматиков", имеет, как и ряд других, "по отношению к двум разобранным направлениям, смешанный или компромиссный характер" (с. 69). Показано, в чем взгляды младограмматиков сближаются с первым и со вторым из главных направлений. Кроме того, "абстрактный объективизм" вовсе не считается порождением XX в. Его истоки МФЯ находит "у Лейбница в его концепции универсальной грамматики" (с. 64), отмечается также, что "идеи абстрактного объективизма" рождены "на французской почве" (с. 65); по-видимому, имеются в виду грамматика Пор-Рояля и другие универсальные грамматики, хотя ни одна из них не упоминается в книге.

Но различие не только и не столько в самой классификации направлений. Главные причины их различий видятся в МФЯ не там, где их искало большинство лингвистов структурного направления. Вопрос о разграничении синхронии и диахронии, преимущественный интерес к истории или же к синхронному исследованию — все это, согласно МФЯ, лишь следствие более глубоких методологических различий.

Различия двух направлений даны в книге суммарно в виде противопоставления по четырем главным пунктам. "Индивидуалистический субъективизм" исходит, согласно МФЯ, из следующих "основоположений":

"1) язык есть деятельность, непрерывный творческий процесс созидания..., осуществляемый индивидуальными речевыми актами;

2) законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы;

3) творчество языка — осмысленное творчество, аналогичное художественному;

4) язык как готовый продукт..., как устойчивая система языка (словарь, грамматика, фонетика) является как бы омертвевшим отложением, застывшей лавой языкового творчества, абстрактно конструируемым лингвистикой в целях практического научения языку как готовому орудью" (с. 53–54).

А вот так формулируются противопоставленные им "основоположения" "абстрактного объективизма":

"1) Язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и непрекаемая для него.

2) Законы языка суть специфические лингвистические законы связи между языковыми знаками внутри данной замкнутой языковой системы. Эти законы объективны по отношению ко всякому субъективному сознанию.

3) Специфические языковые связи не имеют ничего общего с идеологическими ценностями (художественными, познавательными и иными). Никакие идеологические мотивы не обосновывают явления языка. Между словом и его значением нет ни естественной и понятной сознанию, ни художественной связи.

4) Индивидуальные акты говорения являются, с точки зрения языка, лишь случайными преломлениями и вариациями или просто искажениями нормативно тождественных форм; но именно эти акты индивидуального говорения объясняют истори-

ческую изменчивость языковых форм, которая как таковая с точки зрения системы языка, иррациональна и бессмысленна. Между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов. Они чужды друг другу" (с. 63–64).

Конечно, любое суммарно-тезисное перечисление основных черт многообразного научного направления всегда огрубляет реальную ситуацию. Вряд ли, например, кто-то из структуралистов понимал язык как "неизменную систему" (и даже в формулировке МФЯ пункт 4 фактически противоречит этому утверждению). И.Ф. де Соссюр и многие его последователи, конечно, должны были как-то объяснять неоспоримый факт изменчивости языка. Однако верно отмечено, что "неизменность системы" – некоторый идеал или по крайней мере удобное допущение для "абстрактного объективизма", а совмещение такого подхода с необходимостью ответа на вопрос, почему же язык все-таки изменяется, требует явного усложнения теории с введением "антиномий" и пр. Не разграничены в данных формулировках две, вообще говоря, разные вещи: принципиальное отрицание некоторого явления и отказ от его рассмотрения. Например, мало кто из структуралистов буквально говорил, что экстралингвистические (идеологические, по терминологии МФЯ) мотивы "не обосновывают явления языка". Речь шла обычно о другом: такое обоснование в принципе существует, но его изучение не входит в задачи лингвиста, этим занимаются антропологи, литературоведы и пр. (ср., например, позицию даже такого крайнего структуралиста, как З. Хэррис [Harris 1960]).

Не всегда разграничиваются общие свойства направлений в целом и индивидуальные положения тех или иных школ. Например, установление параллелей между языковым и художественным творчеством – скорее специфическая особенность школы К. Фосслера⁵. С другой стороны, положение о том, что "между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов", вошло в историю лингвистики как особая точка зрения Ф. де Соссюра, не поддержанная большинством его последователей. Впрочем, последняя ситуация могла еще не быть ясна к 1928 г.

Но при всех этих оговорках, как нам представляется, данная классификация действительно отразила многие существенные свойства лингвистических теорий XIX в. и начала XX в. Впрочем, в эту схему в целом укладываются и рациональные грамматики типа грамматики Пор-Рояля, которые еще более последовательно, чем, скажем, Ф. де Соссюр, исходили из того, что "язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и непререкаемая для него"⁶. Младограмматики при таком подходе закономерно оцениваются как эклектики, совмещающие индивидуально-психологический подход со стремлением "построить незыблемые естественно-научные законы языка, совершенно изъятые из какого бы то ни было индивидуального произвола говорящих"⁷. Позиция "наблюдателя со стороны", не причисляющего себя ни к одному из разбираемых направлений, позволила увидеть то, что не замечали структуралисты, которым важнее всего было отграничить свою точку зрения от позиции наиболее авторитетных предшественников – младограмматиков.

Все перечисляемые в МФЯ различия двух направлений прежде всего сводятся к

⁵ Вообще книге свойственна переоценка значения школы К. Фосслера, в отличие от соссюрианства довольно скоро сошедшей на нет (еще больше такая переоценка заметна в отчете В.Н. Волошинова). Эта школа явно повлияла на авторов МФЯ, возможно, в связи с их интересом к проблеме роли языка в художественном творчестве.

⁶ Рациональные грамматики с XIX в. и до 60-х гг. XX в. имели плохую репутацию, и структуралисты просто игнорировали их наследие.

⁷ Впрочем, индивидуальный психологизм скорее следует считать не чертой "индивидуалистического субъективизма", а общим свойством лингвистической и, шире, общенаучной парадигмы второй половины XIX в. Вряд ли можно говорить о психологизме как определяющем свойстве учения В. Гумбольдта первичен у него "дух народа", понятие, утраченное наукой в процессе перехода от классической философии к позитивизму. У последователей В. Гумбольдта "дух народа" сменился индивидуальной психикой. С этой оговоркой младограмматики, как и А. Шлейхер, скорее сближаются с "абстрактным объективизмом".

неоднократно упоминаемому в книге разграничению В. Гумбольдта: *ergon* – *energeia*, то есть к различию деятельностного, динамического и системно-статичного подходов. Такой взгляд на развитие науки о языке был достаточно специфичен. Ср. уже упомянутую статью В. Матезиуса, где данное разграничение В. Гумбольдта упоминается, но явно не считается основополагающим: "Мысль о том, что анализировать язык означает анализировать деятельность (*energeia*), а не результат деятельности (*ergon*), хотя и помогла ему понять значение функции в языке, но вместе с тем принуждала его слишком высоко оценивать психологическую точку зрения" [Звегинцев 1960: 89]. Отметим здесь понятие "функции", к которому мы еще вернемся, но видно, что для В. Матезиуса значение В. Гумбольдта заключается не столько в деятельностном подходе к языку, сколько в первых попытках сравнения языков вне генетического родства.

Различия двух подходов к языку в МФЯ проецируются в прошлое, выделяются исторические причины, способствовавшие формированию каждого из них. При этом напрашивается вывод, прямо не формулируемый в МФЯ, но вытекающий из производимого анализа: именно "абстрактный объективизм" исторически первичен. Дело даже не в том, что Г. Лейбниц жил раньше В. Гумбольдта. Важно то, что именно такой подход развивался в связи с двумя задачами, формирующими лингвистическую традицию: толкованием текстов и обучением языку.

О возникновении европейской и других лингвистических традиций в МФЯ говорится так: "Филологизм является неизбежной чертой всей европейской лингвистики, обусловленной историческими судьбами ее рождения и развития. Как бы далеко в глубь времен мы ни уходили, проследившая историю лингвистических категорий и методов, мы всюду встречаем филологов. Филологами были не только александрийцы, филологами были и римляне, и греки (Аристотель – типичный филолог); филологами были индусы. Мы можем прямо сказать: лингвистика появляется там и тогда, где и когда появились филологические потребности. Филологическая потребность родила лингвистику, качая ее колыбель и оставила свою филологическую свирель в ее пеленах" (с. 78).

Современный уровень изучения лингвистических традиций требует корректировки этих слов. Поскольку филологический подход к языку требует как достаточно большого числа уже существующих текстов, так и сознания определенных различий между языком этих текстов и обиходным языком, то филология у любого народа не может возникнуть очень рано; лингвистическая же традиция часто формируется много раньше. Лишь наиболее поздно появившиеся традиции вроде японской выросли из филологии. Не ставили перед собой филологических задач ни Панини (уже потом его грамматика стала объектом комментирования), ни Сибавейхи. Даже александрийцы строили грамматики не для филологических целей; это видно уже из того, что объектом грамматик был не язык Гомера, а койне, в ту пору вполне живой язык. Однако верно, что европейская традиция позже, в средние века и во многом в более позднее время, развивалась в силу "филологической потребности".

Из сказанного выше делается вывод: "Руководимая филологической потребностью, лингвистика исходила из законченного монологического высказывания – древнего памятника – как из последней реальности. В работе над таким мертвым монологическим высказыванием или, вернее, рядом таких высказываний, объединенных для нее только общностью языка, лингвистика вырабатывала свои методы и категории" (с. 79).

Далее делается важное уточнение: "Мертвый язык, изучаемый лингвистом, конечно, – чужой для него язык" (с. 80). И далее речь идет о другой, вообще говоря, отличной от филологической, задаче, послужившей формированию лингвистики: "Рожденное в процессе исследовательского овладения мертвым чужим языком, лингвистическое мышление служило еще и иной, уже не исследовательской, а преподавательской цели: не разгадывать язык, а научать разгаданному языку... Эта вторая основная задача лингвистики – создать аппарат, необходимый для изучения разгаданного языка, так сказать, кодифицировать его в направлении к целям школьной

передачи – наложила свой существенный отпечаток на лингвистическое мышление. Фонетика, грамматика, словарь – эти три раздела системы языка, три организующих центра лингвистических категорий – сложились в русле указанных двух задач лингвистики – эвристической и педагогической" (с. 80–81).

Вряд ли верно, что лингвистическое мышление рождалось только при решении первой из указанных задач. Нельзя также ставить как бы знак равенства между понятиями "мертвый язык" и "чужой язык": всякий мертвый язык – чужой, но обратное неверно. Далеко не все традиции вырабатывались на основе изучения мертвых языков, но заслуживает внимания идея МФЯ о том, что для формирования традиций нужно изучение чужих языков⁸: "Поразительная черта: от глубочайшей древности и до сегодняшнего дня философия слова и лингвистическое мышление зиждутся на специфическом ощущении чужого, иноязычного слова и на тех задачах, которые ставит именно чужое слово сознанию – разгадать и научить разгаданному" (с. 81)⁹.

Казалось бы, история европейской традиции противоречит этим словам: вся греческая наука единственным объектом изучения считала свой греческий язык и игнорировала языки "варваров"; к тому же, как уже говорилось, изучался вполне обиходный язык, "свой" во всех отношениях. Однако показательно, что греческая наука за несколько веков своего существования не разработала сколько-нибудь развитый лингвистический аппарат в тот период, когда по-гречески говорили только греки (можно говорить лишь о самом начале такой разработки у Аристотеля). И лишь в Александрии, где для значительной части населения греческий язык койне был самым престижным и в то же время "чужим", такой аппарат появился. Стимулом для создания александрийских грамматик, вероятно, послужили именно педагогические, а не филологические потребности. Ср. похожую ситуацию в арабской традиции, где за поразительно короткое время сложилась очень разработанная методика описания языка. И произошло это как раз тогда, когда встала задача обучения неарабоязычного населения Халифата языку Корана (тогда еще не очень отличавшемуся от разговорного). Характерно, что центрами развития науки о языке стали не исконно арабские земли, а Басра и Куфа, находившиеся на грани арабского и персидского мира.

Переоценивая роль мертвых языков, МФЯ имплицитно отражает другую, на наш взгляд, более важную черту европейской лингвистической традиции и выросшей из нее лингвистики: ориентацию на текст как на исконную данность. Двусмысленность термина "текст", конечно, не случайна и отражает те традиции, о которых говорится в МФЯ. Однако филологизм ко времени написания МФЯ уже достаточно успешно преодолевался, но в то же время более широкое понимание текста (письменный, устный, нормализованный, диалектный и т.д.) не меняло общей картины. Как уже неоднократно отмечалось, во всей европейской лингвистике, существовавшей к 1928 г., анализ преобладал над синтезом, моделировалась позиция слушающего, а не говорящего. Некоторой попыткой преодоления такого подхода была гумбольдтовская традиция, но скорее в общетеоретических построениях, чем в подходе к конкретному материалу. Вполне аналитическим такой подход оставался и у школы К. Фосслера, да и в МФЯ, там, где речь заходит об изучении несобственной прямой речи. Исклительная ориентация на анализ естественно связана с пониманием объекта исследования в виде *ergon*. Синтетический подход к языку нашел отражение, как известно, в индийской традиции, но замечание об "индусах-филологах" показывает, что авторы МФЯ не имели о ней четкого представления.

Важно и еще одно высказывание МФЯ: "Лингвистика изучает живой язык так, как если бы он был мертвым, и родной – так, как если бы он был чужим" (с. 84). См. также неоднократное употребление термина "объективизм", приписывание данному

⁸ Такое изучение нельзя понимать в смысле сравнительного подхода к языку, как раз чуждого большинству традиций.

⁹ Ср. переключку идей о "чужом слове" в этом месте книги с изучением проблемы "чужого слова" в художественном тексте в ее последней части, а также в литературоведческих работах М.М. Бахтина.

направлению "представления о языке как о готовой вещи" (с. 84) и т.д. Здесь всему направлению, согласно МФЯ, свойственно представление о языке как о чём-то внешнем по отношению к его исследователю, позиция носителя языка отделена от позиции лингвиста.

Думается, что такое мнение верно, и то не до конца, лишь в отношении соссюрианской лингвистики, но не в отношении ее предшественников. Позиция традиционной науки о языке всегда была двойственной. С одной стороны, исходным материалом были тексты, т.е. нечто отделенное от исследователя (даже если он сам эти тексты сконструировал). С другой стороны, анализ этих текстов предполагал использование собственной лингвистической интуиции, то есть психолингвистических представлений, как правило, неосознанных. Происходило как бы вживание исследователя в изучаемый текст, а позиция исследователя зависела от позиции носителя языка (ср. интересные соображения на этот счет у японского лингвиста Токиэда Мотоки [Токиэда Мотоки 1983]). Хотя действительно для формирования лингвистических традиций важную роль играли чужие языки, требовавшие обучения, но традиция могла развиваться лишь тогда, когда эти языки становились своими. Латынь для средневекового европейца, койне для александрийского египтянина, арабский для перса Халифата не были материнскими языками, но были своими и с точки зрения культуры, и с точки зрения освоенности. Членение текста на звуки, на слова, классификация слов, выделение парадигм и пр. не были результатом "разгадывания языка", дешифровки, как это предполагается в МФЯ; они были моделями психолингвистического механизма носителя языка. До начала XX в. господствовал подход, который можно назвать "антропоцентрическим", используя термин А. Вежибицкой. Психологические направления в лингвистике пытались как-то эксплицировать эти представления, но не слишком удачно, что вызвало в первой половине XX в. всеобщую критику психологизма в лингвистике вообще, свойственную и МФЯ.

Двойственность исходных положений традиционной лингвистики, а также невозможность экспликации лингвистической интуиции и затруднительность антропоцентрического подхода к языкам, по строю отличным от "своих языков" исследователей, привели к началу XX в. (не без влияния общей научной парадигмы того времени) к попыткам выработать иной, более последовательный, эксплицитный и проверяемый подход к языку, который можно было бы назвать "системоцентрическим" (подробнее см. [Алпатов 1993]). Именно эти попытки, нашедшие отражение в структурализме, анализирует МФЯ, говоря об "абстрактном объективизме". Подход к языку как *ergon* нашел здесь законченное выражение, хотя ни одному структуралисту не удалось совсем избавиться от антропоцентризма, по крайней мере, на практике.

Другое направление, "индивидуалистический субъективизм", по мнению МФЯ, появилось лишь в начале XIX в. Его формирование правомерно связывается с романтизмом. "Романтизм в значительной степени был реакцией на чужое слово и на обусловленные им категории мышления. Ближайшим образом романтизм был реакцией на последний рецидив культурной власти чужого слова – на эпоху Возрождения и неоклассицизм. Романтики были первыми филологами родного языка, первыми, пытавшимися радикально перестроить лингвистическое мышление на основе переживания родного языка как *medium'a* становления сознания и мысли. Правда, романтики все же оставались филологами в точном смысле этого слова" (с. 91). Отмечается "измельчание" направления от В. Гумбольдта к Х. Штейнталу и В. Вундту, уменьшение "размаха", но возрастание "систематичности" (с. 55). Наконец, "в настоящее время первое направление философии языка, сбросив с себя путы позитивизма, снова достигло могучего расцвета и широты в понимании своих задач в школе Фосслера" (с. 55).

Оба подхода в книге подвергаются критике, однако явно симпатии авторов больше склоняются к "индивидуалистическому субъективизму", особенно к школе К. Фосслера (в отчете В.Н. Волошинова эта школа прямо ставится на первое место в теоретической лингвистике современности). Много говорится о специфических недостат-

ках "абстрактного объективизма", недостатки же "индивидуалистического объективизма" по сути оказываются общими для обоих направлений; нет ни одного параметра, по которому бы "абстрактный объективизм" был, по мнению МФЯ, более прав, чем другое направление.

Критика "абстрактного объективизма" в книге начинается с отрицания одного из постулатов структурализма – объективности существования языка¹⁰ (ср. появившуюся в СССР четверть века спустя книгу [Смирницкий 1954], где автор пытался обосновать прямо противоположную точку зрения). В МФЯ сказано: "С действительно объективной точки зрения, пытающейся взглянуть на язык совершенно независимо от того, как он является данному языковому индивиду в данный момент, язык представляется непрерывным потоком становления. Для стоящей над языком объективной точки зрения – нет реального момента, в разрезе которого она могла бы построить синхроническую систему языка" (с. 71–72). "Синхроническая система языка существует лишь с точки зрения субъективного сознания говорящего индивида, принадлежащего к данной языковой группе в любой момент исторического времени" (с. 72). Точка зрения об объективном существовании языка вне субъективного сознания говорящих названа в МФЯ "гипостазирующим абстрактным объективизмом" (с. 73); отмечено, что так считают не все "объективисты": такие лингвисты, как, например, А. Мейе, "дают себе отчет в абстрактном и условном характере языковой системы" (с. 73).

Признавая если не объективную, то хотя бы субъективную реальность языковой системы, МФЯ в то же время подчеркивает: "Субъективное сознание говорящего работает с языком вовсе не как с системой нормативно тождественных форм. Такая система является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом, с определенной познавательной и практической установкой. Система языка – продукт рефлексии над языком, совершаемой вовсе не сознанием самого говорящего на данном языке и вовсе не в целях самого непосредственного говорения" (с. 73–74). Здесь мы видим противоречие с высказанным чуть выше положением о существовании этой системы "с точки зрения субъективного сознания говорящего индивида".

Далее подчеркивается, что система языка вовсе не важна ни для говорящего, ни для слушающего. На самом деле "языковое сознание говорящего и слушающего-понимающего, таким образом, практически в живой речевой работе имеет дело вовсе не с абстрактной системой нормативно-тождественных форм языка, а с языком-речью, в смысле совокупности возможных контекстов употребления данной языковой формы. Слово противостоит говорящему на родном языке – не как слово словаря, а как слово разнообразнейших высказываний языкового сочлена А, сочлена В, сочлена С и т.д., и как слово многообразнейших собственных высказываний. Нужна особая, специфическая установка, чтобы прийти отсюда к себестождественному слову лексикологической системы данного языка – к слову словаря" (с. 76). А главное, "мы, в действительности, никогда не произносим слова и не слышим слова, а слышим истину или ложь, доброе или злое, важное или неважное, приятное или неприятное и т.д. Нормально, критерий правильности поглощен чисто идеологическим критерием: правильность высказывания поглощается истинностью данного высказывания или его ложностью, его поэтичностью или пошлостью и т.п. Язык в процессе его практического осуществления неотделим от своего идеологического или жизненного наполнения" (с. 77).

Итак, языковая система "слагается из элементов, абстрактно выделенных из реальных единиц речевого потока – высказываний" (с. 77) (отметим, что в МФЯ термин Ф. де Соссюра, который мы сейчас привыкли переводить как "речь", переводится как "высказывание"). Для чего же нужна такая абстракция? По мнению МФЯ, в основе ее выделения "лежит практическая и теоретическая установка на изучение мерт-

¹⁰ Впрочем, этот постулат был несколько позднее отвергнут некоторыми направлениями структурализма. Л. Ельмслев в своем предельно абстрактном подходе к языку дошел до понимания языка как игры, обязанной лишь удовлетворять принципам непротиворечивости, полноты и простоты. См. также подход к языку как "фокусу-покусу" у некоторых американских лингвистов.

вых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках" (с. 78). И вслед за этим в книге идет уже нами упоминавшаяся исторически не вполне точная концепция о филологическом происхождении "абстрактного объективизма".

Данная точка зрения критикуется за многое: за учет реальных процессов говорения и слушания, за вырывание языковых явлений из реального контекста, единственно важного для носителей языка, за неспособность оперировать более чем рамками отдельного предложения ("построение же целого высказывания лингвистика предоставляет ведению других дисциплин – риторике и поэтике" (с. 86)), за отрыв языковой системы от процесса ее становления, за общий неисторизм подхода и т.д. При отсутствии в книге терминов "семантика" или подобных ему не раз подчеркивается особое внимание "абстрактного объективизма" к языковой форме, особенно звуковой, при неспособности изучать "идеологическое наполнение" языка; по сути, если использовать более привычные для нас термины, речь идет об игнорировании семантики в традиционной и структурной лингвистике.

Общая оценка "абстрактного объективизма" крайне негативна: "проблема реальной данности языковых явлений как специфического и единого объекта изучения, им разрешена неправильно. Язык как система нормативно тождественных форм является абстракцией, могущей быть теоретически и практически оправданной лишь с точки зрения расшифровывания чужого мертвого языка и научения ему. Основой для понимания и объяснения языковых фактов в их жизни и становлении – эта система быть не может. Наоборот, она уводит нас прочь от живой становящейся реальности языка и его социальных функций" (с. 89–90).

Безусловно, мы имеем здесь дело с одной из наиболее серьезных и интересных (и первых исторически) попыток полемики с соссюрианством в дохомскианской лингвистике. В этом ряду можно отметить высказывания неогумбольдтианцев в Германии, Токиэда Мотоки в Японии, А.Ф. Лосева и В.И. Абаева в нашей стране. В то же время вполне правомерно многие идеи "абстрактного объективизма" рассматривать, как это и делается в МФЯ, не как особенности соссюрианства или даже структурализма в целом, а как гораздо более широкое явление. Любое выделение парадигм склонения или спряжения, начатое в европейской традиции александрийцами, безусловно, связано с имплицитными представлениями о норме и о языковой системе. Структурализм лишь эксплицировал и уточнил эти представления.

Безусловно, в чем-то, как это часто бывает, в МФЯ взгляды оппонентов упрощаются и унифицируются. Многие проблемы, игнорируемые данным подходом, по мнению МФЯ, так или иначе рассматривались и лингвистами, принимавшими соссюрианские постулаты (вспомним учение об актуализации у Ш. Балли, функциональный подход у пражцев). Разрыв между синхронией и диахронией также признавался не всеми. Но в целом надо сказать, что едва ли не все претензии, предъявляемые в МФЯ "абстрактному объективизму", в той или иной степени справедливы. Хорошо известно, что в рамках структурализма (как, впрочем, и предшествовавших ему направлений) не удалось создать ни полноценной семантики, ни лингвистики речи, ни разработанной социолингвистической теории, ни методов анализа текста, ни многого другого.

Тем не менее следует ли из этого, что "абстрактный объективизм" сплошь ошибочен и если к чему-то и пригоден, то только к препарированию "мертвых чужих языков"? Думается, что это не так. В концепцию МФЯ не укладывается уже тот факт, что одним из толчков к активной разработке данного подхода, часто доведенного при этом до крайности (как это произошло в дескриптивизме), послужила задача описания бесписьменных, в частности, индейских языков. Тем более непонятно с этой точки зрения, почему "объективизм" широко используется при обучении не только чужому, но и родному языку¹¹.

¹¹ Впрочем, и в МФЯ сказано, что хотя в обычных условиях "критерий языковой правильности поглощен чисто идеологическим критерием", но именно при обучении языку к высказыванию применяется нами критерий правильности, единственный значимый для "абстрактного объективизма" (с. 77).

Можно согласиться с тем, что говорящий и слушающий в большинстве ситуаций не замечают язык как таковой, а думают лишь о передаваемом с помощью языка содержании (хотя не всегда это так: о языке вспоминают при помехах любого рода в коммуникации, при явном отклонении от нормы, а также при выполнении языком такой особой функции, как поэтическая). Верно и то, что языковая система в том ее виде, который отражен в словарях и грамматиках, представляет собой "продукт рефлексии над языком". Но из этого не следует, что язык – искусственно выделяемая абстракция.

Выше мы отмечали противоречие в МФЯ: языковая система рассматривается то как нечто существующее "с точки зрения субъективного содержания говорящего индивида", то как "продукт рефлексии, совершаемой вовсе не сознанием говорящего". Оба высказывания, на наш взгляд, можно принять, но одним и тем же термином здесь названы разные явления. С одной стороны, носитель языка имеет некоторые, обычно автоматические и (по крайней мере, до конца) не осознаваемые представления о своем языковом механизме (то, что принято назвать "языковой интуицией"). С другой стороны, в результате "рефлексии над языком" происходит моделирование этих представлений, закрепляемое в описаниях языка. Языковая система в последнем смысле не просто извлекается из текстов (попытка такого извлечения в чистом виде – дешифровочный подход у крайних дескриптивистов – оказалась неудачной). Процедуры анализа текстов всегда совмещаются с экспликацией лингвистической интуиции носителя языка¹².

Все сказанное в МФЯ о роли контекста, о диалогичности речи¹³, очень важно и интересно. Однако всё это не отменяет сущностей, моделируемых в словарях и грамматиках. Существует некоторый набор первичных единиц (как правило, слов), хранимых в мозгу и отождествляемых в процессе восприятия, существуют механизмы построения высказываний из таких единиц (или уже существующих их блоков), существуют механизмы восприятия и извлечения из текстов информации через отождествления таких единиц и их блоков. Объективность всего этого подтверждается данными афазий (подробнее см. нашу публикацию [Алпатов 1982]). Речевые процессы не сводятся только к процессу построения высказываний и отождествления языковых единиц; в частности, несомненно значение процессов актуализации, правил построения связного текста, ведения диалога и т.д. Однако и этот как бы "нижний этаж" процесса объективно существует и в этом смысле можно говорить об объективности существования языка. Этот "нижний этаж" в наименьшей степени осознается говорящим и слушающим, но он составляет основу всего остального.

Любой "абстрактный объективизм" начиная с александрийцев и кончая структуризмом ограничивает объект исследования изучением указанного "нижнего этажа", причем, как правило, не полностью: мы уже отмечали, что вся европейская традиция ориентирована на анализ, на моделирование действий слушающего. До Ф. де Соссюра однако такая позиция проводилась имплицитно и неосознанно. Введение же понятия языка в соссюрсовском смысле дало возможность осознанно и достаточно строго установить рамки того, чем занимается лингвистика. Недаром противопоставление

¹² Это может быть интуиция самого лингвиста, если он носитель данного языка, может быть (скажем, при описании мертвого языка) его же интуиция, переносимая по аналогии на другой язык, но может быть и интуиция другого человека – информанта.

¹³ Отметим, в частности, такое положение МФЯ: "Контексты употребления одного и того же слова часто противоречат друг другу. Классическим случаем такого противостояния контекстов одного и того же слова являются реплики диалога... Всякое реальное высказывание в той или иной степени, в той или иной форме в чем-то соглашается или что-то отрицает. Контексты... находятся в состоянии напряженного и непрерывного взаимодействия и борьбы. Это изменение ценностного акцента слова в разных контекстах совершенно не учитывается лингвистикой и не находит себе никакого отражения в учении о единстве значения" (с. 88). Следует указать на явную переключку указанной концепции с идеями писавшейся одновременно книги М.М. Бахтина [Бахтин 1929], а также тот факт, что данные положения уже есть в отчете В.Н. Волошинова вне связи с критикой "объективизма".

языка и речи (в отличие от противопоставления синхронии и диахронии) было сразу принято почти всеми лингвистами, так или иначе воспринявшими идеи Ф. де Соссюра. Некоторые из них (пражцы, Ш. Балли, у нас Е.Д. Поливанов) выходили за рамки изучения языка в соссюрсовском смысле, но, с другой стороны, проявлялась и тенденция еще более ограничить рамки лингвистики, нашедшая отражение в антименталистских концепциях дескриптивизма и их крайнем выражении – дешифровочном подходе и отказе от значения.

По крайней мере, в одном месте МФЯ можно увидеть признание допустимости сознательного ограничения объекта лингвистического исследования: "Языковая форма является лишь абстрактно выделенным моментом динамического целого речевого выступления – высказывания. В кругу определенных лингвистических заданий такая абстракция является, конечно, совершенно правомерной. Однако на почве абстрактного объективизма языковая форма субстанциализируется, становится как бы реально выделяемым элементом, способным на собственное изолированное историческое существование" (с. 86). Но в целом МФЯ свойствен явно максималистский подход. Еще в самом начале второй части книги подчеркивается, что язык представляет собой "сложный, многосоставный комплекс", имеющий физический, физиологический, психологический компоненты, но который для понимания его "души" должен быть еще включен "в гораздо более широкий и объемлющий его комплекс – в единую сферу организованного социального общения" (с. 51).

По сути все серьезные обвинения по адресу структурализма сводились к одному: в рамках структурализма нельзя ответить на ряд вопросов. И большинство этих вопросов можно свести к одному большому: вопросу о "человеческом факторе" в языке. Ни структуралисты, ни их предшественники-"традиционалисты" не могли ничего сказать о том, как функционирует и как развивается язык в человеческом обществе. Однако на эти вопросы сколько-нибудь серьезно можно отвечать лишь тогда, когда уже есть тот или иной ответ на еще один вопрос: как устроен язык. Структуралисты сознательно сосредоточились именно на этом вопросе, всё остальное они либо оставляли на потом (Ф. де Соссюр включил в план своего курса тему "Лингвистика речи", но так и не прочел ее), либо передавали на рассмотрение антропологии и прочих наук, отличных от лингвистики.

В истории самых разных наук бывают как периоды резкого расширения объекта исследования, так и периоды сосредоточения на более узких, но и более четко поставленных проблемах. 20-е гг. XX в. для лингвистики были периодом второго типа, хотя, конечно, не все были согласны с этим. Но в результате такого ограничения наука о языке получила теорию оппозиций, концепцию дифференциальных признаков, дистрибуционный анализ и многое другое, без чего мы уже не можем себе представить эту науку сейчас, какими бы устаревшими ни казались многие методологические предрассудки структуралистов. В МФЯ верно отмечены многие недостатки соссюрианства, но полное его отрицание (или даже ограничение его применимости изучением мертвых языков) оказалось исторически непродуктивным. (В 1929 г. время еще требовало движения в сторону структурного подхода.)

Преобладающему "абстрактному объективизму" вполне правомерно противопоставлен "индивидуалистический субъективизм". В книге дан лишь очень беглый исторический его анализ, в основном речь идет о позднем его этапе, связанном с именами К. Фосслера и его последователей, а также Б. Кроче. В отличие от предыдущего данное направление оценивается во многом положительно: "Индивидуалистический субъективизм прав в том, что единичные высказывания являются действительной конкретной реальностью языка и что им принадлежит творческое значение в языке... Совершенно прав индивидуалистический субъективизм в том, что нельзя разрывать языковую форму и ее идеологическое наполнение. Всякое слово идеологично и всякое применение языка – связано с идеологическим изменением" (с. 103).

Главные претензии МФЯ к "индивидуалистическому субъективизму" не в том, что

это "субъективизм", а в том, что он "индивидуалистичен". "Индивидуалистический субъективизм не прав в том, что он игнорирует и не понимает социальной природы высказывания и пытается вывести его из внутреннего мира говорящего как выражение этого внутреннего мира... Не прав индивидуалистический субъективизм в том, что ... идеологическое наполнение слова он также выводит из условий индивидуальной психики. Не прав индивидуалистический субъективизм и в том, что он, как и абстрактный объективизм, исходит из монологического высказывания" (с. 103). Отмечено, однако, что в некоторых работах Л. Шпитцера уже начато исследование проблемы диалога, тем самым появляется "более правильное понимание речевого взаимодействия" (с. 103). Если предыдущая глава книги почти целиком полемична, то глава, посвященная критике данного направления, большей частью посвящена изложению позитивных идей о социальной природе высказывания и диалоге.

Интересно сопоставить также оценку школы К. Фосслера в последней части книги: "Очень часто можно услышать обвинение Фосслера и фосслерианцев в том, что они больше занимаются вопросами стилистики, чем лингвистикой в строгом смысле слова. В действительности, школа Фосслера интересуется вопросами пограничными, поняв их методологическое и эвристическое значение, и в этом мы усматриваем огромные преимущества этой школы. Беда в том, что в объяснении этих явлений фосслерианцы, как мы знаем, на первый план выдвигают субъективно психологические факторы и индивидуально-стилистические задания. Этим иногда язык прямо превращается в игрище индивидуального вкуса" (с. 136). Ср. находящуюся здесь же (с. 137–140) весьма резкую оценку взглядов на косвенную речь "абстрактного объективиста" А.М. Пешковского¹⁴.

Важно указать на то, что преимущества школы К. Фосслера заключается в занятии "пограничными вопросами" между лингвистикой и другими науками, в частности, литературоведением. Именно "пограничные вопросы" и исключили на несколько десятилетий из актуальной лингвистической тематики структуралисты (ср. впрочем интерес пражцев к стилистике и поэтике). В основном "пограничные вопросы" как раз и представляют собой предмет позитивной части МФЯ. Речь идет о проблемах, находящихся на границе лингвистики и философии, лингвистики и социологии, лингвистики и литературоведения.

При большой ценности многих идей книги все-таки следует отметить, что они в большинстве даны достаточно эскизно и пунктирно. Важный пример – страницы, посвященные структуре высказывания, где выделены многие важные проблемы, в частности, понятие темы, однако они лишь намечены. И дело тут не только в ограниченном объеме книги и, как можно видеть из отчета В.Н. Волошинова, в ограниченном времени написания ее собственно лингвистической части. Книга МФЯ была пионерской, во многом явившейся не ко времени (не только в своей стране, о чем сейчас много пишут, но и с точки зрения развития мировой лингвистики). Книга была, казалось бы, прочно забыта вскоре после написания кроме всего прочего и потому, что развитие лингвистики как на Западе, так и в СССР шло вплоть до 60-х гг. не в том направлении, о котором говорилось в МФЯ. У "абстрактного объективизма" еще много было резервов развития, многое в его рамках еще предстояло решить, задача обособления лингвистики от других наук, выработки последовательно лингвистических подходов еще оставалась более важной, чем задача интеграции лингвистики с другими гуманитарными науками.

Любопытна написанная в 40-е гг. статья Г.О. Винокура [Винокур 1957], где разбирается полемика между основателем дескриптивизма Л. Блумфилдом и видным представителем фосслеровской школы Л. Шпитцером. Как известно, Г.О. Винокур совмещал в себе лингвиста и литературоведа, по идеям был достаточно далек от

¹⁴ Если принять версию о том, что две первые части книги написаны М.М. Бахтиным, а третья В.Н. Волошиновым, то надо сказать, что лингвистические подходы в разных частях книги вполне совпадают.

дескриптивизма, поэтому можно было бы предположить, что позиция Л. Шпитцера ему ближе. Однако, критикуя Л. Блумфилда, Г.О. Винокур в итоге считает его точку зрения более приемлемой уже потому, что она является лингвистической, тогда как Л. Шпитцер выходит за пределы лингвистики вообще. Если структурализм в разных модификациях продолжал развиваться и приобрел мировой характер, то школа К. Фосслера постепенно сошла на нет, хотя ее влияние испытали некоторые лингвисты, в том числе и у нас (Р.А. Будагов); продолжение той же традиции можно видеть в неогумбольдтианстве, но оно все же в своем развитии не вышло за пределы германоязычных стран.

Из предполагаемых авторов МФЯ В.Н. Волошинов рано умер, а М.М. Бахтин более не занимался специально лингвистикой. Эпизодические его высказывания на этот счет свидетельствуют о некотором изменении его позиции. "Предметом лингвистики является только материал, только средства речевого общения, а не само речевое общение" [Бахтин 1979: 297]. "Лингвистика изучает сам "язык" с его специфической логикой в его общности, как то, что делает возможным диалогическое общение, от самих же диалогических отношений лингвистика последовательно отвлекается" [Бахтин 1979а: 212] (оба высказывания относятся к концу 50-х – началу 60-х гг.). С этими словами вполне могли бы согласиться и "абстрактные объективисты", тогда как в МФЯ говорилось как раз противоположное.

Но как раз в те же годы лингвистическая парадигма вновь стала меняться, а представления о языке "в себе и для себя" как единственном объекте лингвистики стали подвергаться сомнению. Новый этап в развитии науки о языке начался с постановки новых задач: "Возникает необходимость обратиться к некоторому совершенно новому принципу... Этот новый принцип имеет "творческий аспект", который яснее всего наблюдается в том, что может быть названо "творческим аспектом использования языка", т.е. специфически человеческая способность выражать новые мысли и понимать совершенно новые выражения мысли на основе "установленного языка", языка, который является продуктом культуры и подчиняется законам и принципам, частью характерным именно для него, а частью являющимся отражением общих свойств мышления. Эти законы и принципы... не могут быть сформулированы в терминах даже самой усовершенствованной и развитой системы понятий, относящихся к анализу поведения и взаимодействия физических тел, равно как они не могут быть реализованы даже самым сложным автоматом" [Хомский 1972]. Н. Хомский вслед за картезианцами подчеркивал, что "нормальное использование языка носит новаторский характер в том смысле, что многое из того, что мы говорим в ходе нормального использования языка, является совершенно новым, а не повторением чего-либо слышанного раньше, и даже не является чем-либо "подобным" по "модели" (в любом подходящем смысле слов "подобный" и "модель") тем предложениям или связным текстам, которые мы слышали в прошлом" [Хомский 1972: 23]. "Убогой и совершенно неадекватной концепции языка, выраженной Уитни и Соссюром" [Хомский 1972: 32], Н. Хомский противопоставил, наряду с идеями картезианских грамматик XVII в., концепцию В. фон Гумбольдта. Н. Хомский поставил вопрос о возврате к осмыслению "классических проблем, интересовавших таких мыслителей, как Арно и Гумбольдт" (там же).

Конечно, Н. Хомский во многом исходил из совершенно иной интеллектуальной традиции, чем авторы МФЯ, и интересовали его иные проблемы. Не говоря о многом другом, к Н. Хомскому вполне применимы основные претензии МФЯ к "индивидуалистическому субъективизму". Для Н. Хомского действительно все выводится, если угодно, из "внутреннего мира говорящего": он строит гипотезы об индивидуальном мышлении, об индивидуальном процессе говорения, пытается моделировать этот процесс; о социальных процессах и о роли диалога у Н. Хомского речь почти не идет (единственный случай, когда Н. Хомский об этом вспоминает, связан с процессами отлаживания врожденного языкового механизма у ребенка: в данном механизме заложены возможности говорить на любом языке, но в результате общения с окру-

жающими вырабатывается способность говорить только одним определенным образом). Однако, как нам кажется, при явном отсутствии прямого влияния в приведенных выше цитатах из Н. Хомского можно видеть переклички с МФЯ (имеющие, безусловно, общий исходный момент: гумбольдтианскую традицию).

Но главное даже не в прямых параллелях. "Хомскианская революция" сняла методологические ограничения, соблюдавшиеся в период господства "абстрактного объективизма". При этом, безусловно, все положительное, достигнутое структурной лингвистикой, было сохранено. Если максималистская программа МФЯ не замечала этого положительного вклада, то генеративисты вполне это учитывали, указывая в то же время на ограниченную применимость этого вклада: "Достижение структуралистской фонологии состояло в иллюстрации того, что фонологические правила огромного множества языков применяются к классам элементов, которые могут быть просто охарактеризованы в терминах этих признаков, что исторические изменения действуют на такие классы единообразным способом и что организация признаков играет базисную роль в использовании и усвоении языка. Это было открытием величайшего значения, и оно обеспечивает фундамент для большей части современной лингвистики. Но если мы отвлечемся от определенного универсального набора признаков и от систем правил, в которых эти признаки функционируют, остается очень мало существенного. Более того, все в большей и большей степени современные работы по фонологии демонстрируют, что реальная содержательность фонологических систем кроется не в структурных моделях фонем, а в сложных системах правил, посредством которых эти модели строятся, модифицируются и детализируются" [Хомский 1972: 93].

Поначалу хомскианская и послехомскианская лингвистика развивалась весьма далеко от проблем, волновавших авторов МФЯ. Видимо, действительно, ограничения динамического подхода к языку моделированием индивидуального механизма говорения и слушания было столь же необходимо на некотором этапе, как до того ограничение лингвистики структуралистской проблематикой. Однако дальнейшее развитие науки о языке привело к тому, что и "социальная природа высказывания", и "речевое взаимодействие" также стали предметом лингвистического исследования. Лингвистика текста, прагматика, изучение дискурса – все это имеет прямое отношение к проблематике МФЯ. Не случайно и то, что социолингвистика, мало продвинувшаяся после пионерских работ советских ученых 20–30-х гг., стала активно развиваться, прежде всего в США, именно после "хомскианской революции".

МФЯ – достаточно типичный пример книги, выглядевшей маргинальной и даже несколько устаревшей в момент ее появления: она была направлена не только против тенденций, набиравших силу в момент ее написания в советском языкознании, но и в еще большей степени против господствующих тенденций мировой лингвистики (надежды авторов МФЯ на перспективность фосслерянства и на преодоление им недостатков не оправдались). Однако развитие науки идет по спирали и на новом витке оказалось, что в книге, пусть схематично и бегло, но намечались контуры тех проблем, к которым наука стала подступаться спустя 50–70 лет. И поэтому сейчас книга закономерно вызывает больший резонанс, чем в момент появления.

В заключение кратко еще об одной проблеме, вынесенной в заголовок книги: о марксизме. Как мы уже отмечали, не только марристы, но вообще все авторы, писавшие о марксизме в языкознании у нас, не признали книгу "своей" (или проигнорировали, как Е.Д. Поливанов). Сейчас вопрос об отношении МФЯ к марксизму впервые (по крайней мере, в нашей стране) стал дискутироваться. С одной стороны, В.Л. Махлин выдвинул гипотезу о "двойной маске" М.М. Бахтина: воступлении под маской чужого автора и чужого, враждебного учения; по мнению В.Л. Махлина, "весь текст МФЯ" является «не чем иным, как карнавальным переворачиванием официального языка, на котором удастся сказать то, чего сам этот "язык" – марксизм как мировоззрение – никогда не говорил и никогда не сможет сказать, не перестав быть тем, что составляет так называемую "душу" марксизма» [Махлин 1993]. Противо-

положительная точка зрения высказана А.А. Леонтьевым: «В лингвистике к марксизму близко стояли М.М. Бахтин ("Марксизм и философия языка"), Е.Д. Поливанов и др.» [Леонтьев 1994: 36].

Между тем в рассмотренной нами проблематике нет ничего ни специфически марксистского, ни антимарксистского. Вообще, если посмотреть на вторую часть книги, прежде всего интересующую нас, то в ней мы не найдем ни упоминания о марксизме, ни марксистской проблематики (при любом понимании марксизма) кроме заглавия¹⁵. Обсуждаются проблемы теории языка, непосредственно с учением К. Маркса и Ф. Энгельса не связанные.

О марксизме речь идет главным образом в первой части работы, посвященной общеполитическим, методологическим проблемам, которые составляют общеполитическую базу для второй и третьей частей, но не определяют их проблематики. Говорить о "карнавальном переворачивании официального языка" применительно, скажем, к вполне серьезной полемике с соссюрианством нет никаких оснований.

Вообще о построении марксистской лингвистики в 20-е гг. говорили многие, причем с разных позиций: помимо МФЯ можно вспомнить Е.Д. Поливанова, Л.П. Якубинского¹⁶, несколько позже языкофронтовцев (не говорим о марризме, в котором марксизм был явно внешним и конъюнктурным). Но не случайно, что никто из них не создал сколько-нибудь развернутой теории языка, основанной на марксизме. Эти ученые либо ограничивались общими декларациями, либо дополняли методологические принципы марксизма иными идеями (например, Е.Д. Поливанов историческо-концепцией Н.И. Кареева). Идея о построении какой-то особой марксистской науки, в принципе отличной от "буржуазной", была явно догматической, а применительно как раз к лингвистике была вполне определенно отвергнута И.В. Сталиным в известной брошюре 1950 г. Реально творческие поиски в этой области прекратились еще раньше. "Марксизмом" в языкознании сначала без должных оснований был провозглашен марризм, позднее – позитивистская по методологии лингвистика конца XIX – начала XX вв.¹⁷ (см. об этом [Звегинцев, 1989: 20]). Всерьез же о марксистском подходе думали лишь отдельные лингвисты, среди которых нельзя не назвать Т.П. Ломтева, интересовавшегося этими проблемами даже в 50–60-е гг. Само же развитие науки о языке не только на Западе, но и в СССР шло независимо от марксизма (речь, разумеется, не идет о политических взглядах тех или иных лингвистов)¹⁸.

Идеи В.Л. Махлина во многом подсказаны ретроспективным взглядом на судьбу М.М. Бахтина и на его научное наследие, включая "карнавальную" концепцию, разработанную позже написания МФЯ, в 30–40-е гг. В.Л. Махлин основывается на позднейших высказываниях М.М. Бахтина, который, согласно воспоминаниям С.Г. Бочарова, называл проблемы, вынесенные в заголовок книги, "неприятными добавлениями" [Бочаров 1993]. Но нельзя приравнять взгляды М.М. Бахтина в 60–70-е гг. (к тому же после тюрьмы, ссылки, многолетнего непризнания) и в 20-е гг. (когда все это еще было впереди). Взгляды интеллигентов его поколения и воспи-

¹⁵ Для нас непривычно широкое использование термина "идеология", часто используемого как синоним термина "содержание", но такое употребление, совсем не соответствующее пониманию идеологии у классиков марксизма, тоже лишь дань времени.

¹⁶ Не исключена возможность влияния Л.П. Якубинского на авторов МФЯ. Сравнение отчета В.Н. Волошинова с готовой книгой показывает значительную переработку текста именно в лингвистической части. Одной из причин изменений могли быть замечания при обсуждении отчета в ИЛЯЗВ, где как раз работал Л.П. Якубинский.

¹⁷ Аргументом в пользу этого было признание классиками марксизма успехов компаративистики и собственные компаративистские занятия Ф. Энгельса. Но для К. Маркса и Ф. Энгельса позитивные результаты языкознания XIX в. были такими же достижениями передовой науки, как дарвинизм или клеточная теория, которые марксистская философия должна учитывать, но которые никак из нее не следуют.

¹⁸ Любопытно высказывание Н. Хомского в письме японскому лингвисту Т. Окубо, советовавшему учитывать идеи Г. Гегеля и К. Маркса: "Я, конечно, согласен с тем, что это выдающиеся фигуры в истории мысли. Но я не знаю, что они сделали в той области науки, которой я занимаюсь. Если Вы мне подскажете, буду Вам благодарен" [Chomsky 1978: 77].

тания нередко менялись со временем¹⁹. А об ориентации В.Н. Волошинова мы мало что знаем.

Тем не менее говорить о марксизме как "добавлении" к концепции МФЯ ("приятном" или "неприятном", сказать трудно), вероятно, можно. В то время, безусловно, говорить о методологических вопросах безотносительно к марксизму было трудно. В области же языкознания, особенно в Ленинграде, к 1928 г. нельзя было говорить о методологических вопросах и без упоминания имени акад. Н.Я. Марра. Вопрос об отношении МФЯ к марризму может несколько прояснить и вопрос об отношении к марксизму в этой книге.

В отчете В.Н. Волошинова вообще имя Марра не упомянуто и можно предпологать, что при обсуждении отчета встал вопрос о "неучете" его концепций. В окончательном варианте имя академика упомянуто несколько раз и неизменно положительно; автор французской работы о марризме даже отнес на этом основании МФЯ к марристской литературе [L'Hermitte 1987: 28], что, разумеется, не так. Но нетрудно убедиться в том, что упоминания Марра значения для авторской концепции не имеют и появляются там, где возможно какое-то сходство или совпадение взглядов МФЯ и Марра. Общим компонентом, безусловно, было критическое отношение к современной западной и отечественной науке о языке. И именно в связи с этим впервые в книге упомянут Марр, у которого найдена сходная с МФЯ идея: отрицание филологического подхода, занятий мертвыми, а не живыми языками (с. 80–81). Затем, когда речь идет о проблеме чужого слова, упомянута марровская концепция скрещения языков (с. 83–84), в чем усматривается "значение чужого слова для проблемы происхождения языка и его эволюции" (с. 83), но тут же отмечено, что "сами эти проблемы выходят за пределы нашей работы" (с. 83–84). И еще в начале главы о теме высказывания говорится о том, что в первобытном мышлении слово и тема совпадали, в связи с этим снова вспоминается и цитируется Марр, писавший о первобытном мышлении (с. 111–112). И все.

Ясно, что здесь нет ни марризма, ни антимарризма, а есть попытка снять обвинения в "неучете" идей Марра, но в то же время и как-то найти что-то полезное в идеях авторитетнейшего в то время ученого. К 1928 г. Н.Я. Марр безусловно пользовался значительным авторитетом в научных кругах Ленинграда. Особенно его уважали как главного специалиста в области "языковой доистории", где его высказывания принимались на веру специалистами в иных областях науки. В то же время МФЯ, нигде не полемизируя с Марром, определенно отказывает ему в марксизме, заявляя: "До сих пор по философии языка нет еще ни одной марксистской работы" (с. 7)²⁰. Этого, видимо, было достаточно для того, чтобы марристы отнеслись к книге резко отрицательно.

Вполне аналогичным могло быть и отношение авторов МФЯ к учению К. Маркса и Ф. Энгельса. В отличие от вопроса о "новом учении о языке" марксистская проблематика появилась в работе с самого начала: уже отчет В.Н. Волошинова содержит почти все упоминания марксизма, вошедшие в книгу. Акцентирование вопроса о марксизме, по сути занимающего не столь уж большое место в книге, могло казаться полезным с точки зрения "проходимости" книги (действительно, напечатанной очень быстро). Но нет оснований отрицать того, что и здесь авторы книги могли искать и

¹⁹ Показательна, хотя, конечно, не доказательна эволюция взглядов близкого друга М.М. Бахтина и В.Н. Волошинова – М.И. Кагана, за 1917–1937 гг. прошедшего два периода приятия и два периода неприятия советского строя и его идеологии, причем на конец 20-х гг. как раз пришлось его сближение с системой и с марксизмом [Каган 1992].

²⁰ "Единственной марксистской работой, касающейся языка" (с. 7), но посвященной иной проблематике, названа в МФЯ ныне забытая книга о происхождении языка, имя автора которой сейчас может вызвать удивление: это И.И. Презент, известный как "теоретик" лысенковщины. Это был человек, особо склонный к созданию "марксистской науки" в любой сфере. В языкознании он потерпел неудачу, выступив в качестве конкурента Марра, не принятого господствующей школой. В биологии ему удалось добиться большего, но и там в итоге потерпел неудачу.

находить точки соприкосновения с собственной концепцией. Недовольство наукой о языке, рассматривавшей свой объект в статике, как сумму застывших правил, суживающей объект исследования, отрывавшей язык от говорящего человека и от общества, вполне могло находить опору в марксизме с его диалектикой, широким и всеобъемлющим подходом к явлениям при особом интересе к социальной сфере. Марксизмом интересовались и продолжают интересоваться многие, и не только в нашей стране, хотя, конечно, общественная обстановка в СССР в 20-е гг. особо способствовала этому (насильственное же насаждение марксизма, а точнее, квазимарксизма, как "единственно верного учения", в 1928 г. только начиналось). Главный идейный противник МФЯ все-таки не марксизм, а позитивизм и, более конкретно, позитивистская лингвистика, а марксизм тогда многими воспринимался как альтернатива позитивизму (что вполне справедливо). Это вовсе не означает, что проблематика книги была марксистской и определялась марксизмом.

Важно подчеркнуть именно лингвистический аспект книги, до сих пор остающийся в тени, ее пионерский характер, выдвижение идей, созвучных современному этапу в развитии науки о языке. Особенно хочется вспомнить об этом сейчас, когда в 1994 г. исполнилось 100 лет со дня рождения В.Н. Волошинова, а в ноябре 1995 г. исполняется 100 лет со дня рождения М.М. Бахтина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов В.М. 1982 – О двух подходах к выделению единиц языка // ВЯ. 1982. № 6.
 Алпатов В.М. 1983 – Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // ВЯ. 1993. № 3.
 Бахтин М.М. 1929 – Проблемы творчества Достоевского. М. – Л., 1929.
 Бахтин М.М. 1979 – Эстетика словесного творчества. М., 1979.
 Бахтин М.М. 1979а – Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
 Бочаров С.Г. 1993 – Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2.
 Винокур Г.О. 1957 – Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике // ВЯ. 1957. № 2.
 Звегинцев В.А. 1960 – История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1960.
 Звегинцев В.А. 1989 – Что происходило в советской науке о языке // Вестник АН СССР. 1989. № 2.
 Каган Ю.М. 1992 – О старых бумагах из семейного архива (М.М. Бахтин и М.И. Каган) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1992. № 1.
 Киклевич Л.К. 1993 – Язык – личность – диалог (некоторые экстраполяции социоцентрической концепции М.М. Бахтина) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1993. № 2.
 Леонтьев А.А. 1994 – Была ли господствующая идеология марксистской // Из истории отечественной филологической науки. 20–50-е годы. Тезисы докладов конференции. М., 1994.
 Ломтев Т.П. 1932 – К вопросу о большевистской партийности в языке Ленина // Литература и язык в политехнической школе. 1932. № 1.
 ЛУ – Литературная учеба. 1992. № 5.
 Махлин В.Л. 1993 – Комментарий // Бахтин под маской. Маска третья. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. М., 1993.
 Плетнер О.В., Поливанов Е.Д. 1930 – Грамматика японского разговорного языка. М., 1930.
 ПБКЯ 1932 – Против буржуазной контрабанды в языкознании. Л., 1932.
 Соссюр Ф. де 1977 – Труды по языкознанию. М., 1977.
 Смирницкий А.И. 1954 – Объективность существования языка. М., 1954.
 Токизда Мотоки – Основы японского языкознания // Языкознание в Японии. М., 1983.
 ФПФ 1978 – Федот Петрович Филин. Библиография ученых СССР. Серия литературы и языка. Вып. 12. М., 1978.
 Хомский Н. 1972 – Язык и мышление. М., 1972.
 AL 1939 – Acta linguistica. V. 1. Fac. I. Copenhagen. 1939.
 Chomsky 1978 – Гэнго. Токио, 1978. № 9.
 Harris Z.S. 1960 – Structural linguistics. Chicago, 1960.
 L'Hermitte 1987 – Marr. Marrisme. Marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique. Paris, 1987.
 Mathesius V. 1947. – Kam jsme dospěli v jazykozpytu // Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1995 г. О.А. ЛАПТЕВА

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ГОРОДСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В МЕСТНЫХ ЦЕНТРАХ*

*Памяти Варвары Георгиевны Орловой
и Иосифа Антоновича Оссовецкого*

Русская разговорная городская речь к настоящему времени изучена довольно полно. Работы Г.Г. Инфантовой, О.А. Лаптевой и ее группы, Е.А. Земской и ее группы, О.Б. Сиротининой и ее группы и другие работы составляют в русистике самостоятельный раздел. Тем не менее вне рассмотрения остается круг принципиальных вопросов, что не позволяет пока выстроить целостную концепцию структуры и состава русского национального и русского литературного языка.

Русская разговорная и – шире – русская устная литературная речь нуждается в исследовании с позиций теории литературного языка, столь продвинутой работами В.В. Виноградова, Н.И. Толстого, целой плеяды славянских лингвистов, объединенных в Комиссию по изучению славянских литературных языков. Не определено место устной литературной (и разговорной) речи среди разновидностей литературного языка и возникающие при этом соотношения, не выяснен их статус в функционально-речевом и структурно-языковом планах – наподобие тому, как это сделано А. Едличкой, Вл. Барнетом и другими чешскими исследователями применительно к чешскому литературному языку. Устройство современного русского национального языка во всей совокупности его компонентов также не может быть адекватно представлено без установления соотношения общих и конкретных характеристик разговорной и устной литературной речи с аналогичными в формальном и функционально-семантическом планах диалектными характеристиками.

Такие вопросы, как определение городского и регионального просторечия, а также постулирование или отрицание существования региональных вариантов литературного языка, нуждаются в соотнесении соответствующих явлений с теми, которые обнаружены в литературной разговорной речи. Далека от полного выполнения поставленная В.В. Виноградовым задача полевого обследования русской речи городских центров России и нынешних стран СНГ и определение типологии ее группировок.

Свойственное современной лингвистике разьединение синхронных и диахрони-

* От редакции. В предыдущем номере нашего журнала был опубликован обзор Е.П. Захаровой и М.А. Кормилицыной "Проблемы функционально-стилевой дифференциации русского литературного языка в трудах саратовских лингвистов", в котором представители саратовской школы осветили ее достижения.

В этом номере предлагаем читателю еще один взгляд на труды этой школы в области изучения русской разговорной речи, дополненный анализом изданий пермской школы.

ческих методов исследования не обошло стороной и изучение разговорной речи. Остается невыясненным, как и когда возникли выявленные в современной речи разговорные особенности, были ли они свойственны древнерусскому и старорусскому языку и прежде всего их синтаксису и если да, то в какой степени и в каком конкретном воплощении, были ли они в литературном языке XIX в. и начала XX в. Недостаточно обследованы косвенные свидетельства – записки и письма прошлого, деловые памятники более древнего времени в их народно-разговорной струе. Есть лишь интересная попытка В.И. Трубинского [Трубинский 1984] соотнести диалектные и литературные разговорные особенности и В.Г. Мальковой [Малькова 1985] – выяснить возможности реконструкции старорусского устно-разговорного синтаксиса.

Остается мало выявленным и используемым еще один источник истории разговорной речи – записи русской эмигрантской речи первой волны и старообрядческой речи в изоляции (в Сибири) и в иноязычном окружении. Такая речь могла законсервировать особенности живой речи ушедшего времени. Записи эмигрантской речи, конечно, не систематически, велись в лингвистических центрах некоторых европейских столиц, в частности, Кветой Кожевниковой в Праге (ее записи утрачены) и Марьей Лейнонен в Хельсинки и Тампере, собравшей со своими учениками много свидетельств о жизни русских в Финляндии [Bascmakoff and Leinonen 1990] и получившей вместе с ними интересные результаты о представленности современных разговорных синтаксических конструкций в старой эмигрантской речи (эти результаты собраны в дипломных и аспирантских работах). Некоторыми записями живой звучащей речи русских военнопленных времен первой мировой войны располагает и архив Берлинского университета им. Гумбольдта (эти данные все еще не введены в научный оборот).

Не исследован материал универсалий разговорной речи в разных национальных языках. Интересные результаты были получены при изучении английской, французской, чешской, польской разговорной речи – прежде всего в области синтаксиса. Сопоставление их со сведениями о моделях русского разговорного синтаксиса, которые обладают стойкими структурными признаками, не проведено (исключение – Скребнев 1971 и Скребнев 1985) и потому нельзя точно разграничить два пласта явлений – тот, который является принадлежностью лишь русского национального языка и тот, который идет от общей для разных языков психолингвистической базы устного осуществления речи. В связи с этим можно предположить, что вероятно существование даже и материальных совпадений в разных национальных языках. Предварительные наблюдения показывают, что при осуществлении речевого акта возникает ряд моментов, способных повлиять на организацию синтаксиса в речевом потоке, другие же его особенности способствуют сохранению национального своеобразия устно-разговорной синтаксической структуры.

Разговорная речь существует в устной форме, но используется в художественной литературе как один из способов создания образной ткани произведения. Как это происходит? По каким законам стилизуется разговорное средство в художественном тексте и как оно при этом преобразуется? Может ли разговорное средство стать стилистическим приемом, не изменившись материально и функционально, и если да, то любое или только некоторые? Какие разговорные средства в принципе не могут попасть в художественный текст – при том, что он по природе своей может вобрать в себя любое литературное и внелитературное средство? Какую роль при этом играют художественные намерения автора, а какую – его индивидуальная восприимчивость к разговорности?

Комплексного изучения этой проблематики пока не проведено, хотя интересные мысли и материал есть у В.Д. Левина и Т.Г. Винокур [Левин 1971, Т.Г. Винокур 1980], а также у В.Н. Виноградовой [Виноградова 1979]. Интерес к этим вопросам восходит к В.В. Виноградову [В.В. Виноградов 1963].

Задачи изучения современной устной литературной речи требуют продолжения собирательской работы. Предстоит обследовать: 1) исконные территориальные диа-

лекты – чтобы принять или отвергнуть гипотезу о принадлежности выявленных русскими "разговорниками" особенностей разговорной речи только литературному языку или и национальному и одновременно пролить свет на генезис соответствующих явлений; 2) речь городских центров на территории России и тех стран бывшего Союза, где она распространена; 3) отдельные сферы функционирования устной литературной речи.

Это позволяет: 1) выявить место устной литературной речи и разговорной речи в системе русского литературного языка; 2) определить ее соотношение с другими видами устной речи русского национального языка (диалектной и просторечной; характер последней установление названного соотношения позволит уточнить); 3) определить соотношение устной литературной и письменной литературной речи, что, в свою очередь, станет предпосылкой для уточнения реального состава литературного языка в системе соотношения и взаимодействия его разновидностей и принципов его членения на эти разновидности; 4) корректировать понятие функционального стиля литературного языка, которое сможет стать конструктивным и адекватным своему объекту, только если войдет в систему оппозиционных соотношений разновидностей литературного языка и представит эти разновидности по единым, причем не только экстралингвистическим, но и собственно языковым основаниям.

Моделирование единой системы измерений и координат для разновидностей литературного языка сделает возможным представление грамматической системы литературного языка в виде некоего комплекса синонимических средств, организованных в синонимические ряды. Вместе с тем должны обнаружиться ограничения на существование синонимии (видимо, ситуационно-тематического характера). Такая грамматика смогла бы стать в подлинном смысле слова функциональной.

После этих необходимых оговорок относительно исходных понятий перейдем непосредственно к нашему обзору публикаций в местных центрах. Нам уже приходилось неоднократно определять свою позицию в печати относительно публикаций в академических изданиях, поэтому позволим себе здесь их не касаться. Сделанное на местах попробуем обобщить в двух аспектах – с точки зрения теоретических установок сложившихся в местных центрах направлений и с точки зрения приближения к решению обозначенных нами задач.

В отечественной русистике существуют две сложившиеся научные школы – саратовская школа изучения устной разговорной и других видов устной литературной речи, возглавляемая О.Б. Сиротининой, и пермская школа изучения функциональных стилей и в их числе разговорной речи, возглавляемая М.Н. Кожиной. Кроме того, в Екатеринбурге под руководством Н.А. Купиной начинаются исследования городской речи и функциональных стилей, в Барнауле – языка художественной литературы и разговорных элементов в нем (А.А. Чувакин), в Красноярске – экспрессивных и эллиптических элементов разных видов речи, в том числе и разговорной (А.П. Сковородников).

Саратовская и пермская школы имеют давние и прочные традиции, объединяют большой круг исследователей-единомышленников, растят молодых ученых, которые работают ныне в разных городах страны, проводят научные форумы и выпускают продолжающиеся издания. Выпускаемые сборники носят, как правило, тематический характер и затрагивают разные уровни (ярусы) языка. Систематизированных описаний этих уровней, объединенных в коллективной монографии, пока нет. Исключение составляют две вышедшие саратовские книги по лексике и грамматике разговорной речи [Сиротнина ред. 1983; 1992].

Предлагать здесь общую характеристику школ, анализ суммы их идей и методов мы не станем, потому что каждая из школ значительно шире исследований разговорной и устной речи. Наша задача – осветить направления изучения двух последних. Однако отметить некоторые различия в саратовской и пермской школах можно: у них разные объекты исследования и отчасти разные методы анализа. Об объектах

уже сказано (саратовский объект компактнее, пермский – шире), методы же различаются лишь частично, поскольку и та и другая школы опираются на данные лингвистической статистики (пермская – в меньшей мере) и во многом идут вслед за Б.Н. Головиным. В связи с этим лучше остановиться на наиболее крупных проблемах и наиболее впечатляющих результатах.

Когда нам пришлось выступить на страницах этого журнала с обзором работ по разговорной речи (это было более 25 лет тому назад – Лаптева 1967), первые саратовские работы уже существовали, однако школы еще не было. Это делало возможным достаточно полное обозрение имеющейся литературы по намеченным проблемам. К настоящему же времени существует большая серия саратовских исследований и несколько работ монографического характера.

"Вопросы стилистики", объединяющие разные работы саратовской школы и начавшие выходить в середине 60-х гг., к настоящему времени насчитывают 25 выпусков (они были пронумерованы до 15-го выпуска, вышедшего в 1980 г., затем с 1981 г. год выпуска указывался на обложке, а с 1989 г. – лишь на титульном листе, что, конечно, объясняется внешними обстоятельствами), из которых тематические – начиная с 1981 г. Хотя все они названы "межвузовскими", их основу и направление составляют саратовские работы, да и многие другие авторы, ныне не саратовские, вышли из саратовской школы.

Как и во всей нашей (и зарубежной) русистике, до середины 60-х гг. разговорная речь изучалась в Саратове по письменным источникам. Первые работы, основанные на живых звучащих материалах, появились приблизительно в 1963 г., а первая саратовская работа на таких материалах (расшифровки магнитофонных и ручные записи) появилась в вып. 3-м (1969 г.), где Э.А. Ключкова, изучавшая распределение классов слов в живой разговорной речи, показала, что в таком распределении имеет некоторое значение вид речи (диалогический или монологический), который определяет и некоторую разницу в синтаксисе высказывания, однако большее значение имеет тип (стиль) речи, о форме же (устной или письменной) сказать в это время было еще ничего нельзя. В этой небольшой статье оказались первоначально сформулированными сложившимися к этому времени принципиальные воззрения и направления саратовской школы.

Применяя статистический метод, исследователи рассматривали употребление и функционирование разных частей речи и других явлений в разговорной речи. Э.А. Ключкова (Столярова) получила данные о существительных и прилагательных в их функционировании и семантике (вып. 9, 1975; вып. 14, 1978); одновременно касаясь вопроса о факторах, формирующих отличие разговорной от иных типов речи, она считает ведущими собственно стилевые признаки разговорной речи и малосущественным признаком формы речи. Такое понимание свойственно вообще саратовской школе до определенного периода (ср. Н.В. Шевченко, вып. 19, 1984), оно хорошо согласуется со статистическим подходом (разные явления подсчитываются в текстах разной стилистической принадлежности и, естественно, обнаруживаются различия) и в меньшей мере – с результатами анализа расшифровок магнитофонных записей монологической речи, которые на первых порах не были здесь в центре внимания.

И.П. Глотова, Н.И. Кузнецова, Т.Р. Коновалова, В.А. Богданова, Н.И. Ильминская, М.А. Кормилицына, Н.И. Цуканова, Т.В. Кочеткова, А.И. Останин исследовали лексические включения, атрибутивные отношения, частотность определений, экспрессивные конструкции, полипредикативные конструкции, пространственные наречия, глаголы говорения, глаголы движения, обращения в разговорной речи (вып. 4, 1972; вып. 6, 1973; вып. 7, 1974; вып. 9, 1975; вып. 13, 1977; вып. 14, 1978). Атомарность в выборе и анализе явлений на этом этапе предвляла последующее более комплексное обращение к системно-монографическому описанию.

Языковым механизмам организации разговорной речи посвящены статьи З.Л. Новожиновой, Г.Г. Полищук, Е.М. Пыж, где рассмотрены проявления тенденций к экономии и избыточности, обязательности и факультативности (вып. 10, 1975; вып.

1981 г.; вып. 21, 1986). Большая группа исследователей во главе с О.Б. Сиротининой (В.А. Богданова, И.П. Глотова, Е.П. Захарова, Н.И. Ильминская, Н.А. Кирсанова, М.А. Кормилицына, Э.М. Ножкина, Г.Г. Полищук) рассмотрела явление лексической синонимии в разговорной речи в сравнении с научной и художественной (вып. 15, 1980). Г.Г. Полищук вместе с Е.В. Машковой, Т.В. Китаевой, Т.И. Кучинской обратилась к вопросу об отражении разговорной речи в художественном тексте и подтвердила мысль В.В. Виноградова об "олитературенности" такого разговорного явления и мысль Т.Г. Винокур [Т.Г. Винокур 1980] в специальный прием (вып. 11, 1976; вып. 1981 г.). Примечательно, что именно в этот период появляются самые первые наблюдения над языком лекции, то есть над текстом монологическим (Г.Г. Полищук и др., вып. 13, 1977).

Интересный анализ только что появившихся к тому времени первых монографических описаний разговорной речи принадлежит Г.Г. Инфантовой (вып. 14, 1978) – одному из первых накопителей разговорного материала и исследователю экономии сегментных средств [Инфантова 1973; Инфантова 1975].

Проблемный характер исследований усиливается у саратовцев начиная с 1981 года, когда выпуски "Вопросов стилистики" стали формироваться по тематическому принципу. Школа подошла к анализу функционально-стилевой дифференциации литературного языка (вып. 1981 г.), межстилевой и внутрисиловой вариативности языковой системы (вып. 21, 1986), устройства текста и его компонентов (вып. 24, 1992) и, что особенно важно для изучения устно-литературной речи, – устной и письменной форм речи (вып. 23, 1989). Рассматриваются нормы разговорной речи и их варианты (Е.Б. Хатунцева, вып. 1981), продолжается анализ явлений устной научной речи (Н.В. Шевченко, вып. 1981) и в связи с этим – общего вопроса о соотношении официальной и неофициальной речи (В.М. Тобурова, вып. 1982), неподготовленности и спонтанности (Т.П. Бельтенева, вып. 19, 1984), лексические акцентные особенности просторечия сравниваются с фактами публичной речи (В.В. Левитский, вып. 19, 1984).

Конечно, целостной и исчерпывающей концепции относительно принципиальных вопросов устройства литературного языка, его структуры и состава, соотношения в нем различных разрядов языковых средств, характера нормативности его разновидностей, признаков спонтанности и неспонтанности речи, соотношения публичной и непубличной речи как разновидностей литературного языка – пока не возникло. Например, вопрос о норме рассмотрен на материале некоторых фактов из речи жителей Баку, нормативность словесного акцента – на отступлениях от нормы в неграмотной речи, а соотношение неподготовленности и спонтанности – в русле психолингвистических воззрений Л.В. Сахарного [Сахарный 1985; 1989]. Хотя на этом этапе атомарность сохраняется, важно, что все эти работы создали предпосылки для появления исследований монографического характера. Они же подготовили и более поздние собрания по отдельным проблемам [Норма... 1989].

Не менее важен самый факт создания обширной фонотеки и картотеки разнообразных устных и разговорных записей. Такие накопления у нас немногочисленны и не всегда доступны другим исследователям, которые испытывают в них острую нужду, ибо интерес к звучащей речи намного превосходит сейчас возможности обращения к конкретному уже собранному материалу. Кроме того – и это невозможно переобценить – эти собрания фиксируют определенный момент в языковом развитии.

Итак, перед нами – саратовские монографические исследования. Это серия "Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка". Первая книга – "Лексика" [Сиротинина ред. 1983] дополняет описания, выполненные под редакцией Е.А. Земской [Земская ред. 1973; 1983]. Организована она в характерном для саратовской школы ключе – по частям речи (включен и раздел о номинациях) и написана в основном уже названным кругом авторов. Как видно из названия серии, разговорная речь в соответствии с воззрениями этой школы считается функциональным стилем.

Выход книги был подготовлен всей логикой изучения русской разговорной речи,

она была нужна, ее выхода ждали. Несомненным ее достоинством является обширная картотека лексем и словоупотреблений. Описание направлено не только на специфические, но и на общелитературные лексические средства разговорной речи, что позволяет выявить их количественное и функциональное соотношение.

Уже прошлые работы школы дали возможность О.Б. Сиротининой – редактору книги – справедливо утверждать, что разговорно маркированные слова составляют не более 10% всей лексики, употребляемой в разговорной речи, и, более того, они в ней необязательны и существуют наряду с общелитературными синонимами. Это хорошо согласуется с данными словаря Ю.Г. Овсиенко [Овсиенко ред. 1968] и с наблюдениями Д.Н. Шмелева [Шмелев 1977]. На фоне преобладания глагольной лексики отмечено большое однообразие лексем и слабая реализуемость синонимических возможностей языка: в специальном разделе констатируется минимальная представленность в разговорной речи лексических синонимических рядов.

В книге есть фактические данные, подтверждающие проводимое Д.Н. Шмелевым членение на речь специальную и речь художественно-изобразительную и мысль Г.А. Золотовой [Золотова 1982: 341 и др.] о различиях информативного и изобразительного регистров в выборе языковых средств. О.Б. Сиротинина также констатирует, что разговорная и художественная речь ближе друг к другу, чем к научной и деловой. Общий вывод книги: лексика, употребляемая в разговорной речи, особой системы не образует, а является разновидностью общерусской лексической системы (с. 227), ее "упрощенным вариантом". Суть этого вывода не вызывает возражений, но формулировка может быть уточнена той оговоркой, что любой вариант системы может рассматриваться как подсистема, то есть он тоже системен. Это не схоластика, как может показаться, но отражение принципов устройства литературного языка и соотношения при его функционировании языковых и речевых единиц.

В книге просматривается совершенно конкретная задача – дать представление о реальной представленности в разговорной речи различных пластов лексики вплоть до отдельных лексем. Полученная картина впечатляет своей достоверностью, простотой и натуралистичностью в хорошем смысле слова.

К монографии примыкает сборник "Предложение и слово в русском языке" (1985), где ставится вопрос о номинативной функции обеих единиц и где к известной мысли о нанизывании частей высказывания в устном речевом потоке О.Б. Сиротининой добавляется идея о подобном нанизывании отдельных слов.

Вторая книга серии посвящена грамматике [Сиротинина ред. 1992] и, как и первая, дополняет имеющиеся описания О.А. Лаптевой [Лаптева 1976] и Е.Н. Ширяева [Ширяев 1986], а также описания, выполненные под редакцией Е.А. Земской [Земская ред. 1973; 1981]. В отличие от этих книг, центром внимания которых являются специфические особенности грамматики и, уже, синтаксиса разговорной речи, в книге "Грамматика", как и в "Лексике", характеризуется весь объем языковых средств разговорной речи и, кроме того, это делается в сопоставлении с языковыми средствами других функциональных разновидностей литературного языка.

Вторая книга, как и первая, выполнена в ключе представления частей речи, но здесь – в их грамматических категориях. Синтаксис представлен разделами о словосочетании, предикативных единицах, осложненных структурах (формально и семантически), типологии предложений. Как и в прежних работах, даются многочисленные таблицы подсчетов употреблений однородных фактов в разговорной, научной, художественной речи, комментируются моменты их сходства и различия. В нашем давнем анализе уже говорилось о слабых сторонах такого метода [Лаптева 1967: 134, 137], однако время показало, что он остается принципиальным для саратовской концепции описания разговорной грамматики.

Хотя монография написана, как и первая книга, разными (преимущественно теми же) авторами, сам монографический жанр должен был бы побудить к устранению принципиальных концептуальных противоречий, но без них, к сожалению, не обошлось. Так, касаясь вопроса о влиянии устной формы речи на грамматику, Г.Г. По-

лищук говорит о ее релевантности для грамматики в отличие от лексики (с. 162). У Э.А. Столяровой противоположная мысль (с. 31) – форма не важна, все дело в стилевых различиях, которые, впрочем, не определяются в своем статусе (ведь само слово, называющее стиль по тематической характеристике текста, еще ничего не говорит о природе образования. Здесь проявляется некая магия номинации). Та же мысль проводится на с. 37 и др.

Нельзя не приветствовать введение в книгу раздела "Текстовая организация речи", хотя О.Б. Сиротинина склонна говорить о "нетекстовом характере РР" (с. 302), о "рядоположенности фраз" (с. 304) и делает вывод о "резком отличии" РР не только от письменной, но и "от любых устных проявлений кодифицированного литературного языка" (с. 308). Эти беглые замечания сделаны без учета ряда работ, более подробно описывающих текстовые особенности устной монологической речи и к тому же участвующих в ведущейся дискуссии о статусе РР, и не войти в контекст этого разговора без специально эксплицированных оснований, пожалуй, уже нельзя.

У читателя остается недоумение и относительно некоторых расхождений принципиального характера в заключительных замечаниях книг "Лексика" и "Грамматика". В первой говорилось о вхождении лексики РР в общерусскую лексическую систему как ее облегченного варианта, а во второй подчеркивается самостоятельность (системная? – О.Л.) каждой функциональной разновидности, хотя и обращается внимание на ее относительность, вызванную господством в любой разновидности общелитературных явлений. Оценивая приведенные в книге статистические данные, О.Б. Сиротинина говорит, что специфика функционирования явлений – не столько количественная, сколько качественная (с. 309–310), и это качество – в "оттенках значений" (? – О.Л.). Тогда в чем смысл акцента на таблицы с подсчетами?..

В итоге все же говорится о принципе системной организации каждой из рассматриваемых разновидностей литературного языка, причем применительно и к лексике, и к грамматике РР – в явном противоречии с выводами первой книги. Это "неточность словоупотребления, местоименность речи при резком уменьшении количества существительных и прилагательных, синтаксическая простота (? – О.Л.), неполнота и нетекстовость" (с. 310). Упоминается синонимическая бедность и частые повторы одного и того же слова. Это так, но этого мало – в литературе давно отмечены (и, кажется, никем не оспорены) такие принципы организации разговорной и вообще устной литературной речи, как экономия и избыточность (Г.Г. Инфантова), прева-лирование смысла над формой (Вл. Барнет), особая структурная роль глагола – не просто частотность – в организации высказывания (О.А. Лаптева), смысловая и синтаксическая дискретность устного монологического текста (О.А. Лаптева). Отмечены также синтаксические и словообразовательные особенности (Е.А. Земская, О.А. Лаптева, Е.Н. Ширяев). Все это можно концептуально не учитывать – но тогда это надо опровергнуть или хотя бы оговорить.

Помимо рассмотренной серии, саратовцы выпустили еще три книги монографического характера. Все они – итог описательной конкретной работы предшествующих лет. Книги эти достаточно разные.

Тематический межвузовский сборник "Функционирование языка в разных видах речи" (1986 г.) вполне мог бы быть издан в серии "Вопросы стилистики". В нем, как и в тематических выпусках этой серии, собрано много разнопланового материала. Вынесенная в название сборника тема, предполагающая рассмотрение проблемных вопросов соотношения языковой и речевой систем, принципов членения литературного языка на разновидности, теоретических основ его моделирования как целого в единстве разновидностей, – затрагивается далеко не во всех статьях сборника. Впрочем, это легко объясняется практическими соображениями составителей.

Русской разговорной речи посвящено три статьи сборника: Т.А. Милехиной, рассматривающей функции иностилевых элементов в разговорной речи, Т.Н. Казеко, пытающейся представить конструкции с именительным темы не как регулярные и нормативные, но как ошибочные или ситуационные построения, и К.Ф. Седова, кото-

рый, подсчитывая количество слов в разных типах предложений, сами типы предложений, средства связи в тексте и под., сравнивает речь младших и старших школьников, чтобы проследить пути развития устной речи. В первой статье привлекает внимание справедливое мнение автора об ассоциативном характере нанизывания частей высказывания при полипредикации. Кроме того, автор показывает, что в разговорной речи употребляются языковые средства практически всех трех разрядов – общелитературные, устно-разговорные и книжно-письменные, причем последние – в специфических функциях.

М.А. Кормилицына монографически рассмотрела полипропозитивное простое предложение в устной речи [Кормилицына 1988]. Семантическая осложненность наблюдается на основных линиях: субъект – предикат, атрибут, обстоятельство, сравнение и авторизация. Цель книги – выявить механизм семантического осложнения простого предложения. Автору это удалось. Рассматриваются по преимуществу общелитературные явления, задача же выявления собственно разговорной специфики специально не ставится. Устный материал носит скорее иллюстративный характер, автор даже не комментирует постпозицию атрибута и другие особенности (с. 61 и др.). Конечно, и в рамках добротного семантического исследования можно было бы найти устную (или только разговорную) специфику, как это удалось, например, Е.Н. Ширяеву [Ширяев 1986].

Правда, в заключении к работе говорится о существенных различиях устной научной и разговорной речи (РР) в основном механизме семантического осложнения: в устной научной используются те же приемы, что и в письменной научной речи, а в разговорной семантическая емкость достигается использованием имплицитованных структур (что соответствует постулированному Вл. Барнетом принципу превалирования смысла над формой). Отсюда делается вывод об УНР как устной форме научного стиля в ее отличии от РР. В самом материале книги этот вывод не очень прослеживается, поскольку исследуются, как уже сказано, преимущественно общелитературные (и отчасти книжнописьменные) языковые средства они составляют основу, в том числе и количественную, всех средств, употребляемых в устной литературной речи). Есть досадные пробелы в литературе – не учтена, например, работа Ю.Г. Ясницкого о лексико-грамматических средствах авторизации в научной речи [Ясницкий 1981].

И, наконец, книга "Функциональные стили и формы речи" (1993 г.) – итог исследований саратовской школы. Сразу же скажем, что книга не очень точно названа – употреблена двусмысленная конструкция, не дающая ориентиров для установления того членения, которое имелось в виду авторами, и заглавие может осознаваться не как сопоставление двух частей, соединенных союзом *и*, но как отнесение слова *функциональные* к двум существительным, соединенным этим союзом, и уточнение всего получившегося словосочетания родительным *речи*. Но это – редакторская мелочь, хотя и заслоняющая исходные понятия и термины.

Книга посвящена центральному дискуссионному вопросу о природе специфики разговорной речи и о структуре русского литературного языка. В ней последовательно рассматривается система функциональных стилей и каждый стиль в отдельности – деловой, научный, публицистический, художественный, разговорный. Принцип их описания – установление "доминанты" для каждого стиля и разграничение и рассмотрение двух форм стиля – письменной и устной. Для обеих форм одного стиля доминанта является общей. Принимается свойственная функциональной стилистике ориентация на экстралингвистические факторы как определяющие специфику стиля (начиная со с. 3). Традиционно отмечается превалирование в стиле одной из трех функций – общения, сообщения и воздействия (мы бы еще прибавили в соответствии с теорией Б. Гавранка: эстетической).

Вопрос о соотношении языка и речи и в этой книге не освещается специально. Вслед за функциями говорится уже о речи – на ее функционировании сказываются подготовленный или неподготовленный ее характер, особенности адресата, условия

осуществления, непосредственность или опосредованность при контакте, мены ролей говорящего—слушающего (с. 4–5). Доминанта формируется совокупным действием этих факторов (с. 5), однако доминанта публицистического стиля определяется через понятие "социальной оценочности" (с. 6 и далее), подобные же категории возникают и при характеристике доминанты других стилей. Тем самым понятие доминанты немотивированно сужается и оказывается разнородным.

Перечислим суммарно неясности раздела о функциональных стилях. Неясно, одна или две разновидности публицистического стиля речь радио и телевидения (с. 6); говорится, что газетная и журнальная публицистика различаются "временем подготовки текста" (с. 7) – то есть для газеты достаточно дня, а для журнала нужен месяц? Но разве это лингвистическая значимость фактора времени? "Стихотворная разновидность отличается от прозаической обязательным расчетом на звучание речи (хотя бы мысленное) при ее зрительно-мнемоническом восприятии" (с. 7) – но ведь внутреннее озвучивание происходит при чтении любого текста, хотя для стихов оно иное, чем для прозы. Это установлено психолингвистами.

Говоря о разговорном стиле, который тоже, согласно выдвигаемой концепции, имеет устную и письменную разновидности, О.Б. Сиротинина как один из ведущих исследователей разговорной речи в отечественной русистике не может не заметить, что "устная форма (разговорная речь) настолько отличается от письменной, что обычно ее выделяют в особую разновидность литературного языка (даже в особый язык), а не считают устной формой разговорного стиля" (с. 7–8). И ниже: "Таким образом, понятие разговорного стиля фактически исключается из системы функциональных стилей, становится термином не функционально-стилевой, а стилистической (книжное – разговорное) дифференциации" (с. 8). К сожалению, в этой ключевой для понимания авторской концепции формулировке снова допущена непроясненность субъекта – исключается другими исследователями или – своими свойствами? И если признается последнее, то как это вписывается в концепцию? Ответа нет.

Далее характеризуются различные виды профессиональной речи, которые по действию доминанты и некоторым статистическим параметрам отдаляются от РР, а по некоторым таким параметрам – приближаются. Все упирается в доминанту (которая для РР почему-то не формулируется, хотя на с. 137 это "минимум заботы о форме выражения"). Говорится даже, что если "будет установлена единая доминанта, организующая все характерные черты судебного речи, то надо будет выделить особый функциональный стиль судебного красноречия, для которого свойственна только устная форма речи" (с. 9). Но как же? Разговорная речь имеет обе формы, а судебная речь как стиль – только одну? Разве ее устный характер создает больше своеобразия, чем в таком полярном по отношению к письменным текстам образовании, как РР? И как это вписывается в предлагаемую теорию стилей, которые (все!) имеют обе формы? Неожиданно следует вывод: "функционально-стилевая дифференциация литературного языка в письменной форме речи не тождественна функционально-стилевой дифференциацией литературного языка в устной речи" (с. 9). И никаких разъяснений. Противоречия не замечаются. После описательных разделов – никакого обобщающего заключения. При всем желании мы не можем считать эту теорию корректно смоделированной.

При характеристике стилей применяются статистические подсчеты весьма общих категорий – например, простых, сложных и многокомпонентных словосочетаний публицистического стиля (в обеих разновидностях). Качественные различия замечаются при таком подходе далеко не всегда. На с. 27, например, авторы (А.П. Романенко, Н.И. Кузнецова) не замечают в приводимом материале, что в письменных текстах сплошь употреблены клишированные словосочетания, а в устных нет. В выводах же снова читаем: различия письменной и устной форм "совершенно теряются" (с. 29) на фоне "ярко выраженных стилистических черт" (стилевых? – О.Л.). Данные Н.Н. Ивакиной [Ивакина 1989; 1990], чьи работы авторы знают, во внимание не принимаются. Анализ завершается снова неожиданным выводом о несовпадении

доминанты двух разновидностей и потому не об устной разновидности публицистического стиля, а об особой гибридной функциональной разновидности, "где ведущими оказываются все же признаки стиля, а не формы речи" (с. 35). Не замечается, что теоретическому введению книги это явно противоречит.

С устной научной речью происходит то же самое. Автор (В.А. Богданова) никак не откликается на известную идею о том, что здесь важно найти разрешающие и запрещающие механизмы на использование в этом типе литературной речи маргинальных устно-разговорных и книжно-письменных особенностей [Лаптева 1983; 1984; 1985 (ред.)]. Применяются категоричные формулировки вроде "употребление любых единиц языка... зависит от стиля" (с. 37) и никак не учитываются, например, работы психолога И.А. Зимней по порождению устной речи или работы наших и американских психолингвистов. Раздел написан на ограниченном материале – сопоставлении статьи и доклада (какого? где? – О.Л.) П.Л. Капицы. Наблюдению подвергаются общелитературные явления (простое словосочетание, простое предложение), а когда это книжно-письменное явление (отглагольные существительные на -ние), то имеющиеся в литературе данные о его распределении не учитываются. А ведь глагольность устной формы научной речи значительно выше, чем письменной [Лаптева ред. 1994]. То же происходит и с терминами – их разреженность в устной научной речи не вызывает сомнений, автор же проходит мимо этого факта. Замечание о меньшей развернутости сообщения в УНР (с. 64) находится в противоречии с утверждением о ее полнооформленности. Лишь у Т.В. Кочетковой находим признание роли формы речи применительно к публицистическому стилю.

По разделу о художественном стиле заметим, что аргументы Т.Г. Винокур, В.Д. Левина, Д.Н. Шмелева и других исследователей в пользу нестилевой природы художественной речи не рассматриваются. Сделаем частное замечание о "заряде устности" в драматургии (с. 112): для разных уровней языка он при сценическом воплощении неодинаков и проявляется прежде всего в интонационной интерпретации текста (сошлемся на интересные наблюдения Е.А. Брызгуновой).

Итак, саратовская школа уже прочно вошла в отечественную русистику. Большой круг заинтересованных исследователей, объединенных общностью воззрений, накопление огромных по объему материалов звучащей речи, уже первично обработанной, влияние и авторитетность – этими своими неоспоримыми достоинствами она обязана творческой энергии и организационному таланту О.Б. Сиротининой, 70-летний юбилей которой недавно отметила научная общественность.

Труды школы позволяют оценить преимущества и слабые стороны статистического метода. Он хорош тем, что позволяет комплексно охватить материал и показать его распределенность по группам текстов. Однако он недостаточно представляет качественную его сторону – функции, выбор варианта, семантические особенности, и создаваемая модель нуждается в восполнении¹.

Извинительна некоторая неотредактированность и небрежность формулировок. Менее понятна недостаточная вписанность в научный контекст и отсутствие дискуссии с неприемлемыми для представителей школы научными положениями других направлений. Слабость и в отсутствии фонетического рассмотрения устно-речевых фактов – ведь многие особенности других языковых уровней идут от строения устно-речевого потока. Впрочем, не обязательно охватывать все. Ведь не можем же мы упрекнуть фонетическую лабораторию Петербургского университета (Л.А. Вербицкая, Н.Д. Светозарова, Н.И. Гейльман и др.), создавшую интереснейшие разработки по суперсегментным фонетическим средствам, выпустившую в свет материалы звучащей речи (и собравшую материалы устной научной), которая пришла к иным выводам, нежели саратовцы [Спонтанные тексты... 1983; 1984; Светозарова ред. 1988], в том, что она не затрагивает иные языковые уровни.

¹ В более поздних работах прослеживается стремление обратиться именно к семантике и функционированию [Захарова 1985].

В Перми плодотворно работает стилистическая школа под руководством М.Н. Кожиной. Центр исследовательского внимания этой школы – литературный язык в его функциональных разновидностях, которые детально характеризуются во многих своих особенностях. Труды школы выходят в монографическом виде и в продолжающейся серии сборников под разными названиями (это скорее всего издательское условие). Здесь в нашу задачу не входит анализ ни тех, ни других публикаций, поскольку разговорная городская речь не является их специальным предметом. Отметим, что в серии представлены и исследования саратовской школы [Сиротинина 1986; 1987; Полищук... 1986; Сиротинина... 1992].

Пермской школой, не уходящей от трудноразрешимых общезыковедческих вопросов о соотношении языковой и речевой (текстовой, синтагматической) системности и внесшей большой вклад в их разработку, ставится общая задача создания комплексной системы экстралингвистических стилеобразующих факторов. Анализ взглядов школы – предмет отдельного пристального анализа и заинтересованного разговора.

Здесь же наше внимание привлекает специальная пермская серия, не имеющая в отечественной русистике близких аналогий (в последнее время стала выходить подобная же екатеринбургская серия, опирающаяся на опыт создания пермской) и специально посвященная изучению живой речи своего региона, – "Ж и в о е с л о в о в р у с с к о й р е ч и П р и к а м ь я". В серии вышло шесть выпусков (с 1969 г.) и определилось ее преимущественное направление, давшее название двум последующим выпускам ("Литературный язык и народная речь"). В ней представлено много живых речевых материалов и интересных исследований. Есть здесь и собственно диалектологические разработки (Ф.Л. Скитова и др.), которые тем не менее всегда повернуты в сторону общезыковедческих вопросов – о соотношении языковой системы и индивидуально-речевого употребления, отдельных диалектных и литературных явлений и под. Диалектные явления прежде всего рассматриваются здесь как речевая база формирования устно-речевых (преимущественно синтаксических) местных особенностей городской речи. Анализируется местная лексика в речи городской интеллигенции, взаимодействие диалектной и общерусской лексики, диалектная и просторечная городская лексика, явления диалектной фонетики и акцентологии в городской речи и под. Городская речь исследуется в разных своих проявлениях и в аспекте нормы, то есть в сопоставлении с общелитературной нормой.

Уже самый этот перечень показывает высокую степень приближения к решению поставленных еще Б.А. Лариным и В.В. Виноградовым задач изучения местной городской речи в ее соотношении с городским просторечием и литературным языком, а в конечном итоге к решению спорного вопроса о региональных вариантах литературного языка. Как известно, первая серия работ о городском просторечии принадлежит воронежской исследовательнице В.И. Собинниковой, которая в пермской серии входит в число авторов.

Из восьми выпусков (1 – 1969, 2 – 1971, 3 – 1972, 4 – 1974, 5 – 1978, 6 – 1979, 7 – 1981, 8 – 1988; прямая нумерация охватывает только первые четыре) в шести участвует Т.И. Дорофеева, интересно исследующая и теоретически обосновывающая вопросы, связанные с региональными вариантами литературного языка и его нормы и со структурой самого литературного языка в свете новых описаний его устно-речевых особенностей и разновидностей. В вып. 2 она на новых для русиста материалах проводит последовательное сравнение трех объектов – фонетики диалектной, фонетики нормативной литературной и фонетики интеллигенции Перми. Рассматриваются и явления словесного акцента.

Теоретический аспект описания – территориальное варьирование устной формы литературного языка. В вып. 3 Т.И. Дорофеева подробно рассматривает местные лексические особенности в речи пермской интеллигенции. В вып. 4 она на материале синтаксиса исследует взаимодействие литературного языка и диалекта. В вып. 5 помещено ее (в соавторстве с Л.К. Королевой) обобщающее исследование, имеющее

целью определить статус разговорной речи в составе литературного языка. Для этого полученные по методике Б.Н. Головина и по несколько измененной методике, принятой саратовцами, статистические характеристики морфологических категорий в официальной и неофициальной речи пермских музыкантов и артистов оперы и филармонии сравниваются между собой и с выводами саратовцев по аналогичным явлениям. Сравнение не дает авторам оснований относить официальную разновидность речи к кодифицированному языку (с. 17), как это делают саратовцы.

В этом же выпуске Т.И. Дорофеева сравнивает явления лексической акцентологии в речи интеллигенции Перми и Кирова, Ленинграда, Москвы. Колебания произносительной литературной нормы "отражают борьбу традиций письменной и живой народной речи" (с. 27), и в этой борьбе разговорная речь становится источником языковых изменений (по Л.В. Щербе). В вып. 6 сопоставляются диалектная и просторечная лексика в разговорной речи горожан, а в вып. 8 (в соавторстве с Ф.Л. Скитовой) показывается, что изучение городской речи дает возможность увидеть во взаимодействии литературного языка и диалектов причину формирования ряда фактов литературной разговорной речи. В столь разнообразной и вместе с тем целенаправленно ориентированной проблематике четко просматривается прямая связь с русской исследовательской традицией. Интересные результаты исследования вносят свой вклад в изучение проблемы территориальных вариантов литературного языка, понимания природы его устных разновидностей, роли формы речи в становлении и статусе устно-речевых образований, а также механизмов языкового развития в их нормативном и узуальном воплощении.

В других статьях серии также привлекает проблемная обращенность частного описания. Сопоставляются диалектный вокализм и сценическая норма, подробно и в разных аспектах рассматривается говор одной очень старой крестьянки, что позволяет интересно повернуть тему соотношения "язык – речь" и обратиться к изучению идиолекта². Показывается диалектный генезис разговорных конструкций согласования по смыслу и конструкций с именительным и творительным предикативным, описываются отдельные любопытные диалектные факты, отражающиеся в городской (в том числе в городской интеллигентской) речи (вып. 2, 3). Сравниваются модификации гласных в Горьком, Перми и Иркутске (вып. 7), изучаются особенности перцептивной базы локальной речи, сравниваются бессоюзные предложения в литературном языке и говорах (вып. 8)³.

В итоге собран обширный и разнообразный материал для непосредственного исследования вопроса о региональных вариантах русского литературного языка. Не хватает только подобных материалов из других городских центров. Первая монографическая работа в этом направлении принадлежит опять же Т.И. Дорофеевой [Дорофеева 1979], которая дает и интересный обзор литературы. Она рассматривает локально окрашенные явления в речи носителей литературного языка в некоторой системе (фонетика, лексика, грамматика – морфология и синтаксис), хотя, конечно, на этом этапе и неполно. Общая установка книги – привлечение диалектного материала не просто в его специфике ("экзотические явления"), но как факта национального языка, тесно связанного с языком литературным (в этом исследователь идет за Б.А. Лариним).

Начали работу в сходном направлении и екатеринбургские исследователи, выпустившие три сборника – "Живая речь уральского города" (1988 г.), "Языковой облик уральского города" (1990 г.) и "Функционирование литературного языка в уральском городе" (1990 г.). Здесь много внимания уделяется локальному социально-возрастному жаргону и профессионализмам. Говорить о результатах пока рано.

Охарактеризованный в обзоре этап можно рассматривать как этап накопления

² Ср. интереснейшую и не имеющую аналогов работу, посвященную изучению лексической системы одного говора [Осовецкий ред. 1969].

³ См. также работу [Собинникова 1975].

материала для постановки и решения ряда задач. Несмотря на известную оторванность от мировой коллоквиалистики, где преобладают социолингвистические, прагматические и дискурсные направления и используются инструментальные методы, наша коллоквиалистика, развиваясь на местах в среде звучащей живой речи, допускающей в силу своей территориальной принадлежности отклонения от усредненной литературной нормы, самим фактом окружения этой речью поставлена перед задачей осмысления факторов обеспечения единства литературного языка. Как направление со своим предметом исследования, со своим кругом идей и задач она за 30 лет своего существования способствовала возникновению и становлению некоторых смежных направлений (назовем здесь исследования устной публичной речи, а также психолингвистическую, прагматическую и социолингвистическую коллоквиалистику), обзор которых не входил в нашу задачу. Что касается построения теории литературного языка с учетом новых разговорных данных, изучения истории становления этих фактов и исследования разговорных универсалий в разных национальных языках, то эти задачи еще ждут своего исследовательского воплощения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Виноградов В.В. 1963 – Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
- Виноградов В.В. 1979 – О стилизации разговорной речи в современной художественной прозе // Очерки по стилистике художественной речи. М., 1979.
- Винокур Т.Г. 1980 – Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980.
- Дорофеева Т.И. 1979 – Локальная окрашенность литературной разговорной речи. Пермь, 1979.
- Захарова Е.П. 1985 – Формы числа в разговорной речи (семантико-функциональный аспект) // Семантические процессы и их проявление в языках разного типа. Саратов, 1985.
- Земская Е.А. ред. 1973 – Русская разговорная речь. М., 1973.
- Земская Е.А. ... 1981 – Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Е.Н. Ширяев. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
- Земская Е.А. ред. 1983 – Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983.
- Золотова Г.А. 1982 – Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
- Ивакина Н.Н. 1989 – Юридические штампы и клише // Функционирование языка в различных типах текста. Пермь, 1989.
- Ивакина Н.Н. 1990 – Типизированные предикативные конструкции в судебной речи // Статус стилистики в современном языкознании. Тезисы докладов. Пермь, 1990.
- Инфантова Г.Г. 1973 – Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи. РнД, 1973.
- Инфантова Г.Г. 1975 – Экономика сегментных средств в синтаксисе современной русской разговорной речи. Автореф. ... докт. дис. Л., 1975.
- Кормилицына М.А. 1988 – Семантически осложненное (полипропозитивное) простое предложение в устной речи. Саратов, 1988.
- Лантева О.А. 1967 – Изучение русской разговорной речи в отечественном языкознании последних лет // ВЯ. 1967. № 2.
- Лантева О.А. 1976¹ – Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
- Лантева О.А. 1983 – Общелитературные и специфические элементы при определении статуса устной публичной речи // Структура лингвистилистики и ее основные категории. Пермь, 1983.
- Лантева О.А. 1984 – Языковые основания выделения и разграничения разновидностей современного русского литературного языка // ВЯ. 1984. № 6.
- Лантева О.А. 1985 – Современная русская устная научная речь. Т. I – Общие свойства и фонетические особенности. Красноярск, 1985.
- Лантева О.А. ред. 1994 – Современная русская устная научная речь. Т. II – Синтаксические особенности. М., 1994.
- Левин В.Д. 1971 – Литературный язык и художественное повествование // Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971.
- Малькова 1985 – Возможности реконструкции старорусского устно-разговорного синтаксиса // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1985. № 4.
- Норма... 1989 – Норма и функционирование языковых единиц. Горький, 1989.
- Овсиенко Ю.Г. 1968–2380 наиболее употребительных слов русской разговорной речи. М., 1968.
- Оссовецкий И.А. ред. 1969 – Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). М., 1969.

- Полищук Г Г 1986 – Полищук Г Г, Батышева Л А О языке учебной лекции // Функциональная статистика теория статей и их языковая реализация Пермь, 1986
- Сахарный Л В 1985 – Психолингвистические аспекты теории словообразования Л, 1985
- Сахарный Л В Введение в психолингвистику Л, 1989
- Светозарова Н Д ред 1988 – Фонетика спонтанной речи Л, 1988
- Скребнев Ю М 1971 – Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи Автореф докт дис М, 1971
- Скребнев Ю М 1985 – Введение в коллоквиалистику Саратов, 1985
- Сиротинина О Б ред 1983 – Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка Лексика Саратов, 1983
- Сиротинина О Б 1986 – О соотношении формы и стиля речи // Функциональная стилистика теория стилей и их языковая реализация Пермь, 1986
- Сиротинина О Б 1987 – Стилиевая принадлежность и текстовая организация устной научной речи // Стилистика текста в коммуникативном аспекте Пермь, 1987
- Сиротинина О Б 1992 – Сиротинина О Б, Девяткина В В, Паршина О Н, Ягубова М А Функциональная дифференциация литературной устной речи // Статус стилистики в современном языкознании Пермь, 1992
- Сиротинина О Б ред 1992 – Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка Грамматика Саратов, 1992
- Собинникова В И 1975 – Заметки о речи городского населения // Очерки по русскому языку Воронеж, 1975
- Спонтанные тексты 1983, 1984 – Методическая разработка по современному русскому языку Спонтанные тексты разговорной речи в транскрипции Ч I, Л, 1983, Ч II, Л, 1984, Ч III, Л, 1984
- Грубинский В И 1984 – Очерки русского диалектного синтаксиса Л, 1984
- Ширяев Е Н 1986 – Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке М, 1986
- Шмелев Д Н 1977 – Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы) М, 1977
- Ясницкий Ю Г 1981 – Об изменениях в соотношении различных способов выражения авторского я в русской научной речи // Проблемы функционирования языка в его разновидностях Пермь, 1981
- Baschmakoff N and Leimonen M 1990 – Из истории и быта русских в Финляндии 1917–1939 Helsinki, 1990

РЕЦЕНЗИИ

В.Д. Девкин. Немецко-русский словарь разговорной лексики. – М.: Изд-во "Русский язык", 1994. 768 с.

В то время как словари массового применения создаются быстро, фундаментальные филологические лексиконы необыкновенно трудоемки и появляются отнюдь не часто. Немецко-русский словарь разговорной лексики В.Д. Девкина – уникальное явление нашей лексикографии, своеобразие и новизна которого находят проявление во многих факторах: новое решение проблем словника, построения словарных статей, подбора переводных соответствий, иллюстрирования применения слов в живом общении и др. Подобного профиля словаря у нас не было. Он содержит пласт лексики, не подвергавшийся до последнего времени совокупному рассмотрению в рамках специального словаря. До сих пор разговорно окрашенная и сниженная лексика немецкого языка входила лишь составной частью в словарь общего типа, что затрудняло возможность целостного рассмотрения этого фонда с целью выявления той его специфики, которая так важна для лексикографирования.

Разговорная лексика, как известно, имеет зыбкие границы с нейтральной, и ее выделение представляет значительные трудности [Маковский 1982]. Это отпугивало долгое время от составления разговорного словаря. Слишком много сопутствующих обстоятельств осложняло эту задачу. Наконец словарь В.Д. Девкина ее решил. В результате возникло единственное в своем роде справочное пособие, отличающееся от популярного немецкого разговорного словаря Кюппера [Kürper 1987] большим вниманием не к низшему, а к пограничному с нейтральным слою лексики, т.е. в целом к лексическим единицам меньшей степени сниженности, а также наличием примеров словоупотреблений (в словосочетаниях и предложениях) и переводами на русский язык. В количественном отношении словарь В.Д. Девкина уступает более богатому словнику Х. Кюппера, зато содержит большее количество речевых иллюстраций.

Составитель словаря отмечает, что он считает своей заслугой то, что ему удалось зафиксировать оригинальные речевые "мини-произведения" сотен людей – такие, под которыми могли бы подписаться еще тысячи других носителей немецкого языка, подтвердив таким образом достоверность и пригодность приведенного фактического материала, который должен оказаться особенно ценным для читателя, находящегося за пределами страны изучаемого языка (с. 7). Привлекательна естественность, оригинальность и идиоматичность примеров немецкой живой разговорной речи. Поставленная автором цель – обеспечить "достаточную информативность и полноту сообщаемых сведений" при сохранении компактности и обзорности представленного материала – достигнута.

Коллоквиальные, молодежные и распространенные жаргонные неологизмы достаточно учтены словарем, что подчеркивает его актуальность. То, что словарь написан одним автором, а не несколькими, обеспечило ему унифицированную подачу и интерпретацию материала. Обоснованность и убедительность принципиальных установок постоянно ощущаются при пользовании словарем.

Рецензируемый словарь впервые вводит в наш лексикографический обиход сотни слов, которые находились за пределами словарей. Это, естественно, потребовало семантизации этих единиц и включения в систему межъязыковых соответствий. Решение этой задачи следует признать удачным.

Немало новаций внесено в трактовку рядов слов, которые принято рассматривать не столько в лексикологии, сколько в грамматике (местоимения, частицы, вспомогательные глаголы), а также синтаксических идиоматических конструкций. Совершенно правильно, что в словарь включены коммуникативные клише, этикетные формулы повседневного обихода, команды, некоторые поговорки, присловья, шутки, крылатые вы-

ражения, как правило, не включаемые ни в работы по фразеологизмам, ни в словари.

Много остроумных находок можно увидеть в большом корпусе словаря. Это и уточнения или исправления неточных переводов, проникших в наши традиционные словари (например, *den Bock zum Gärtner machen* дано З.Д. Девкиным как "поручить работу плохому работнику", а не "пустить козла в огород", которое осмысливалось как "позволить кому-л. злоупотребить доверием"), и приемы профилактики "культурологического нивелирования" [например, приведение сравнений (ср. русск. *деревянные рубли*, русск. *нацмен*, русск. *ванька-встанька* и т.п.), когда в переводе на русский язык типично немецкой ситуации недопустимо прибегать к сугубо русскому варианту], и уместные ремарки конкретизации семантически расплывчатого слова (Kerl, Sache, Zeug, Subjekt, Typ), и профилактика ошибок из области "ложных друзей переводчика", и дифференцированный подход к сниженной лексике с разграничением случаев а) отказа от эвфемизации неэстетичных понятий и б) намеренной вульгаризации номинаций, которые в норме должны были бы быть нейтральными [ср. *сопли* (груб.) и *сопляк* (вульг.), что соответственно отражено пометами, и целый ряд других частных случаев, которые для лексикографии весьма существенны.

Словарю предпослано предисловие с изложением лексикологических и лексикографических принципов, которых придерживается автор словаря. Здесь изложены: перспектива практического использования этого справочного издания и его роль в изучении немецкого языка как иностранного, понятие разговорной речи и разговорной окрашенности, отношение к стилистическим регистрам, к понятиям экспрессивности и эмоциональности, к оценочности и информативной содержательности, к синонимии.

Чем меньше определенность и четкость контуров языкового явления, подвергающегося анализу и описанию, тем настоятельнее необходимость критериев рассмотрения материала. Высказанные по этому поводу соображения представляются справедливыми. Автор прав, что дилетантское стремление привести ясность в то, что ее объективно лишено, приводит только к наукообразию и разочарованиям.

Слово многомерно, а разговорное – тем более. Автор словаря показывает, как это преломляется рассматриваемой лексикой. Ее очень существенным свойством оказывается то, что какая-то часть разговорных выражений известна и активна для одних и чужда другим (с. 19). Наблюдается своеоб-

разный парадокс: разговорная окраска ощущается без колебаний всеми, пока слово ново и несколько необычно. Как только оно обретет свою всеобщность, создается база для его перехода в нейтральный слой при толерантности к его сниженности.

В этическом измерении разговорная лексика неоднородна. Ее многообразие в словаре отражено: проведено подразделение с помощью помет на 1) коллоквиальный, 2) фамильярный и 3) грубо-вульгарный пласт (с включением небольшого процента табуизированных слов, которые поданы с большим тактом и лексикографическим мастерством). Коллоквиальный пласт, представленный в словаре без помет, составляет, как и следовало ожидать, подавляющее большинство слов. Размежевание этих пластов – дело очень тонкое и сложное. Зыбкость границ и часто встречающееся в коммуникативной практике субъективное отношение к подрегистрам субстандарта неизбежно связаны со спорностью распределения по ним сниженных единиц. Для иллюстрации можно привести из словаря следующие слова с пометой фамильярности: *doll, Birne* ("Kopf"), *Kartoffeln abgießen, kaschen, Karton* ("Kopf"), *Rulps, Schote, keß, duhn, sich dunnemachen, Popel* и т.д. По нашему убеждению, к ним следовало бы причислить и *doof, Fratz, Bummelliese, Wurstmaxe, Käseblatt, Erker* ("Nase"), *Zombie, Zoni, rumsen, Ruppsack, Hocker* ("Sitzenbleiber"), *Plumpsklo* и др. Жаргонизмами считаются *Oko, Doggi, Alki, Franz, Biß* ("Wille"), *Hundi, irre, Polenta* и т.п. Помета "жарг." переключается с "молод.", "школ.", "солд." В процентном отношении сильно сниженная лексика составляет очень небольшую прослойку. Дискуссионность решения практической задачи дифференциации субстандартных слов время от времени чувствуется в словаре. Понятие просторечности В.Д. Девкиным не используется, так как, по его мнению, оно лишено ясности, поскольку оно обозначает как фамильярность, так и неграмотность.

Разговорная лексика возникает разными путями – семантически, словообразовательно и путем заимствования. Словарь отражает эти возможности. Он приводит, например, разные виды метафор: зоонимы (*Kafer, Biene, Krabbe, Bar, Hund*), а также части тела животных (*Krallen, Flossen, Mahne, Maul*), действия и состояния (*zwitschern, affen, buffeln, hamstern, lutschen*), фитонимы (*Rube, Kurbis, Birke, Gurve, Knolle*), случаи опредмечивания (*Stelzen, Zinken, Knopf, Fassade*) и персонификации (*heulen, stottern, tot*). Отвлеченные понятия

могут выступать в конкретном значении (*Kater, eisern, höchste Eisenbahn, Schwanz*), а абстрактные могут обозначать конкретное [*Ekel, Kapazität, Zuverlässigkeit* (о человеке)].

В словаре принята условность обозначения переносного значения с помощью кавычек. Это экономно и наглядно. Однако автора словаря можно упрекнуть в том, что эта маркировка применяется не всегда последовательно. Так, ее нет в переводах к *ludern* "распутиться", *Pascha* "бария", *eintrommeln* "лупить". Правда, этот тип кавычек используется в словаре экономно: если есть помета "перен." или поясняющие скобки или синонимы (*praufen* "зубрить, долбить"; *Pep* "огонек, задор"), кавычки считаются излишними. С этим можно согласиться.

Комплексно учесть все метонимичные словоупотребления – задача не реализованная ни одним словарем. С одной стороны, закономерности актуализации метонимии в известной степени интернациональны. С другой же стороны, они имеют национальную специфику. Нарушение параллелизма двух конфронтирующих языков по линии метонимии создает для словаря дополнительные осложнения, в первую очередь связанные с отбором неэквивалентных словоупотреблений. Решения, принимаемые в данном словаре при подаче метонимии, не всегда убеждают в правильности ее отбора. Представляется целесообразным включить следующие метонимические применения слов на том основании, что они лишены параллелизма в немецком и русском языках: *der Besuch* "гость"; *der Beamte* "полицейский" (*die Beamten haben den Verbrecher erst nach einem Tag gestellt*) или различия метонимий слов *Schule* "школа": ср. *Vor der Schule* ("до школы", "до занятий в школе") *spielte der Junge auf dem Sportplatz*; *Nach der Schule* ["после школы (окончания школы)"] *will er studieren*. Подобные метонимии идентичны в немецком и русском языках. Однако *Heute haben wir keine Schule* уже не имеет в русском языке прямой параллели – нельзя сказать "у нас нет сегодня школы", а надо употребить "у нас нет уроков". Выражение *Das (sein Verhalten) macht Schule* "это встречает поддержку, достойно подражания" также отличается от русской метонимии. Отражение подобных нарушений симметричности этих двух языков у Девкина В.Д. должно было быть более последовательным. Указанные примеры метонимии, интересные своими расхождениями в обоих языках, в его словаре не приводятся.

Было бы целесообразно, помимо упоминания в словнике, словообразовательные

элементы, типичные для разговорного словопроизводства, дополнительно дать в виде приложения. Кстати сказать, возможность обобщений строевого характера, вынесенных для справок в самостоятельный раздел, еще более повысила бы ценность информации, заключенной в словаре, сделала бы ее более обозримой и доступной.

Богатые возможности разговорного словообразования учтены словарем достаточно полно, однако здесь можно сделать несколько критических замечаний. При фиксации серийных частотных словообразовательных элементов иногда остается ощущение некоторой неполноты приведенных рядов. Ср. образования с показателями направленности *raus, rein, rauf, hin, her* и др. или такие группы, как *Topangebot, -athlet, -figur, -material, -modell, -preis, -sängerin, -schwimmer, -star, -stimme, -tip, -veranstaltung*. Почему образования с элементом *mords* представлены 50 словами, тогда как в словаре Кюппера их в 2,5 раза больше? Когда словообразовательные ряды даются у В.Д. Девкина списочно, ускользают из поля зрения интересные переводы, например, *Sonntagsfahrer* "чайник". При компоненте сложных слов на *-nudel, -geil, -fritze* также нет перевода. Иногда компенсацией этой утраты служит дополнительное упоминание некоторых слов из этих рядов в виде самостоятельной леммы.

Проверка полноты словника словаря В.Д. Девкина с помощью информантов – носителей немецкого языка показала, что лакун в нем почти нет. Это большое достижение. Однако отдельные предложения по включению дополнительных слов можно было бы все же сделать: *abzocken, abwickeln, wegrationalisieren, in seine eigene Tasche wirtschaften*. Если имеется слово *Besserwessi*, то следовало бы не забыть и *Jammerwessi* "вечно недовольный, жалующийся бывший ГДР-овец".

Предлагаемые В.Д. Девкиным переводы, предупреждающие интерференцию, относятся к достоинствам словаря. Ср. *Skandalnudel, Flöhe knacken, Frontschwein, Kanonenfutter* и буквальные напрашивающиеся параллели. В словаре даны более правильные: "оказывающийся в центре шумихи, сенсации", "давить в ш е й", "фронтоник" (в самом положительном смысле этого слова), "пушечное мясо". Можно было бы добавить переводы "шестерка" (*Schani*), "гадюшник" (*Giftküche*), "делать пересменок" (*Schicht machen*).

Разговорные, сленговые и жаргонные словари пользуются, как правило, меньшей попу-

лярностью, чем комплексные толковые словари неспециализированного характера. Из этого следует, что более устойчива своеобразная традиция рассмотрения сниженных слоев лексики на фоне литературной и с учетом разного взаимодействия с ней. Это поддерживается и оправдывается тем, что подобное взаимовлияние неизбежно и в принципе является само собой разумеющимся. Когда же создаются коллоквиальные и субстандартные словари со своим особым отбором лексического фонда, неизбежно возникает целый ряд осложняющих обстоятельств, мешающих системному и полному осмыслению приведенных в таких словарях слов. Концентрация в рамках одной книги однотипных лексических единиц, несомненно, во многих отношениях очень полезная и перспективная, невольно приобретает некоторые отрицательные и отнюдь нежелательные свойства — утрачивается момент сопоставления, обзорности и перспективности материала. Эта общая "обреченность жанра" в небольшой степени коснулась и словаря В.Д. Девкина, что прослеживается на следующих примерах. Глагол *türmen* обозначает "сбежать, смыться", но может читателем ошибочно осмысляться как относящийся к слову *Turm* "башня", производные от которого (*Äpfel zu einer Pyramide türmen, Bücher auf dem Tisch türmen*) по причине их нейтральности в словарь не вошли; существительное *Polyp* (жарг.) "полицейский" может неискушенным читателем быть связанным с полипом, тогда как оно пережило процесс паронимической аттракции и к полипу отношения не имеет (народная этимология). Подобным же образом немецкое слово *Kanone* в выражении *unter aller Kanone* "ниже всякой критики" соотносится с *Kanon* "правило, канон" и не имеет никакого отношения к пушке (*Kanone*). Изоляция этих слов в словаре от подлинных этимонов создает ложную историческую перспективу. Следует оговориться, что подобное имеет место и в большинстве немецких словарей и должно было бы быть выравнено дополнительными этимологическими комментариями.

Двуязычный характер словаря создает дополнительные осложнения к и без того трудной задаче раскрытия семантической компрессивности слова за счет поисков обеспечения параллелизма сравниваемых языков. Отстаиваемый В.Д. Девкиным принцип первоочередности денотативной эквивалентности, пусть даже в ущерб словообразовательной, этимонной, социологической и ассоциативной симметричности, нельзя не принять. Высказанные в предисловии сообра-

жения по поводу структурного выравнивания и приемов компенсации некоторых информативных потерь, иногда неизбежных при словарном переводе, конструктивны и полезны. Когда какое-то слово требует в зависимости от сочетающихся с ним слов каждый раз разного перевода, унифицированный эквивалент невозможен, и словарь чутко реагирует на это.

В целом теоретический очерк специфики разговорной лексики и ее отражения в словарях содержит интересную концепцию, ценные идеи и конструктивные предложения, имеющие значение для теоретической лингвистики и практического языкознания, выходящее за пределы германистики. Более детальная рубрикация предисловия повысила бы его роль в преподавании иностранных языков и в словарном деле.

Словарь, фиксирующий лексику, лишенную строгой регламентированности в семантическом, стилистическом и синтагматическом отношении, не может быть свободным от дискуссионности. Далеко не всех может удовлетворить то, как В.Д. Девкин осуществил в своем словаре размежевание с пограничными слоями лексики, особенно с немаркированным фондом. Например, понятия "уравниловка", "прихлебатель", "аллилуйщина", "пуп земли", "очковтирательство", "гуськом" и т.п. включены, тогда как в нескольких ведущих немецких словарях они считаются нейтральными.

Различия в культуре той или иной стороны жизни немецкого и русского народа даже при наличии кажущегося лексического параллелизма становятся крупным осложнением в деле преподавания иностранного языка и создания словарей. Возьмем в качестве иллюстрации несколько слов. Глагол *abhaken* и русск. "поставить галочку" различаются тем, что в немецком языке предполагается просто "отметить, сделать пометку (выполненного)", тогда как в русском выражении есть подтекст "очковтирательства, для отвода глаз", чего нет в немецком. Выражение *гадать на кофейной гуще* сейчас применяется в основном переносно ("за неимением точных сведений строить необоснованные предположения"), тогда как немецкое *aus dem Kaffeesatz lesen* имеет только устаревшее буквальное значение забытого способа гадания. Профилактика возможных ошибочных ассоциативных осмыслений лексических параллелей связана с большими трудностями, и попытки, предпринятые В.Д. Девкиным в этом направлении, заслуживают внимания.

Такое тонкое дело, как оказание предпочтения при переводе слова одному сино-

нему перед другими, безусловно, может встретить ряд рекомендаций по усовершенствованию. Вероятно, смелее можно было бы вводить русские неологизмы [*bleib doch friedlich!* "не заводись!" (в отличие от "не волнуйся"); *einen weichen Keks haben* "сдвиг по фазе", "крыша поехала" (а не "с ума сойти"); *Narrenhaus* "дурдом" (а не "сумасшедший дом")] или чаще обращаться к сильно активизировавшимся в последнее время заимствованиям из языка уголовников (*бабки, заточка, ксива*), хотя псевдопараллелизм коннотаций в подобных случаях становится вероятнее. По линии диахронии также найдутся претензии. Временные рамки здесь не решающи, и уход слова из активного применения также еще недостаточен, поскольку нередко реставрации и оживление забывшегося.

К положительной роли обсуждаемого словаря относится то, что определенная его часть с соответствующей обработкой может пополнить общие словари, как одно-, так и двуязычные. Главное при составлении резюмирующего мнения по поводу словаря В.Д. Девкина в том, что это фундаментальная,

солидная работа, выполненная с большим профессиональным мастерством и, несомненно, способная удовлетворить запросы самых разных теоретиков и практиков. В заключение отметим следующее. Отказ от догматического подхода к словарю, терпимость к его недочетам, учет нежесткости нормированности функционирования, подвижности границ разговорного слова, его сильной ситуативной и субъективной зависимости должны способствовать творческому использованию данной книги.

Словарь должен заинтересовать не только российских германистов, но и зарубежных (также и за пределами немецкоязычных стран), и, кроме того, славистов, специалистов по переводу и многочисленных практиков, связанных с немецким языком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Маковский М.М. 1982 – Английские социальные диалекты. М., 1982.
 Küpper H. 1987 – Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Hamburg, 1987.

М.М. Маковский

M. Mahmoudian. Modern theories of language: The empirical challenge. Durham; London: Duke University Press, 1993. XVI, 231 p.

Рецензируемая монография принадлежит автору, чье имя известно отечественному читателю: "La linguistique", предыдущая книга М. Мамудяна [Mahmoudian 1982], профессора Лозаннского университета, в 1985 году была опубликована в русском переводе [Мамудян 1985].

Новый труд, который вышел в серии "Sound and meaning: The Roman Jakobson series in linguistics and poetics", издающейся под общей редакцией К.Х. Схоневельда, посвящен кардинальным проблемам общего языкознания, и основной его пафос не может не вызывать сочувствия по крайней мере у тех, кому близки традиции Л.В. Щербы: это настойчивый призыв к учету языкового материала во всей его полноте, к широкому использованию экспериментальных, в широком смысле, данных с их количественной оценкой и предпочтение "естественных классификаций", отвечающих текстовой реальности и интуиции носителя языка.

Книга состоит из двух частей, разделенных на главы. В первой части автор ставит перед собой две цели: во-первых, дать общее представление о современном состоянии лингвистики, которое было бы доступно и начинающему, а, во-вторых, изложить основ-

ные принципы, которыми он руководствуется при решении лингвистических проблем, ставших предметом исследования в основной, второй части.

Сразу же скажем, что перед нами – добротный образец "профессорской прозы". Речь идет не о стиле – во всяком случае, не столько о стиле, сколько о стремлении к прозрачности изложения и, что еще важнее, к целостному представлению своего предмета. Если "чистый" исследователь может позволить себе исходить из предположения, что читатель знаком с основными фактами и теоретическими представлениями, чтобы сосредоточиться на углубленном изучении частных проблем, то "предподавательская инерция" заставляет его тщательно формулировать исходные посылки, освещать основы общей теории и т.п. Соответственно и Мамудян в своем изложении останавливается на таких глобальных вопросах, как понимание коммуникации, различие между теорией и моделью, соотношение классификации и объяснения и т.д. и т.п.

В числе центральных общих положений можно выделить утверждение об "относительности" языковой структуры – об иерархичности признаков, которые составляют ее

фундамент, и о "нежесткости" (fuzziness) признаков, когда релевантность последних носит градуальный характер.

Мамудян различает разные типы иерархии языковых явлений: иерархию, обусловленную социально и индивидуально-ментально (psychic hierarchy), внешнюю и внутреннюю. Вообще говоря, не все из указанных терминов адекватно отражают суть дела. Так, под "социальной иерархией" имеется в виду распределение тех или иных признаков применительно к членам популяции носителей языка, однородных в социальном отношении. Например, если 16 из 40 информантов предпочли толкование предложения *All the boys didn't arrive* как "not all the boys arrived", 4 избрали вариант "all the boys failed to arrive", 20 сочли возможное толкование неоднозначным, то в "социальной иерархии" первому из двух возможных толкований присваивается более высокий статус (с. 47). В отличие от этого, "ментальная иерархия" — это распределение соответствующих признаков, действительное для данного носителя языка. Интегральная характеристика по этим двум параметрам дает внешнюю (extrinsic) иерархию, которая отражает, насколько "жестко" закреплены в системе те или иные признаки, правила и т.п.

Внешняя иерархия связана с частотностью и интегрированностью единицы (признака, правила) в системе (с. 52–54). А это уже вводит нас в сферу внутренней (intrinsic) иерархии, которая определяется степенью генерализованности (generality) в противоположность исключительности: более высокое положение в этой иерархии занимают те языковые явления, которые функционируют по общезначимым правилам.

То, что характеризуется высоким статусом одновременно с точки зрения внешней и внутренней иерархии, составляет обычно центр языковой системы, противопоставляющийся периферии последней.

Не все в экспозиции первой части может быть поддержано безоговорочно. Это относится прежде всего к принципам разграничения морфологии, синтаксиса и семантики. Согласно автору, синтаксис — это сфера целостных знаков, т.е. без выделения означающего и означаемого, морфология — сфера означающего, а семантика — означаемого. Отсюда, в предложении *John started yesterday* синтаксису принадлежат проблемы выделения знаков *John, start, -ed, yesterday* и выявление правил их употребления, а морфологии — в сущности, только лишь закономерности алломорфии (с. 24 и др.). Такое перераспределение предметных областей морфологии и синтаксиса, безмерная экспан-

сия последнего за счет столь же безмерного ограничения первой едва ли оправданны. Ведь при этом утрачивается важнейшая разграничительная линия, разделяющая морфологию как формообразование, парадигматическое по своей природе, которое определяет трансформационный потенциал слова, и синтаксис как синтагматическую комбинаторику и преобразование разного рода сочетаний-комбинаций, т.е. как формационный и трансформационный потенциал словосочетаний (в широком смысле, включая — и даже в первую очередь — предлоги).

Кстати, в другом месте (с. 63) М. Мамудян упоминает пример Л. Ельмслева, согласно которому сегменту *-ga* во франц. (il) *aimera* соответствуют в плане содержания 4 элемента — буд., индикатив, 3 л., ед.ч., и отмечает, что именно такого рода явления он имеет в виду под морфологией; но в таком случае — в полном согласии с традицией — морфология не занимается исключительно означаемыми.

Вторая часть монографии начинается с главы "Центральные (outstanding) проблемы синтаксиса", но обсуждаются здесь и вопросы более широкого плана. В частности, справедливо указывается, что нередко различия между школами, вводимые инновации носят преимущественно терминологический характер. Так, знаменитый принцип творческого использования языка (creativity) Хомского во многом сводим к принципу двойного членения Мартине (мы бы добавили — и к соответствующим положениям Бодуэна), ибо оба предполагают порождение неограниченного множества высказываний из ограниченного множества элементов (с. 66; ср. также [Касевич 1977]).

Здесь же обсуждаются проблемы функции и класса, которые опять-таки рассматриваются как допускающие вероятностную интерпретацию и как подлежащие соответственно эмпирическому (экспериментальному) исследованию: "...Не следует спрашивать, имеет ли данная молема *m* функцию *f* в высказывании *u*, но [скорее] в какой степени присуща эта функция" (с. 77); "...классы монем не обладают жесткими границами, они могут и должны рассматриваться как образующие некоторые континуумы" (с. 81).

Автор приводит целый ряд данных, показывающих относительный, а не абсолютный характер языковых правил. Так, указывается, что французские суффиксы по сочетаемости с глагольными основами (т.е., иначе, по продуктивности) образуют упорядоченный континуум: *-ement, -age, -eur > -ant > -ation*,

-ure, -ade > -ance, -eux, -aill(er), -able (с. 89). В области французского синтаксиса демонстрируется необязательность 1-го актанта в зависимых предложениях в противоположность независимым, ср.: *J'entendais les enfants chanter dans le jardin un air populaire* и *J'entendais chanter dans le jardin un air populaire* (с. 99).

Проблемы семантики получают специальное освещение в главе VI второй части монографии, где автора занимают вопросы как лексической, так и грамматической семантики. Для описания обеих "разновидностей" семантики признаются необходимыми понятия признаков, в терминах которых ведется описание, поля – как способа иерархического распределения признаков и их сочетаний – и контекста, относительно которого реализуются те или иные признаки и их комбинации.

Здесь также особое внимание уделяется размытости означаемого и нецелесообразности попыток втискивать диффузные по природе значения в жесткие рамки двузначной логики, когда "вместо поиска логики носителя языка и следования ей описание создает свою собственную логику и подгоняет под нее языковую структуру" (с. 108). Это, в частности, иллюстрируется различными значениями франц. глагола *courir*, семантика которого в случаях наподобие *Je prends ma voiture et je cours chez vous*, *Le bateau courait au large* и т.п. не может быть охарактеризована посредством признака "передвижение с помощью ног", а для некоторых случаев, ср. *Allez vite sans courir* – даже и посредством признака "быстрое передвижение". Предлагается прибегать к оговариваемой степени приближенности, которая соответствовала бы наиболее обычному словоупотреблению.

Хотелось бы заметить в связи с этим, что в литературе давно известен способ формализации "нечетких множеств" и операций с ними, когда, например, значение "молодой" "...интерпретируется как название некоторого нежесткого ограничения на базовую переменную *возраст...*" и, скажем, совместимость численного значения 28 со значением "молодой", равная 0,7, "состоит в том, что оно (значение совместимости. – В.К.) есть ...субъективная мера того, насколько возраст 28 лет соответствует в представлении субъекта слову *молодой*" [Заде 1976 : 13, 14]. К сожалению, теории Л. Заде практически не нашли применения в языковедческих изысканиях (если не считать модели восприятия речи Д. Массаро [Massaro 1987]).

Важное место в работе занимает глава VII, посвященная лингвистическому эксперимен-

тированию. Безусловно справедливыми представляются общие положения, согласно которым эксперимент призван ограничить неоднозначность, достаточно типичную при равновозможности конкурирующих теоретических описаний (ср. [Касевич 1983]); в то же время и при использовании экспериментальных данных абсолютное устранение из описания известного элемента субъективизма достижимо далеко не всегда (с. 157).

Излагая результаты конкретных экспериментов по исследованию грамматической семантики во французском языке, Мамудян предлагает характеризовать тип эксперимента в терминах следующих бинарных признаков: (1) обращение к референту /перифразирование; (2) обращение к говорящему (от значения к форме)/обращение к слушающему (от формы к значению); (3) использование оценки экспериментатора (экспериментатор предлагает некоторую оценку, которую информант принимает или отвергает)/неиспользование оценки экспериментатора (с. 160).

Любопытны результаты, относящиеся к изучению семантики имперфекта: "...в роли слушающего носитель языка склонен признавать имперфект в качестве средства выражения реального события, тогда как при порождении речи он может использовать эту же форму для обозначения и реального, и гипотетического события" (с. 164). В то же время статистически и для говорящего определенно преобладают реакции, при которых имперфект интерпретируется как форма для передачи реального события, поэтому признается, что в системе за данным значением соответствующей формы закреплён иерархически более высокий статус.

Результаты другого эксперимента, в котором испытуемые должны были определенным образом интерпретировать фразы типа *Cette mère a eu deux bébés* и *Cette mère a eu huit bébés*, показали, что с возрастанием абсолютной величины числа, отражаемого числительным, интерпретация "давала крен" в пользу значения "сколько раз рожала", а не «сколько детей родила "за один раз"» (или же ситуация переосмысливалась как относящаяся к животным). Как пишет автор, результаты "дают ответ на вопрос о том, является ли грамматическое значение независимым по отношению к лексическому или к знаниям о мире" (с. 168).

М. Мамудян проводит также развернутое сопоставление природы фонологических и семантических единиц. С его точки зрения, носитель языка владеет эксплицитным знанием об оппозитивных отношениях между

фонемами, что является следствием основной функции последних – дистинктивной (хотя, заметим, это далеко не бесспорно, ср. [Касевич 1983]); в частности, для носителя языка не составляет трудности перечислить фонемы соответствующей системы. При этом, однако, носитель языка не способен дать характеристику фонем в терминах дифференциальных признаков или сформулировать правила соотношения фонемы и контекста. В отличие от этого, значения не находят в отношении оппозиции, но носитель языка в состоянии сознательно оперировать семантическими признаками языковых единиц и соотносить их с контекстом. Соответственно, широко практикуемое перенесение методов фонологического анализа в область семантики признается неправомерным.

Автор различает сознательное и операциональное владение (*conscious/operational knowledge*) языковыми единицами и признаками. В фонологии ("интуитивной" фонологии носителя языка) представлены оба вида знания, синтаксис связан преимущественно с операциональным типом знания, а семантика – с сознательным (с. 174–180).

Признавая реальность указанной дихотомии, нельзя не отметить, что в изложении автора ситуация предстает неоправданно упрощенной. Язык в целом лежит, скорее, в области бессознательного [Якобсон 1978] и операционального. Что касается более конкретных положений, то, например, информанты-русские, получив задание перечислить согласные родного языка, обычно не включают мягкие – по той простой причине, что для последних нет самостоятельных графем [Бондарко 1966]; в то же время среди гласных называются *e, ё, я, ю*. Умение сознательно оперировать семантическими признаками и соотносить их с контекстом зависит принципиальным образом от наличия соответствующих языковых средств, позволяющих реализовать описание (например, если в языке нет глагола со значением "каузировать", то "наивное" описание инвариантного значения каузатива едва ли возможно); во всех же остальных случаях мы имеем дело с суждениями относительно идентичности/неидентичности, приемлемости/неприемлемости, а также, естественно, с умением сопоставлять слова и высказывания реальным объектам и ситуациям, что, строго говоря, не предполагает сознательного владения единицами и их признаками. Из пионерских работ Л.С. Выготского известно, что и в онтогенезе адекватное употребление языковых средств предшествует осознанию (подлинное же осознание связано с "формальным" обучением).

В заключительной главе монографии

вновь поднимаются вопросы относительно сущностных признаков языка и языкознания. Один из (печальных, вероятно, но спрavedливых) выводов заключается в том, что лингвистика не принадлежит к числу "нормальных" (в смысле Куна) наук.

Рамки краткой рецензии не могут, конечно, отдать должное богатству теоретического и экспериментального содержания книги. Как уже отчасти отмечалось выше, ее основное достоинство мы склонны видеть в последовательном проведении линии на сближение теоретической лингвистики с эмпирическим, экспериментальным изучением языковой компетенции говорящего/слушающего, в столь же последовательном отказе от упрощенных решений по типу "да/нет", если языковая картина обнаруживает сложную – вероятностную и иерархизированную – релевантности соответствующих признаков – природу.

Не можем не заметить в заключение, что название книги в известном смысле дезориентирует потенциального читателя: последний вряд ли получит из нее представление о "современных теориях языка"; несмотря на делающиеся время от времени ссылки на генеративную лингвистику, падежную грамматику и т.п., положения этих теорий (не говоря уже о более поздних версиях наподобие *Government-binding theory*, *Generalized phrase structure grammar*, *Lexical-functional grammar* и др.) не раскрываются и не анализируются. Но это – претензия к названию, а не к самой монографии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко Л.В. 1966 – Некоторые замечания по поводу маркированности–немаркированности членов фонологических противопоставлений // Исследования по фонологии / Под ред. С.К. Шаумяна. М., 1966.
- Заде Л. 1976 – Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений. М., 1976.
- Касевич В.Б. 1977 – Элементы общей лингвистики. М., 1977.
- Касевич В.Б. 1983 – Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
- Мамудян М. 1985 – Лингвистика. М., 1985.
- Якобсон Р.О. 1978 – К языковедческой проблематике сознания и бессознательного // Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Под общ. ред. А.С. Прангишвили и др. Т. 3. Тбилиси, 1978.
- Mahmoudian M. 1982 – *La linguistique*. P., 1982.
- Massaro D.W. 1987 – *Speech perception by ear and eye: A paradigm for psychological inquiry*. Hillsdale (N.J.); L., 1987.

В.Б. Касевич

Рецензируемый словарь-справочник представляет собой совершенно оригинальное по своему типу издание. Поскольку тюркские родоплеменные названия отличаются количеством, многообразием форм и разветвленностью одних и тех же обозначений во всех тюркских языках, исследование этого уникального лексического пласта представляет значительный интерес для лингвистов и этнографов. В этом смысле важность нового опубликованного словаря трудно переоценить, тем более что предшествующие работы такого рода, например, статья [Аристов 1896], не отличались достаточной полнотой и не содержали такого вспомогательного научного аппарата, который подготовлен в словаре-справочнике И.Н. Лезиной и А.В. Суперанской.

Можно было бы подискутировать относительно более точного определения типа издания. Ведь это не словарь в строгом смысле слова, а словник или указатель тюркских родоплеменных названий в специальной литературе. Тем не менее авторы употребляют термин "словарная статья" и говорят о "толкуемом слове", хотя собственно толкование слова в данном словаре отсутствует. Возможно, что определение "словарь-справочник", в итоге появившееся на титуле книги, — не самое удачное, но и трудно заменимое.

Двухтомный словарь содержит огромный материал (ок. 12 тыс. названий), добытый в результате многолетней трудоемкой и кропотливой работы авторов. Источниками словаря послужили многие фундаментальные исследования (220 наименований в списке литературы) отечественных этнографов и филологов XIX–XX вв., среди которых такие имена, как Н.А. Аристов, В.В. Бартольд, Н.А. Баскаков, С.И. Вайнштейн, Ч. Валиханов, Л.Н. Гумилев, Б.Х. Кармышева, А.Н. Кононов, Г.Н. Потанин, В.В. Радлов, А.А. Семенов, Л.С. Толстова и многие другие. Чрезвычайно полезны материалы, предваряющие собственно словарь, а именно предисловие, инструкция по пользованию словарем, списки вариантов названий родоплеменных единиц, названий племенных объединений, вариантов названий современных народов, этнографических терминов в составе родоплеменных названий. Кроме того, даются списки сокращений и список использованной литературы (сам по себе являющийся ценным тематическим библиографическим указателем).

Авторы вполне правомерно пользуются понятием "родоплеменные названия". Родоплеменные названия определяются в работе как "условный термин, обозначающий наименования родов, племен, их объединений или отдельных подразделений" (с. 5). Такой подход позволяет избежать жесткого разграничения понятий *геноним* (имя рода) и *этноним* (название этноса, или этнической общности), характерного для некоторых предшествующих работ авторов [Суперанская 1973: 206; Теория 1986: 9]. Так, в книге "Теория и методика ономастических исследований" этнонимия и генонимия упоминаются как равноправные секторы (наряду с топонимией, антропонимией, зоонимией и т.д.) ономастического пространства. Ранее А.В. Суперанская указала на существенное различие родовых имен (разряда собственных имен) и этнонимов (которые исследовательница относит к нарицательным именам, так как этнонимы, как правило, коннотируют и имеют неопределенный денотат). Однако, каковы бы ни были теоретические различия между генонимами и этнонимами, на практике их бывает трудно различить благодаря смешению родоплеменных организаций уже в древности, а тем более в средневековый период. Это хорошо осознают и сами авторы. Так, И.Н. Лезина в одной из своих статей писала: "В составе генотопонимов предполагается родовое имя, геноним. Однако в Крыму, где находились фрагменты племен и родовых объединений, понятия рода и племени в значительной мере со временем стерлись. Осколки племен, сохраняя свое название, фактически находились на положении родов. Поэтому термин генотопонимы применяем ко всем топонимам, образованным от родоплеменных имен" [Лезина 1988: 144]. Со своей стороны добавим, что в таком случае можно было бы с равным успехом пользоваться и термином *этноним* (и *этнотопоним*), а также что термин *геноним* по смыслу тоже неоднозначен. В греческом *genos* и латинском *gens* присутствуют оба значения: как "род", так и "племя", ср. лат. *gens, gentis*: 1) "род, родовая община, клан", 2) "племя, народность, народ", 3) "группа родственных народов".

При огромном объеме словаря и издательских ограничениях трудно было бы упрекнуть авторов в неполноте материала, тем более что составитель имеет право на свои критерии отбора. Так, нельзя что-либо возразить про-

тив того, что "словарь включает не все тюркские родо-племенные названия, а лишь те, которые достаточно полно собраны и документированы" (с. 5). Однако жаль, например, что материал, относящийся к Сибири, представлен неполностью. Авторы оговариваются, что этот материал "обладает своей спецификой: многие названия не похожи на традиционные тюркские, поскольку содержат монгольские, тунгусо-маньчжурские и иные элементы. Кроме того, среди них встречаются обозначения не чисто этнических, а географических или административных единиц, выделявшихся в отдельные исторические периоды" (там же). По-видимому, все зависит от точки зрения. Если целью работы было рассмотреть тюркские родо-племенные названия, тогда принцип соблюдается. Но если авторы хотели включить в словарь родо-племенные названия тюркских народов, то стоит вспомнить, что роды различных этносов часто объединялись или включались друг в друга, так что имена таких смешанных по происхождению родов могли быть весьма разнообразны в языковом отношении. Классический пример – роды некоторых тунгусо-маньчжурских народов Приамурья. У улчей есть роды, свидетельствующие о том, что в сложении этого этноса приняли участие ороки, нанайцы, нивхи, маньчжуры, тунгусы (эвенки), монголы (дауры), удэгейцы, негидальцы, айны, ороочи. При исследовании родоплеменных названий этого смешанного этноса неизбежно обращение к материалу других, соседних с улчами народов.

Что же касается обозначений географических или административных единиц в составе родоплеменных названий, то думается, что они вряд ли могут быть помехой для включения их в словарь, хотя именно из-за обилия таких обозначений авторы отказались дать полный материал по Сибири. Вспомним, что названия племен и племенных союзов весьма часто возникали именно как производные от таких обозначений. "Древнейший тип племенных названий – топонимический, повторяющий названия рек, урочищ, озер, где кочевали племена" [Суперанская 1973: 207]. Родоплеменные названия этого типа весьма характерны буквально для всех народов Сибири, в том числе тюрков, и в большинстве случаев они представляют собой древнюю модель. Именно потому в эту модель хорошо вписались и более поздние русские обозначения по административным единицам. Кстати, авторы словаря все-таки включили часть таких названий, сохранив для некоторых народов (якутов, тувинцев) атри-

буцию к наслегам, хошунам, сумонам, представленную в источниках, ср.: "БАГАСАР якуты (байдунский наслег)".

Наши замечания относительно неполноты материала (или сознательного невключения части материала) носят скорее характер пожелания на будущее, так как рецензировать следует то, что представлено, а не то, что еще не представлено. Вообще нужно заметить, что словарь-справочник И.Н. Лезиной и А.В. Суперанской можно рассматривать как благодатную почву или основу для дальнейших исследований. По-видимому, работа и была задумана в этих целях; сбор и систематизация такого сложного во всех отношениях материала – необходимый предварительный этап более углубленного изучения тюркских родоплеменных названий.

На этом предварительном этапе авторы уже частично провели обобщение представленного исследовательского материала, причем сделано это предельно корректно. При подаче в словаре тюркских родоплеменных названий авторы не позволили себе унифицировать орфографию разных источников, "тем более на основании норм современного русского правописания, которое лишь условно передает некоторые явления тюркских языков, но может быть идентифицировано именно в авторском, а не каком-либо другом варианте написания" (с. 7). Точно так же авторы отказались от этимологических сведений в словаре, поскольку считают «прямолинейное возведение названия родо-племенного подразделения к имени нарицательному некорректным. Причины, почему то или иное слово стало обозначать этническую общность, индивидуальны и во многих случаях невосстановимы. Поэтому родо-племенные названия не переводятся на другие языки, а сохраняются в исконном звучании подобно другим именам. Они неоднократно подвергались переосмыслениям, меняли именуемый объект (этническую общность). Поэтому было бы опрометчиво переводить, например, джети айгыр как "семь жеребцов" – ведь айгыр было одним из древнейших родовых имен. Такое название можно было бы лишь условно истолковать как "семеро из рода айгыр"» (с. 7–8). Добавим: в разных источниках часто даются совершенно разные этимологии одного и того же этнонима; каждому названию может быть посвящена отдельная большая работа и о нем можно долго дискутировать. В рамках рецензируемой работы включение этимологических сведений было бы просто невозможным, это никак не вписывается в задачу работы.

В предисловии авторы рассматривают

структуру родоплеменных названий (простые, типа *ак, таз*, в том числе аффиксальные, типа *булгар, баджак, туркман, миркит, алмат*, и сложные, в которых преобладают двух-компонентные, ср. *юз-баши, каз-аякли*). Указываются примеры варьирования названий. Отмечается разноименность части родоплеменных подразделений (ср. племя *кара-кесек* у казахов, имеющее второе название *алимбай*) и одноименность (как внутри одного племени, так и в составе разных племен, формирующих единый этнос, и у разных тюркских народов, ср. *канглы* у казахов, каракалпаков, киргизов, ногайцев, узбеков).

В словаре-справочнике проведена атрибуция отдельных родоплеменных единиц к единицам более высокого ранга, выявляются разные названия одной и той же структурной единицы и осуществляется документация приводимых данных. Например:

АННАГАЙШАК туркмены (салыр) – Джикиев, 1972, 57.

Это означает, что *аннагайшак* является подразделением племени *салыр* у народа *туркмены*. Указанное родоплеменное название исследуется в работе А. Джикиева "Этнический очерк населения юго-восточной Туркмении" (Ашхабад, 1972. С. 57). Раздел книги "Как пользоваться словарем-справочником" – исчерпывающее и толковое объяснение со многими примерами, предусматривающее мельчайшие подробности: подача материала в том случае, если толкуемые слова представлены в разных источниках неодинаково, порядок подачи омонимичных названий, подача реконструируемых (не авторских) данных и т.п.

Варианты названий родоплеменных единиц подаются отдельно списком для каждого народа, ср. для алтайцев:

кубанды см. куманды
куванты см. куманды
кумандинцы см. куманды
куманды, кубанды, куванты,
кумандинцы, куманды-кижи
куманды-кижи см. куманды

В списке названий племенных объединений (для тех народов, которые их имели) наряду с основным русским названием даются также варианты соответствующих наименований, ср. у казахов:

Старший жуз, или Большая орда, Большая сотня, Большая уйсунская орда, Оуйсун, Оуйсюн, Старшая орда, Уйсун, Уйсунь, Уйсюн, Улуг-джюз, Улу жуз, Улу юз, Улы жуз, Усуновская орда, Усунь, Юйсюн, Юсуновская орда, Юсунцы.

Отдельным списком даны варианты наименований современных народов, встречающиеся в специальной литературе; так, для хакасов известны следующие названия: абаканские татары, абаканские тюрки, ачинские тюрки, енисейские татары, минусинские татары, минусинские тюрки. В списке применена соответствующая система отсылок.

Наконец, в книге присутствует отдельный перечень этнографических терминов, встречающихся в составе родоплеменных названий. В него включены только те термины, которые являются компонентами толкуемых слов (ср. *аймак* "род", "племя" и др.); в то же время в перечне есть и слова, которые не являются собственно терминами, но могут принимать участие в образовании родоплеменных названий, указывая на их происхождение или на место в родоплеменной структуре (ср. *бала* букв. "дитя" – в обозначениях мелких подразделений).

В целом можно сказать, что с выходом в свет книги И.Н. Лезиной и А.В. Суперанской несколько отраслей науки – ономастика, тюркология (ее лингвистическая и этнографическая ветви) и библиография – обогатились новым справочным пособием и вспомогательным научным аппаратом, ценность которого для исследователей не подлежит сомнению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аристов Н.А. 1896 – Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей // Жив. старина. 1896. Вып. 3–4.
Лезина И.Н. 1988 – К вопросу о стратификации тюркских генотопонимов Крыма // Ономастика. Топология. Стратиграфия. М., 1988.
Суперанская А.В. 1973 – Общая теория имени собственного. М., 1973.
Теория 1986 – Теория и методика ономастических исследований. М., 1986.

Р.А. Агеева

З.К. Тарланов. Агулы: их язык и история. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та. 1994. 287 с.

Н.Д. Сулейманов. Сравнительно-историческое исследование диалектов агульского языка. Махачкала, 1993. 210 с.

На агульском языке, относящемся к восточно-лезгинской подгруппе, говорит немногочисленный народ (ок. 20 тыс. чел., по переписи 1989 г.), который проживает в Агульском и Курахском районах Дагестана. До последнего времени он функционировал как бесписьменный разговорно-бытовой, тогда как обучение, межнациональное общение и т.п. осуществлялись (в различные периоды) на арабском, азербайджанском и русском языках. Лишь сравнительно недавно была создана агульская письменность на базе собственно-агульского диалекта и началось обучение в школе. Повышение функционального статуса языка, безусловно, требует своеобразной материальной поддержки – в виде учебников, учебных программ, художественных и иных текстов для чтения. Это, в свою очередь, требует определенного уровня научного исследования, которое дает ответ на целый ряд вопросов, возникающих в ходе языкового строительства, – о диалектной базе литературного языка, о соотношении нормы и вариантов и др. Между тем дагестановедение сравнительно небогато научными разработками по агульскому языку. Из монографий можно назвать работы А. Дирра "Агульский язык" [Дирр 1907], Р. Шаумяна "Грамматический очерк агульского языка" [Шаумян 1941] и А.А. Магометова "Агульский язык" [Магометов 1970]. В этом контексте выход в свет двух книг, продолжающих этот ряд, – Н.Д. Сулейманова и З.К. Тарланова – бесспорно, событие важное и нужное.

Книга З.К. Тарланова, как явствует из названия, не ограничивается сугубо лингвистическими аспектами, уделяя внимание таким вопросам, как этногенез агулов (первая глава), хозяйственная жизнь и социальная организация (вторая глава), обряды, суеверия и магия (третья глава), а также этнографическая специфика агульской лексики (четвертая глава). Таким образом, потенциальный круг читателей здесь не ограничивается лишь лингвистами: она будет интересна любому интересующемуся самобытными народами Кавказа, их историей и культурой. Так, многим небезынтересно будет узнать о том, что найденные в агульских селениях арабские куфические надписи относятся еще к XII–XIII вв. Важным историческим свидетельством является также упоминание в армянской географии VII в. этнонима "агутакани".

В то же время, как справедливо отмечает автор, при относительно ограниченном корпусе исторических свидетельств об этногенезе агульцев и по сопряженным с этим проблемам основную роль играют лингвистические материалы. Однако лингвистические данные могут приобрести желаемую ценность лишь при условии осторожного с ними обращения: в противном случае, обольщая исследователя внешними сходствами, они приведут к выводам из области околonaучной фантастики. На наш взгляд, примером такого вывода может послужить следующее замечание: «В плане гипотетической реконструкции исторических связей пралезгинских племен примечателен и следующий факт: в современном агульском языке бытует слово *филан* (*фулан*), которое выступает в значении неопределенно-указательного местоимения – *такой-то*, ср. *filan insan* – такой-то человек, *fulan waxt* – такое-то время. Этимологический смысл его неясен. Не имеет ли оно отношения к тому самому Филану, который упоминается в сообщении арабского историка 9 в. ал-Белазури о "царях" Дагестана, якобы правивших в 6 в.? Среди правителей перечисляются "владелец Сарира, табасараншах и цари ал-Лакзов, Филана и Ширвана"» (с. 15). По нашему мнению, здесь представлено обычное арабско-персидское заимствование, не дающее повода для глубоких исторических реконструкций. Равным образом трудно принять гипотезу о связи агул. *elam* "очень много" с названием древнего народа. Во всяком случае нельзя не обратить внимание на араб. *'a:lam* "мир, свет; народ", передающее в агульском тавтологическом сочетании значение множественности.

Надо сказать, что в книге весьма своеобразно трактуются проблемы межъязыкового контактирования. В частности, наличие большого количества иранизмов объясняется тем, что "ираноязычные народы и агулы еще ранее I в. до н.э. имели общие территории" (с. 15). Такое суждение вступает в прямое противоречие с общепринятым в дагестановедении мнением о хронологических рамках дагестанско-иранских контактов, ср.: "...персидские заимствования в лезгинских языках подразделяются на две группы: среднеперсидские и новоперсидские. Исторический контекст их проникновения в дагестанские

языки неоднократно видоизменялся. Так, известно, что борьба за влияние на Кавказе персидской династии Сасанидов продолжалась довольно продолжительное время, начиная примерно с III в. н.э. и кончая VII в. н.э., т.е. временем арабских завоеваний. В XIV–XVI веках народности Дагестана испытывали на себе ужасы захватнических походов иранских завоевателей Тимура и Надир-шаха. Следует отметить и тесные политические и культурно-экономические связи Ширвана и Дагестана, которые между ними не прекращались, а также влияние богатой персидской поэтической литературы, получившей распространение в Дагестане" [Загиров 1987: 105–106]. Как видно, в данном случае поиски древних общих территорий оказываются, по крайней мере, избыточными.

Положительным моментом книги является привлечение к исследованию широкого спектра методик, способных внести определенность в проблемы исторического прошлого агульцев, в частности, здесь отводится значительное место данным глоттохронологии, согласно которым (по автору) обособление агульского языка из древне-восточнолезгинского произошло в середине I тыс. до н.э. Вместе с тем особенности применения этой методики автором вызывают некоторые вопросы: во-первых, М. Сводеш предложил в свое время усовершенствованный список из 100 слов, предполагающий более точные результаты [Сводеш 1960], тогда как в рецензируемой книге подсчеты производятся по 200-словному списку; во-вторых, сам лексический материал, к сожалению, также не приводится, в связи с чем отсылаю читателя к моей монографии [Алексеев 1985: 18–23], где даны полные списки из 100 слов по лезгинским и некоторым другим дагестанским языкам, которые, кстати, наглядно показывают большую близость агульского к табасаранскому – 69% сохранившейся общей лексики при 53% общности с лезгинским. К этому следует также добавить, что лексикостатистика не является основным критерием генетической классификации языков: основную роль здесь играют разделяемые языками инновации.

Несомненно, большой интерес представляют собранные автором в четвертой главе лексические материалы, особенно в связи с их этнографической направленностью. В то же время нельзя обойти вниманием один дискуссионный вопрос, касающийся способа записи языкового материала. З.К. Тарланов применяет латинскую транскрипцию, которая, на наш взгляд, была бы более уместна в книге с не столь широкой аудиторией. Официальный алфавит агульского языка дал

бы в этом случае гораздо больше для потенциальных читателей из числа агульцев, по существу только приступающих к овладению письмом и чтением на родном языке. То же относится и к собственно лингвистической части работы, в которой описывается грамматическая структура агульского языка. Важной в связи с этим является и опора на определенную диалектную базу. К сожалению, я не нашел указаний на то, какой диалектный материал лег в основу рецензируемого описания. Отдельные примеры (за исключением, естественно, тех случаев, когда показания большинства диалектов совпадают) указывают в разных случаях на разные диалекты. Думается, было бы более разумно привлекать в первую очередь данные собственно агульской (тпигской) речи, характеризующейся такими особенностями, как отсутствие перехода в определенных позициях $b > w$, $d > r$ и др.

Более того, используемая транскрипция оказывается неадекватной, поскольку не различает заднеязычного (κl) и увулярного ($\kappa \bar{y}$) абруптивов, равным образом фиксируемых в книге знаком k : $\kappa ur = \kappa \bar{y}ur$ "зерно" / κlur "дерево". В таблице фонем (с. 244) потерялся звук, фиксируемый через q (можно лишь догадываться, что в некоторых словах это интенсивный заднеязычный, ср. $qel = \kappa kel$ "ягненок" [в табл. имеем kk], или же увулярный, ср. $qaz = \kappa \bar{y}az$ "гусь"). В целом можно констатировать, что фонетика в книге практически обойдена вниманием.

Морфологический раздел (гл. 5. Именные лексико-грамматические классы слов; гл. 6. Глагол и его категории; гл. 7. Наречия. Служебные части речи) в целом следует за имеющимися описаниями. Принципиально новым в изучении агульского языка является синтаксический раздел (глава 8), охватывающий такие проблемы, как главные и второстепенные члены предложения, сложное предложение, способы выражения сравнения, совместности, принадлежности, отрицания, временных, причинных, локальных, количественных и некоторых других отношений. Кроме того, надо сказать, что и в морфологических главах значительное место уделяется синтаксическим проблемам – категории залога, переходным и непереходным глаголам, "активным и пассивным глаголам" (название соответствующего параграфа, в котором по существу разбираются возможности передачи в агульском русского пассива, несколько вводит в заблуждение). При неразработанности лингвистической терминологии на материале агульского языка (хотя не очень ясно, почему автор, говоря,

например, о недостаточной разработанности понятия "залог" в дагестановедении [с. 158], ссылается на русско-лезгинский словарь, толкующий его просто как одну из глагольных форм, – на наш взгляд, было бы правильнее в данном случае апеллировать к специальным работам) схема описания, исходящая из семантики языковых единиц, представляется нам вполне оправданной и полезной. Думается, что разработчики будущих школьных учебников найдут в книге нужный и полезный материал.

Книга Н.Д. Сулейманова строится на несколько иных посылах, поскольку имеет другие цели: она посвящена реконструкции общеагульского языкового состояния, предпринятой на основе сопоставления данных современных агульских диалектов. В связи с этим нельзя не отметить попытку автора опираться на принцип релятивной хронологии, т.е. последовательное разграничение протоагульского, общевосточнолезгинского и общесамурского хронологических уровней. Конечно, осуществление подобного исследования было бы невозможным без предварительного изучения вопроса о диалектной дифференциации агульского языка, без определения места каждого из диалектов в классификационной схеме с учетом корреляции "архаизм – инновация" и некоторых других связанных с ними вопросов, ставившихся такими исследователями, как Р.М. Шаумян и А.А. Магометов, во многом установившими диалектный состав языка и специфические черты каждой диалектной единицы по отношению к другим диалектам.

В частности, в диалектном отношении здесь можно выделить собственно агульский диалект (говор), керенский, кошанский и буркиханский (гехунский, по Сулейманову – гехюнский, что, видимо, точнее, учитывая исконное название соответствующего населенного пункта) диалекты. Иногда также обособляется говор с. Фите. Кроме того, Н.Д. Сулейманов расширяет число переходных говоров, добавляя к фитинскому хпюкский и цирхинский.

Сама процедура реконструкции ныне может не только исходить из результатов собственно диалектологических изысканий, но и обращаться к опыту восстановления общелезгинского языка-основы на всех структурных уровнях – фонетики [Талибов 1980], морфологии и синтаксиса [Алексеев 1985], лексики [Загиров 1987]. В этих условиях исследование, предпринимаемое для воссоздания структурного облика одного из бесписьменных до недавнего времени языков, получает определенные преимущества.

Почти половину монографии составляет

первая глава "Фонетика", содержащая сравнительно-исторический анализ вокализма и консонантизма агульского языка. Автор констатирует практически полное отсутствие исследований гласных дагестанских языков в сравнительном плане, с чем вполне можно согласиться (относительно подробно эти проблемы, включая вопросы аблаута, обсуждаются лишь в недавно вышедшей монографии [Nikolaev, Starostin 1994: 72–82]). Трудно не принять и объяснение причин такой ситуации. По Н.Д. Сулейманову, общеагульскими являются гласные *а, *и, *е, *у, дающие, как правило, тождественные рефлексy. Исключение составляет *а, подвергшаяся в ряде случаев упереднению, а также *е, соответствия которой, по словам автора, нерегулярны. В более глубокой перспективе, как отмечает исследователь, надежные соответствия в области вокализма устанавливаются лишь на уровне не ранее "общесамурско-шахдагского" состояния. Отрадно заметить, что проблема ударения также находит в данной главе приемлемую интерпретацию: предполагается, что "в основе глагольной акцентуации, и не только ее, очевидно, исторически лежала семантическая эмфаза единицы, при которой выделялись, актуализировались те или иные значимые компоненты языка" (с. 41).

В разделе, посвященном консонантной системе, указывается на более сложный ее состав в протоагульском. Думается, что автор в целом верно подходит к реконструкции общеагульского консонантизма, затрагивая также релевантные для решения этого вопроса группы согласных, как интенсивные, лабиализованные, фарингализованные и т.п. Особенно хочется обратить внимание на тезис о зависимости трансформации фарингализованных и палатализованных согласных от качества сопровождающих их гласных. Для верификации некоторых фонетических процессов приводятся параллели из контактировавших с агульским языком, в частности табасаранского (ср. тезис об общей для агульского и северных говоров табасаранского изоглоссе *d > p: "Переход *d–p имеет общую агульско-табасаранскую изоглоссу. В табасаранском языке данный процесс получил распространение в северных говорах. Исходя из последовательности *d–p, можно предположить, что очаг его зарождения располагался в области табасаранского языка, вернее, в его северной периферии" [с. 69]). Это, безусловно, повышает надежность предлагаемых интерпретаций в целом. Оправдано и обращение в отдельных случаях к данным других дагестанских языков

(в частности, аваро-андийских), когда лезгинские языки не дают полной информации о праязыковом состоянии.

Реконструируемая протоагульская консонантная система включает четыре ряда смычных и аффрикат, включая звонкие, аспираты, интенсивные и абруптивы. Что касается спирантов, то здесь констатируются две группы: глухие и звонкие. Между тем упускается из виду интерпретация междиалектных соответствий глухих и звонких спирантов как отражения исконных интенсивных (геминированных), кстати, сохранившихся и в отдельных агульских диалектах (см. [Магометов 1970: 23]).

В книге приводятся доводы в пользу того, что фарингализация является признаком согласных, в то время как фарингализованные гласные обусловлены соответствующим окружением: различная рефлексия фарингализованных и нефарингализованных коррелятов, особенности морфемного членения.

Во второй главе "Морфология" не просто собран грамматический материал различных агульских диалектов, не только дана его лексико-грамматическая интерпретация, но также предлагается конкретное обоснование для каждого реконструируемого архетипа. Тем не менее позиция автора не всегда представляется ясной. Так, в разделе, посвященном именной морфологии, восстанавливаются, с одной стороны, общеагульские показатели множественности **-бар*, **-йар* и **-ар* (с. 92) и, с другой стороны, — **-ар*, **-бур* (*-вур*), **-вар* (< пралезг.) и **-йар* (< восточнолезг.) (с. 93). Надо думать, что аффиксы **-бур* (*-вур*), **-вар* восходят к **-бар*, однако стоило бы более четко разграничивать различные уровни реконструкции.

Рассматривая падежную систему, автор принимает верное терминологическое решение об образовании эргатива посредством нулевого аффикса от косвенной основы. Это дает возможность более точно формулировать некоторые грамматические закономерности, ср., например, замечание о семантическом распределении показательной косвенной основы в хпюкском говоре (с. 98).

Значительный интерес, на наш взгляд, вызывает обращение автора к "темным местам" агульской морфологии, которые не всегда поддаются четкой интерпретации, скажем, на основе фонетических процессов и т.п.; ср. в связи с этим анализ *-н* и *-л* в качестве суффиксов прилагательного, предположительно дифференцировавших соответственно качественные и относительные прилагательные. Кстати, в разделе "Прилагательное" мы находим и такую фразу:

«Превосходная степень образуется при помощи слов *лап* "очень" и *ппара* "очень", "много"» (с. 118). То, что первое слово — очевидный тюркизм, доказывать не надо. В то же время автор не пытается выявить исконную альтернативу этому средству выражения превосходной степени, что создает впечатление о праагульском характере *лап* "очень".

В области морфологии, как известно, агульский язык характеризуется отсутствием распределения имен по классам, однако автор (следуя за Р. Шаумяном и А.А. Магометовым) приводит материал, доказывающий их бывшее наличие. Заслуживающими внимания в рецензируемой работе можно считать и примеры этимологического анализа числительных, которые, впрочем, иногда с трудом можно принять (ср. предположение о производности *йа-кь-уд* "четыре" от *кь'-уд* "два" [с. 123]).

В разделе, посвященном глагольной системе, наиболее существенным представляется вывод о наличии в общеагульском видовой корреляции, которая в дальнейшем сменилась корреляцией деепричастий; однако здесь можно найти и ряд других интересных решений, в частности, выделение, помимо пространственных, четырех направительных превербов.

Хотя книга Н.Д. Сулейманова адресована научным работникам — специалистам в области дагестанской компаративистики, такие ее аспекты, как качественная фонетическая запись, наличие по каждому фонетическому и морфологическому примеру документированных диалектных изоглосс и др., дает, по нашему мнению, возможность использовать ее и в практических целях языкового строительства — например, установления орфографических и грамматических норм. Хотя максимальное использование данных всех диалектов в исследовании Н.Д. Сулейманова диктуется уже самой целью его, тем не менее богатство иллюстративного материала в монографии заслуживает особого упоминания. Хотелось бы надеяться, что в будущем нам удастся познакомиться не только с исследованиями в области фонетики и морфологии, но также с аналогичными работами в сфере синтаксиса и лексики.

В целом обе рецензируемые книги в известной степени как бы дополняют друг друга и существенно расширяют наши знания об агульском языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев М.Е. 1985 — Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков. Морфология. Синтаксис. М., 1985.

Дирр А М 1907 – Агульский язык. Тифлис, 1907.
 Загиров В М – 1987 – Историческая лексикология языков лезгинской группы. Махачкала, 1987.
 Магометов А А 1970 – Агульский язык. Тбилиси, 1970.
 Сводеш М 1960 – К вопросу о повышении точности и лексикостатистическом датировании // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.

Талибов Б Б 1980 – Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980.
 Шаумян Р 1941 – Грамматический очерк агульского языка. М., Л., 1941.
 Nikolaev S L, Starostin S A 1994 – A North Caucasian etymological dictionary. М., 1994.

М Е Алексеев

Г.Н. Скляревская. Метафора в системе языка. СПб.: Наука. 1993. 151 с.

В огромном море работ, посвященных изучению метафоры, в последнее время появляется все больше исследований, рассматривающих целые группы, парадигмы метафор, образующих систему.

В ряду исследований системного характера метафоры находится и рецензируемая книга Г.Н. Скляревской, в которой делается попытка построить не какой-либо отдельный фрагмент системы языковых метафор, а систему, охватывающую всю идеографическую классификацию лексики русского языка (правда, на материале только метафор-существительных). Особенно существенно то, что книга написана ученым-лексикографом, имеющим, с одной стороны, большой опыт словарной работы, а с другой – воплощающим идею системности метафор в новом 20-томном толковом словаре русского языка. Эта идея, предполагающая учет возможности сходного развития метафорических значений и употреблений у слов одной семантической группы, как представляется, должна быть весьма продуктивной в лексикографии и до сих пор не была эксплицирована и сознательно воплощена. Поэтому исследование Г.Н. Скляревской, которое развивает далее теорию метафоры в аспекте выявления ее системности, актуально и имеет, кроме теоретического, также и большое практическое значение.

Рецензируемая книга состоит из шести глав, которые распадаются на два больших раздела. В первых четырех главах кратко излагаются основные предпосылки концепции автора, очерчивается категориальный аппарат исследования, проводятся существенные для автора разграничения основных понятий, вычленение из круга смежных явлений основного объекта исследования – языковой метафоры. Строятся оппозиции "языковая метафора/художественная метафора", "языковая метафора/безобразное производное значение", "языковая метафора/генетическая метафора".

В основании первой оппозиции лежат, по мнению автора, гносеологические различия (языковая метафора отражает коллективное понятийное членение действительности, художественная метафора стремится преодолеть его), различия в лексическом статусе (самостоятельность, свобода (относительная) языковой метафоры и контекстная связанность художественной метафоры), в семантической структуре метафорического значения (системность/асистемность) и др.

Второе разграничение также проводится по нескольким признакам: релевантность/нерелевантность признака, лежащего в основе переноса значения, для семантической структуры исходного слова; номинативная значимость (низкая/высокая), наличие/отсутствие семантической двуплановости и др.

И, наконец, отличие генетической метафоры от языковой заключается в "утрате мотивированности, выпадении элемента сопоставления из семантической структуры слова" (с. 41), в том, что в генетической метафоре отсутствует образность, двуплановость, экспрессивность, оценочность – все то, что характерно для языковой метафоры.

Для исследования процесса метафоризации вводится понятие **символ метафоры** – множество сем (в частном случае – одна сема), связывающих метафорическое значение с исходным; причем в исходном значении эти семы относятся к коннотативной области, а в переносном – к денотативной.

Опираясь на введенное понятие символа метафоры, автор монографии проводит тонкие различия между разными языковыми метафорами по типу связи исходного и производного значений и строит очень существенную для теоретической семантики и лексикографии классификацию языковых метафор: 1. Мотивированная языковая метафора. Для этого типа метафор характерна эксплицитная связь метафорического значения с исходным. Она может отражаться в толковании слова в словаре (хотя и носит при

этом достаточно субъективный и неустойчивый характер), в сравнительных оборотах (таковы, например, метафоры *кремень, нетух*). 2. Синкретическая языковая метафора – метафора, образованная на основании смешения, слияния различных чувственных восприятий. Эти метафоры включают синэстетические переносы (*сладкий звук, холодный свет*), а также переносы значения от физических ощущений на психическую и социальную сферы (*светлая радость, эхо прессы*). 3. Ассоциативная языковая метафора, при которой основанием переноса служат элементы семантики исходной лексической единицы, не присутствующие в ее денотативном содержании, но имплицитные им в сознании говорящих; символ метафоры содержит определенные, логически вычленимые семы (признаковая ассоциативная метафора): *базар, кабак, свиначник* – либо отражающие общее психологическое впечатление от соответствующего денотата; символ метафоры при этом более аморфен (психологическая ассоциативная метафора): *бревно, корова, заяц*.

После определения основных понятий, характеризующих рабочий аппарат исследования, в следующих двух главах книги – пятой и шестой (которые по объему больше, чем первые четыре) – автор непосредственно обращается к описанию системы языковых метафор русского языка. Системность метафоры автор справедливо связывает с понятием языковой картины мира. Пятая глава посвящена построению общей идеографической классификации лексики, подвергающейся метафоризации, и выявлению основных типов регулярных метафорических переносов (правые части этих типов [группы предметов сравнения] заданы очень широко – такими общими категориями, как ПРЕДМЕТ, ЧЕЛОВЕК, ЖИВОТНОЕ, ФИЗИЧЕСКИЙ МИР, ПСИХИЧЕСКИЙ МИР, АБСТРАКЦИЯ; левые – с достаточно дробным делением внутри этих же категорий). Классификация строится на материале около 1000 метафор-существительных и охватывает всю языковую картину мира.

Очень интересен раздел пятой главы, посвященный антропоцентрической метафоре, т.е. различным метафорическим обозначениям человека. Выделяются различные типы метафор положительной и отрицательной оценки ("мелиоративной" и "пейоративной" – в терминологии автора), классифицируемые по признакам сравнения (символом метафор); демонстрируются синонимические и антонимические отношения в исследуемых группах метафор. Такое под-

робное исчисление механизмов образования метафор, характеризующих человека (учитывая и классификации соответствующих "образов сравнения" – с. 82–83 и 90–93), представляет собой фактически описание одного из основных фрагментов "метафорической картины мира" русского языка и весьма интересно и полезно в плане сравнительно-языковых исследований.

Если в пятой главе исследуется система метафор в целом, более и менее крупные группировки образов сравнения и предметов сравнения и в качестве материала берутся только существительные, то в шестой главе рассматривается еще один аспект системности метафоры – метафоризация слов отдельного семантического поля (группирующихся вокруг отдельной лексемы – *вода*). Здесь привлекаются уже и другие части речи – глаголы и прилагательные.

Вводится понятие **метафорического поля** – т.е. семантического поля, объединяющего вторичные, метафорические ЛСВ соответствующих слов. Исследуемое поле подразделяется на тематические группы: "Водоемы и их части" – *болото, излучины, море* и т.д., "Формы существования воды, определяемые характером и способами ее движения" – *водоворот, водопад, волна* и т.д., "Характер и особенности движения воды" – *брызнуть, бурлить, течь* и т.п., "Свойства воды" – *кипучий, кипящий, ледяной, мутный* и т.п., "Характерные действия, связанные с водой, производимые в воде" – *купаться, лить, плавать* и т.п. и другие группы. Между членами этих групп устанавливаются синонимические, антонимические и словообразовательные отношения. Отдельный раздел главы посвящен описанию семантической структуры многозначного слова; здесь делается важный вывод о детерминированности круга связей при метафоризации "объективными свойствами денотатов, вовлекаемых в метафорический процесс" (так, языковая сочетаемость слова *каменный* ограничена словами, обозначающими те денотаты, в которых реализуются присущие ему семы "твердый", "тяжелый", "неподвижный": *каменное* лицо (неподвижное), *каменный* человек (твердый), *каменное* слово (тяжелое), *каменная* тоска (тяжелая) и т.п., но не **каменный* огонь, **каменная* песня, **каменный* блеск и т.п. Как представляется, эти соображения помогают найти объективную основу для ответа на вопрос, почему та или иная метафора (или целая группа метафор) невозможна (или маловероятна) в языке, для попытки нащупать пути решения одной из

самых загадочных проблем теории метафоры – проблемы избирательного действия коннотаций в различных семантических классах слов.

Рецензируемая книга, в которой привлекается обширный языковой иллюстративный материал, убедительно доказывает системный характер языковой метафоры. В ней вводится ряд новых, весьма существенных для исследования метафоры понятий: символ метафоры, метафорическое поле и др. В трактовке различных аспектов своей концепции на конкретном материале автор-исследователь демонстрирует глубокое, тщательное и нетривиальное видение тех тонких и часто с трудом поддающихся интерпретации семантических феноменов, которые столь характерны для метафоризации.

Из теоретических положений автора вызывает сомнение рассмотрение оппозиции "языковая метафора/художественная метафора". По мнению Г.Н. Складневской, эти виды метафор принципиально различаются между собой, должны быть четко разграничены, и один из факторов разграничения – это "внесистемность" художественной метафоры (с. 36).

Разграничение это, однако, проводится автором книги не очень убедительно, сами эти понятия недостаточно четко определены, неясно, каково сущностное основание их разграничения. Представляется более объективной противоположная точка зрения – о принципиальном единстве языковой и художественной метафоры, основанная на определении поэтического языка как максимальной реализации потенций общенародного языка и на определении поэтической функции Р. Якобсоном: метафора является носителем поэтической функции во всех сферах функционирования языка (в литературном языке, разговорной речи, поэтическом языке и т.д.), при этом большая или меньшая эстетическая нагруженность метафоры не всегда зависит от сферы функционирования.

О том же, что художественная метафора системна, убедительно свидетельствуют многочисленные исследования, посвященные типологии, парадигматике метафор поэтического языка [Адрианова-Перетц 1947; Григорьева, Иванова 1969; Панченко, Смирнов 1971; Weinrich 1976; K  gler 1984; Складневской 1986; Павлович 1988]. Эти работы, кстати, почти полностью отсутствуют в списке литературы, упоминается лишь книга Н.А. Складневской, да и то в другой связи. Может быть, на точку зрения автора отчасти повлиял и недостаточный учет положения дел в исследовании художественной метафоры. Помимо перечисленных работ, рецензента убеждает в системности худо-

жественной метафоры и собственное участие в работе над составлением словаря метафор и сравнений поэтического языка, который, так же как и система языковых метафор в книге Г.Н. Складневской, строится по идеографическому принципу и тоже охватывает всю картину мира носителей языка (см. об этом [Складневской, Петрова 1994]). Более того, можно предположить, что без исследования художественной метафоры картина системности языковой метафоры является неполной. Незаполненные, пустые клетки системы языковых метафор заполняются метафорами художественного текста.

Безусловно, существует определенная градация метафор как в отношении их восприятия и частоты встречаемости в текстах, так и в ряде других отношений, и перед лексикографом стоит задача определения границ того материала, который можно и нужно включить в словарь. Но а priori отграничить друг от друга два класса метафор – языковые и художественные – видимо, невозможно. Между двумя полюсами – общезыковой метафорой и индивидуально-авторской – находится целая шкала различных случаев, проведение разграничений на которой, "нанесение отметок" возможно только после тщательного анализа большого количества именно художественных метафор, образованных по одной семантической модели с теми, которые можно безоговорочно считать языковыми.

Можно также отметить некоторую непоследовательность в том, что в основу классификации метафор положен идеографический принцип, принцип семантического поля, который предполагает рассмотрение слов всех частей речи (это и делается в шестой главе при изучении отдельного метафорического поля), но при построении общей системы метафор в главе пятой принимаются во внимание только существительные (глаголы и прилагательные рассматриваются отдельно).

Вызывает некоторые сомнения то, что в ряде случаев вопреки принципу семантического поля в этой классификации разрываются сильные семантические связи, например, слово *болезни* рассматривается в одном классе, *бацилла* и *вирус* – в другом, *короста* и *нарывы* – в третьем, *лекарство* – в четвертом, *зараза* отсутствует (как отсутствуют и *болен*, *болеть*, *лечить* – поскольку рассматриваются только существительные) и т.д. Сомнительно также отделение рубрики "Физиологические состояния" от человека и отнесение их к сфере "Физический мир", разрыв категорий "Природные объекты" и "Физический мир".

Вызывает сомнения трактовка признаков метафор (с. 99). Так, в словосочетании *блестящий ученый* происходит, как мне кажется, не перенос ПРЕДМЕТ → ЧЕЛОВЕК, а перенос ФИЗИЧЕСКИЙ МИР → ЧЕЛОВЕК (ср. *блеск*), в словосочетании *вспыхнула боль* – не перенос ПРЕДМЕТ → ФИЗИЧЕСКИЙ МИР, а, скорее – перенос ФИЗИЧЕСКИЙ МИР → ЧЕЛОВЕК, а именно, ОГОНЬ → БОЛЬ; ср. *болит, жжет, как огонь*.

При рассмотрении метафорического поля желательно для каждого типа переноса, кроме левой части, задавать и его правую часть, т.е. рассматривать в составе метафорического поля такие подполя, как например, ВОДА → ЗВУК, ВОДА → СВЕТ, ВОДА → СОВОКУПНОСТИ ЛЮДЕЙ, ВОДА → ЧУВСТВА, ВОДА → МЫСЛИ и т.п. Такое подразделение материала есть в главе 6 книги (с. 133–134), но оно никак не учитывается при группировке основного материала. Это пожелание связано с тем, что одни слова поля ВОДА применимы к одним денотатам, а другие – к другим; следовательно, говорить о традиционности/нетрадиционности метафоры, об отнесении ее, по терминологии автора, к языковым метафорам или к художественным можно лишь в пределах таких подполей. Иначе говоря, такая метафора, которая вполне естественна в применении к словам одного семантического класса, может или вообще не встречаться в применении к словам другого класса, или восприниматься как индивидуальная, например, языковая метафора *озеро огней* и индивидуальная метафора

озера страсти И. Северянина: "Приголубь мои уста, пригубь и туже/Озера страсти запруды!"; *болото невежества*, но **болото тоски*; *журчит речь* – языковая метафора, но *журчит любовь* – индивидуально-авторская: И в сердцах любовь журчит/И весна смеется (Бальмонт) и т.д.

В заключение следует сказать, что книга Г.Н. Складневской существенно расширяет и углубляет существующее представление о языковой метафоре, вносит значительный вклад в разработку теории метафоры и теории лексикографии, содержит много новых научных результатов и, несомненно, необходима всем исследователям лексической семантики и лексикографам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адрианова-Перетц В.П. 1947 – Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947.
 Григорьева А.Д., Иванова Н.Н. 1969 – Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969.
 Кожевникова Н.А. 1986 – Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. М., 1986.
 Кожевникова Н.А., Петрова З.Ю. 1994 – Словарь метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. // ИАН СЛЯ. 1994. № 4.
 Павлович Н.В. 1988 – Автоматический словарь поэтических образов // Автоматизация подготовки словарей. М., 1988.
 Панченко А.М., Смирнов И.М. 1971 – Метафорические архетипы в русской средневековой словесности и в поэзии начала XX века // ТОДРЛ. XXVI. Л., 1971.
 Kügler W. 1984 – Zur Pragmatik der Metapher: Metaphernmodelle und historische Paradigmen. Frankfurt a. M. etc., 1984.
 Weinrich H. 1976 – Sprache in Texten. Stuttgart, 1976.

З.Ю. Петрова

CONTENTS

Y u. S. S t e p a n o v (Moscow). *Bada-Yaga, Yama, Yanus, Yason* and other cogate words. On the problem of unstrict use of the comparative method; K. H. S c h m i d t (Bonn). On personal pronouns and the category of person in Kartvelian and Indo-European; G. A. K l i m o v, D. I. E d e l m a n (Moscow). On prospects of historical reconstruction of an isolated language (based on the materials of the Burushaski language); A. D. D u l i ĉ e n k o (Tartu). International artificial languages: the object of linguistics and interlinguistics; A. I. E r m o l a e v a (St.-Petersburg). On the semantic determinative in languages of nominative structure; B. Ya. O s t r o v s k i j (Moscow). Expression of aspect and tense meanings in the indicative mood of Dari; S. I. I o r d a n i d i, V. B. K r y s ' k o (Moscow). Old Russian innovations of nominal declension in the plural II; **From the history of science:** F. P a p p (Budapest). M. V. Lomonosov and the Hungarian language; V. M. A l p a t o v (Moscow). The book "Marxism and philosophy of language" and the history of language; **Surveys:** O. A. L a p t e v a (Moscow). The study of Russian urban colloquial speech in regional localities; **Reviews:** M. M. M a k o v s k i j (Moscow). V. D. D e v k i n. German-Russian dictionary of colloquial and non-standard speech; V. B. K a s e v i ĉ (St.-Peterburg). M. M a h m o u d i a n. Contemporary theories of language; R. A. A g e e v a (Moscow). I. N. L e z i n a, A. V. S u p e r a n s k a y a. A dictionary of Turkic tribal names. Pt. 1–2, 1994; M. E. A l e k s e e v (Moscow). Z. K. T a r l a n o v. The Aguls: their language and history; N. D. S u l e i m a n o v. Comparative study of the Agul dialects; Z. M. P e t r o v (Moscow). G. N. S k l i a r e v s k a j a (Moscow). The metaphor in the system of language.

Технический редактор Н.С. Евсеева

Сдано в набор 26.06.95. Подписано к печати 10.08.95. Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 13,0. Усл.кр.-отт. 24,9. Уч.-изд.л. 17,3. Бум.л. 5,0
Тираж 1882 экз. Зак. 3147

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка 18/2. Институт русского языка.
Телефон 201-74-42
Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6